

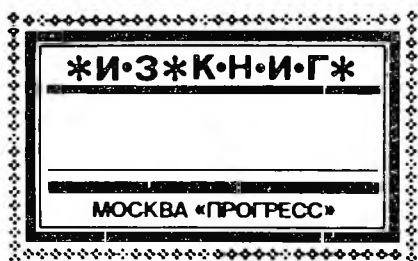
Такэси Кайко

# Такэси КАЙКО

С ВЫСОТЫ  
ТОКИЙСКОЙ БАШНИ

Потомки Робинзона.  
Токио как он есть.  
Сто миллионов  
самоубийц.





ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ,  
Ю. Н. ВЕРЧЕНКО, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,  
Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,  
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР

# Такэси КАЙКО



С ВЫСОТЫ  
Токийской башни



Художественная публицистика  
и документальная проза

*Перевод с японского*



Москва «Прогресс» 1984

ББК 84 5.Я

К 15

Составитель *Б. В. Раскин*

Перевод *Б. В. Раскина, Е. Н. Рединой, Я. М. Троицкого*

Предисловие *В. Я. Цветова*

Художник *В. И. Левинсон*

Фото *В. Н. Воронова и Б. В. Раскина*

Редактор *А. А. Файнгар*

**Кайко Т.**

К 15 С высоты Токийской башни. Художественная публицистика и документальная проза. Пер с японск. / Предисл. В. Цветова. — М.: Прогресс, 1984. — 272 с.

В однотомник известного японского писателя включены повесть «Потомки Робинзона», основанная на реальных событиях конца второй мировой войны, и цикл очерков «Токио как он есть» о жизни японской столицы на протяжении последних двадцати лет. Заключает книгу очерк «Сто миллионов самоубийц», в котором писатель затрагивает актуальнейшие политические, экономические, экологические и нравственные проблемы современной Японии.

К 4703000000—544 74—84  
006(01)—84

**ББК.5.Я**  
**И(Яп)**

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, художественное оформление и фотоиллюстрации издательство «Прогресс», 1984

Произведения, включенные в настоящий сборник, кроме обозначенного в содержании знаком \*, опубликованы на языке оригинала до 1973 г

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы Японии не было, то, вероятно, лишь в этом случае ее следовало бы выдумывать. Но Япония существует, а про нее все равно сочиняется немало сказочного, начиная с домов, крытых чистым золотом — плод фантазии Марко Поло, и кончая титулом экономической «сверхдержавы» XXI века — вымысел современных, в основном американских, футурологов.

«Ячмень у соседа вкуснее риса дома», — утверждает японская поговорка. Однако не только поэтому многим зарубежным писателям, журналистам и даже ученым пригрезились необыкновенные японские достоинства, в том числе «экономическое чудо», на поверку оказывающиеся столь же реальными, как золотые крыши в рассказах Марко Поло. В создании легенды о японском «экономическом чуде» участвовал и расчетливый умысел.

Неверие масс в капиталистических странах в способность США и Западной Европы выбраться из экономической депрессии и избавиться от инфляции, роста цен, безработицы побудило служителей буржуазной идеологии ступить на тропинку, давно протоптанную церковниками, и изобрести в лице Японии нового мессию. Не все для капитализма потеряно, стараются внушить эти идеологи. Освоив японские приемы промышленного и социального менеджмента, восприняв черты японского характера, еще можно выжить, как выжила в двух последних по времени экономических кризисах Япония — постулат популярных в США, Англии, ФРГ книг «Подымающееся японское сверхгосударство», «Японский вызов», «Япония — первая в ми-

ре»<sup>1</sup> и бесчисленного множества подобных бестселлеров, по достоверности и аутентичности не отличающихся, однако, от Библии.

Этому мифотворчеству содействовали и сами японцы с целью, какую в свое время изобличил и едко высмеял японский писатель Нацумэ Сосэки в сатирической повести «Ваш покорный слуга кот», знакомой советскому читателю. Цель заключалась в следующем. Японии, приступившей в конце XIX — начале XX века к империалистическим захватам, требовалось идеологическое оправдание заморского разбоя. Исключительность Японии, ее предназначение править миром были оформлены в концепции «духа Ямато». Ямато называли Японию в древности.

«— Дух Ямато! — воскликнул японец и закашлялся, словно чахоточный. — Дух Ямато! — кричит газетчик. — Дух Ямато! — кричит карманщик. — Дух Ямато одним прыжком перемахнул через море. В Англии читают лекции о духе Ямато! В Германии ставят пьесы о духе Ямато... Все о нем говорят, но никто его не видел. Все о нем слышали, но никто не встречал. Возможно, дух Ямато одной породы с тэнгу»<sup>2</sup>. Тэнгу — нечто смахивающее на лешего.

После агрессивной войны на Тихом океане, приведшей к позору капитуляции, после Хиросимы и Нагасаки предлагать японскому народу «дух Ямато» для исповедования нелепо. Но можно попытаться заставить народ снова поверить в исключительность Японии, возглашая: «Японское экономическое чудо!», «Особенный японский характер!». Тэнгу вытаскен из лесу и опять превращен в национальный символ.

Японская народная мудрость справедливо считает, что в отличие от чужой спины, которая видна хорошо, своей спины никто не видит. Такэси Кайко, документальную повесть и очерки которого вы сейчас прочтете, сумел оглядеть современный наряд японской действительности со всех сторон, и его острый взгляд разобрал не только уродливость всего покроя, но даже мелкие морщинки в самых потаенных швах. В этом — заслуга писателя, изобличившего поверхностные оценки и злонамеренные выводы доморощенных и чужеземных пророков.

Очеркам «С высоты Токийской башни» предшествовали повести «Гиганты и игрушки» и «Голоый король». Кайко дебютировал с ними в 1957 году. Дебют оказался в высшей степени удачным: за «Голого короля» писатель был удостоен самой почитаемой в Японии премии — имени классика японской литературы Рюноске Акутагава. Вскоре повести были переведены на русский язык<sup>3</sup>. Полемику с легендой о японском «экономиче-

<sup>1</sup> Kahn H. The Emerging Japanese Superstate. Challenge and Responce. N Y., 1970. Guillein R. The Japanese Challenge. L., 1970. Vogel E. F. Japan as number one. Lessons for America. L., 1979.

<sup>2</sup> Нацумэ Сосэки. Ваш покорный слуга кот М., 1960, с. 233—234

<sup>3</sup> Рус. перев. М., 1966

ском чуде», разоблачение шаманства вокруг сказки о «японском обществе великой гармонии» Кайко продолжил в «Японской трехгрошовой опере», которую тоже можно прочесть в русском переводе<sup>1</sup>. Затем последовали включенная в настоящий сборник повесть «Потомки Робинзона» (1960), роман «Горькое похмелье»<sup>2</sup>, о судьбах японской молодежи военных и первых послевоенных лет, другие произведения. Такэси Кайко пользуется широкой известностью в Японии и как блестящий журналист. В 1977 году издательство «Бунгэй сьундзю» выпустило пятитомник его художественной публицистики.

Такэси Кайко родился в 1930 году. С поражением японского милитаризма во второй мировой войне духовная жизнь японского общества освободилась от наиболее тяжелых оков. Их сменили иные цепи, выполненные изящнее, но голос честных писателей сделался все же слышнее, тем более что это было не соло одного художника, а хор талантливых исполнителей, в котором отчетливо звучала партия каждого. Я имею в виду Такэси Кайко, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, Сюсаку Эндо, Макото Ода. Пожалуй, впервые в истории Японии столь большое число писателей, почти сверстников — все они принадлежат к послевоенному поколению, — одновременно взялись, если следовать горьковскому определению литературы, помогать человеку понимать самого себя, поднимать его веру в себя и развивать в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях.

Я поставил рядом очень несхожих по творческому методу писателей, чтобы показать место Кайко в ряду современных японских мастеров слова. Но не только поэтому. После знакомства с их произведениями, после встреч с самими писателями за рекламным городским сиянием, вероятно самым ярким в мире, за чио-чио-сановскими атрибутами экзотичного быта, за роботизированным промышленным пейзажем я начинал видеть человека, которому, как и всем людям, живущим в условиях капитализма, не повезло, но не повезло по-своему, по-японски: присущие ему невыдуманные и прекрасные качества — стремление к гармонии, дисциплинированность, упорство, чувство долга, эстетизм — эксплуатируются узким слоем общества ради несправедливых целей.

Очерки «С высоты Токийской башни» написаны в разное время, иные — двадцать лет назад, но звучащий удивительно современно диагноз экономических и социальных недугов длинными цитатами просится в репортаж о Японии сегодняшней, поскольку недуги неизлечимы. Однако анамнез, то есть описание условий, сопутствующих заболеванию, нуждается в некотором обновлении и дополнении. Поэтому я и попробую продолжить начатую Такэси Кайко историю болезни японского общества.

---

<sup>1</sup> Рус. перев. М., 1971.

<sup>2</sup> Рус. перев. М., 1975.



Очерки «Сто миллионов самоубийц», «Токио с высоты птичьего полета», «Удивительна станция Уэно...» появились, когда термин «экономическое чудо» сделался применительно к Японии столь же расхожим, как, например, слова «сакура» или «кимоно». О росте валового национального продукта говорилось в самонадеянных правительственных программах и в феерических книжках-комиксах, рассчитанных на школьников. Тема увеличения ВВП стала главной в парламентских дебатах и в болтовне гейш с клиентами в ресторанах. А Кайко уже тогда написал: «Мы ведь кричим: «Большой рост! Большой рост!» Однако растут-то только высота зданий, цены да количество отбросов». У подлинного писателя — не просто зрение, у него — зоркость.

С тех пор набор образов-штампов, составленный зрячими, но не зоркими людьми, освежен за счет икебаны и каратэ, потеснивших сакуру и кимоно. «Экономическое чудо» осталось, однако, в неприкосновенности. Да и как ему не сохраниться в списке японологических банальностей, если модельеры, кроющие в связи с кризисным периодом обновленные фасоны капитализма, приходят в восторг от цифр японской статистики, утверждающей, что темпы инфляции в Японии вдвое ниже, чем в Западной Европе, а процент безработицы втрое меньше, чем в США. Но прежде чем хвататься за иглы и ножницы, чтобы подогнать все одеяния под японский образец, американским и западноевропейским швецам следовало бы проверить, насколько точна выкройка.

Темпы инфляции составили в Японии в 1982 году лишь 6,6 процента, в то время как в США — 11,2 процента, с плохо скрываемым самодовольством подытожил банк «Мицубиси» обойдя, правда, молчанием, что в перечень товаров и услуг, по стоимости которых определяется индекс цен, не включено жилье, а ведь расходы на него — самое большое, как и двадцать лет назад, бремя японской семьи: свыше 20 процентов ее месячного дохода. В перечень товаров и услуг не входят также коммунальные расходы, вызывающие тяжелую головную боль у японских домохозяек. Плата за жилье увеличивается в среднем на 10 процентов в год. Будь статистика честной, она поубавила бы экстаза за пределами Японии, ибо истинные темпы инфляции составили в стране в 1982 году 9,1 процента.

Безработица находится на уровне 2,5 процента, продолжают игру в прятки японские статистические органы. Удивительно, как они не покончили с безработицей вообще, поскольку достаточно, скажем, домохозяйке давать в неделю один 60-минутный урок музыки, как статистика немедля причислит ее к работающим. В Японии играют в статистику всерьез и профессионально. Крапленые карты здесь не роняют из-за манжетов. И тем не менее настойчивым ученым удалось с весьма высокой степенью точности определить: безработица составляет в Японии не 2,5 а 6 процентов.

«Безлюдные заводы», шеренги проворных роботов на сборке автомобилей, компьютеры, заменяющие бухгалтеров, кадровиков и технических секретарей, — японцы включили осмотр этих диковинок в туристические путеводители наряду с «Садом камней» в Киото и театром «Кабуки» в Токио. И родилась легенда о необыкновенно высокой производительности труда в Японии. Статистика поспешила соорудить легенде подпорки из цифр, исходя из принципа: где правила игры не позволяют выиграть, меняют правила. Вопреки правилам производительность труда исчисляется в Японии только по показателям в промышленности. В то же самое время модернизация, скажем, и системе распределения застыла примерно на том этапе, когда роль денег выполняли мешочки с солью.

Забавы статистических органов с цифрами могли бы развлекать специалистов, если бы ложь не имела опасного для людей труда назначения. Раз темпы инфляции низкие, зачем же требовать чрезмерного увеличения заработной платы? Довод возымел однажды действие, и в 1980 году добытая профсоюзами в ходе «весеннего наступления» прибавка не смогла компенсировать роста цен — рабочие и служащие оказались беднее, чем за год до этого.

Поскольку процент безработицы весьма небольшой, нет необходимости выделять средства на помощь людям, лишившимся возможности трудиться, — другой довод правительства, урезавшего в бюджете 1983 года статью на пособия по безработице на 5,7 миллиарда иен. Результат не замедлил сказаться: за январь—март 1983 года покончило с собой людей, потерявших работу и отчаявшихся расплатиться с долгами, больше, чем за аналогичный период в любом году из последнего двадцатилетия.

Я знаком с героями очерков Кайко. Я встречался с ними в ту пору, когда Кайко о них писал. Видел их сейчас, годы спустя. Книга Кайко укрепила меня во мнении: количественно жизнь японцев неузнаваемо изменилась, качественно — остановилась и застыла, словно часы без стрелок.

Летая над Токио в вертолете, Кайко не мог тогда видеть нынешних 40-этажных небоскребов в районе Синдзюку и 60-этажную громаду в районе Икэбукуро, хотя в остальном город остался прежним: состоящим, по описанию Кайко, «из множества стареньких крыш, за которыми трудно даже различить разделяющие их улицы. Кажется, будто под тобой не город, а беспорядочные колонии островерхих раковин фудзицу-бо или устриц, прилепившихся к замшелой скале, и конца им не видно».

В анкете чиновника столичного муниципалитета — очерк о нем вызовет у вас, я уверен, саркастический смех — в графе «жалованье» значатся теперь не 47 тысяч, а 250 тысяч иен, но платит этот чиновник за свой обеденный «рамэн» — горячую жидкую лапшу — в 5—6 раз дороже. Характер бессмысленного

труда чиновника перемен не претерпел, он штемпелует имен-ной печаткой бумаги, не вникая, как и раньше, в их суть, разве что делает это побыстрей, ибо бумаг стало больше.

Напиши Кайко эту книгу сегодня, в одном из очерков речь шла бы не о 100 миллионах, а о 119 миллионах самоубийц: так выросло население Японии, но о качестве жизни почти все они высказались бы наверняка словами главного героя повести «Потомки Робинзона»: «Я не намерен умирать, но и не могу сказать, что живу». И добавили бы с той же, что и у Кайко, горькой иронией: «Мы счастливы! Мы очень счастливы! Мы удивительно счастливы! Нас обирают налогами, не выполняют данных нам обещаний, кругом царит коррупция, растут цены на рис, сахар, молоко, редьку, растет плата за телефон, за проезд на автобусе и по железной дороге, за обучение в школе, за пользование банями и парикмахерскими... Мы счастливы! Мы чертовски счастливы!»

Подобно персонажам очерка «Требуются... А как живут?» Кэйити Кобаяси жил в общепитии и из мизерной зарплаты, что положила фирма новичкам, откладывал деньги на приобретение стереомагнитофона и телевизора. Сейчас, спустя двадцать лет, служащий небольшой электронной компании Кобаяси с женой Тосиэ, двумя дочками и матерью жены живет в собственном доме. С японской демографической точки зрения у Кобаяси — средняя семья. В доме — цветной телевизор, видеомагнитофон, холодильник, стиральная машина, словом, есть все, что должно повысить семье, если руководствоваться критериями японской рекламы, провозгласить: «Мы счастливы!» С вопроса о счастье я и начал интервью с семьей Кэйити Кобаяси.

— Я была счастлива, пожалуй, только когда растила детей, — ответила бабушка. — Если и случались другие счастливые дни, то их было немного.

— Чувствуете ли вы себя счастливой сейчас?

Бабушка задумалась, может быть сравнивая с теперешней жизнью время, когда ее детям не хватало даже риса — они ели рисовую шелуху, смешанную с мелко нарубленной древесной корой, — искажала:

— Тогда, после войны, жить было очень тяжело, но мы верили в будущее. Сейчас живется сытнее, но иногда по вечерам мне кажется, что уже больше не рассветет. — Бабушка смутилась, виновато посмотрела на зятя: не наболтала ли иностранцу чего лишнего, но Кобаяси ободряюще кивнул, и бабушка dokonчила: — Нет, счастливой себя не чувствую.

Затем вопрос о счастье я задал Тосиэ Кобаяси, школьной учительнице. Она тоже подумала, прежде чем ответить. И сказала, как и бабушка, конфузясь:

— Полностью счастливой считать себя не могу.

Хозяин дома, Кэйити Кобаяси, поспешил на помощь супруге и принялся объяснять:

— В наших странах — противоположные социальные систе-

мы, и вам, наверное, трудно до конца понять нас. У меня и моей семьи нет вроде бы оснований считать себя несчастливymi. В нашем доме, — Кобаяси повел вокруг рукой, — все есть. Но можем ли мы говорить о счастье, если видим, каким непрочным становится мир вокруг нас? В детстве я голодал. — Кобаяси застенчиво улыбнулся, словно извинялся за то, что говорил о невеселых вещах. — С большим трудом построил этот дом, стараюсь дать хорошее образование детям. И вдруг через год, через неделю, вдруг завтра все мои усилия окажутся пустыми? Вдруг война? Или банкротство моей компании и, следовательно, безработица?

— Считаешь ли ты родителей счастливыми? — обратился я к девятикласснице Кунизэ, третьему поколению семьи Кобаяси.

— Папа и мама живут дружно, и, как семья, они, наверное, счастливы, — ответила Кунизэ. — Но по отдельности счастливыми их, по-моему, не назовешь. — Девочка сделала паузу, подыскивая наиболее точное, по ее мнению, объяснение, почему несчастливы родители. — Они все время боятся. Они тревожатся, удастся ли им сохранить то, что они тяжело заработали и мечтают оставить мне с сестрой. И потому они не чувствуют себя свободными. — Кунизэ опять помолчала и завершила мысль: — Я думаю, им страшно жить...

Проведенный в Японии опрос показал, что чувство опасения за завтрашний день — одно из самых общих чувств у нынешних японцев.

Вокзал Уэно — такой, каким описал его Кайко, — скоро бесследно исчезнет. Через год-два вознесется здесь бетонно-стеклянное здание, к широким платформам которого будут прибывать сигарообразные, словно из фантастического романа, поезда — авиационная скорость движения сочетается в них с кошачьей мягкостью хода. Изменится тут все то, о чем с горечью и сарказмом поведал Кайко.

— Но мы-то никуда не денемся, — заверил меня бродяга, устроившийся на ночь у вокзальной стены на листе газеты. Расстилал он ее под собой, подчиняясь, вероятно, рефлексу, выработавшемуся у человека после того, как он переселился с деревьев на землю: теплая газета, разумеется, не давала и не уберегала от грязи, поскольку бродяга вытащил газету из мусорной корзины. — Мы вечны, — продолжил бродяга.

До известной степени он был прав, потому что двадцать лет назад Кайко видел у вокзала Уэно точно такого. Может быть, Дзиро Ямакава, с которым я теперь разговаривал, находился среди тех, кто «хорошо», — по афористичному наблюдению Кайко, — спал» в вокзальных переходах.

«Все свое ношу с собой». Похоже, сказано это про Ямакаву. Он вполне серьезно назвал себя «самым свободным человеком в Токио» — свободным от денег, от семьи, от забот.

— Если бы можно было сделаться еще и свободным от голода, я считал бы себя и самым везучим человеком, — добавил

Ямакава, и я почувствовал определенную логику в его концепции.

Самый несчастный из людей тот, для кого в мире не оказалось работы. Глядя на Ямакаву, понимаешь, сколь правдивы эти крылатые слова. Ямакаву уволили двадцать лет назад за участие в забастовке. С тех пор найти работу он так и не смог. Известно, что поражение не существует, пока сам человек не признал себя побежденным. Ямакава сдался сразу, после первого удара судьбы, явившейся к нему в образе девицы-курьера с пакетом, в котором находилось уведомление об увольнении и выходное пособие.

— Я ничего не делаю, ничем не занимаюсь, — рассказал Ямакава. — И так каждый день. Из месяца в месяц. Из года в год. И если б не голод, я ушел бы и от людей. — Ямакава поежился на газетке от вечерней прохлады. — Я собираю, — продолжил он, — выброшенные пассажирами электричек журналы, комиксы. И если они чистые, продаю их, чтобы купить еду. Нас тут много. — Ямакава кивнул в сторону длинной вереницы тел, темными холмиками горбившихся вдоль стены вокзала на газетках, на листах картона, а то и прямо на земле.

— Что привело вас к такой жизни?

— Наверное, я слабее других и еще...

— Еще что?

— Человек, опустившийся на дно, — Ямакава заговорил уверенней и быстрее, — подняться у нас уже не может. Ему не дадут сделать это. Суть нашего общества, — в голосе Ямакавы зазвучала твердость, — счастье одних достигается за счет горя других, таких, как я, например.

Ясно было, что Ямакава прежде, чем перепродать подобранные на вокзале журналы, прочитывал их. В его рассуждениях чувствовался не только природный ум, но и знания.

— Что вы думаете о своем будущем?

— У меня нет будущего...

— Почему же нет?

— Я же не живу, а существую, — со злой усмешкой ответил Ямакава. — И думать о будущем мне совсем не хочется. Единственное, что волнует меня, — как прожить сегодня. — Ямакава бросил взгляд на стопку журналов, что насобирал у вечерних электричек, — о жизни завтра утром он мог не беспокоиться.

— Ну, а за свою личную-то судьбу бороться воля у вас есть?

— Нет. Воли у меня нет.

— Нисколько?

— Совсем нет. Я не могу, да и не хочу бороться. Для меня все кончено.

Ямакава отвернулся к гранитной вокзальной стене, недолго поерзал на газетном листе, пряча озябшие руки в складках одежды, и затих.

— Вы спрашиваете, в чем социальная причина появления людей типа Ямакавы? Ямакаву породило прежде всего отчужде-

ние личности от общества. — Профессор социологии университета «Тоё» Хироо Мурата посвятил бродяжничеству как социальному явлению целую монографию и теперь пересказывал мне выводы из нее. — Отчуждение это вызвано, с одной стороны, несогласием личности принимать моральные нормы общества, а с другой — нежеланием общества мириться с существованием подобной личности. В нашем обществе, — профессор ткнул себя в галстук, — происходит постоянное столкновение интересов низшие хотят пробиться вверх, а те, что наверху, не пускают Вы, — профессорский палец усталился на меня, — именуете это классовой борьбой, я называю соревнованием. Но дело, в конце концов, не в терминах. — Профессор явно не желал терминологической дискуссии. — Дело в результате: часть не сумевших пробиться вверх, то есть потерпевших поражение, охватывает разочарование. Они отстраняются от общества, а общество отворачивается от них. Отказавшись от новых усилий устроит свою судьбу, такие люди, — профессор теперь уже комментировал мой рассказ о Дзиро Ямакаве, — оказываются в физическом одиночестве. Оно ведет к одиночеству моральному, когда небывало падает ценность человеческой жизни и личной судьбы в глазах как всего общества, так и отдельного его члена.

Кайко печалится в своих очерках, что скудеет число храмовых праздников и все меньше охотников покупать веселую мишуру, которой торгуют в храмах во время торжеств. Действительно, если иметь в виду цветы, золотых рыбок, змеев, так это и есть. Но окончательно храмовый бизнес не захирел.

В токийском храме Торигоэ каждый январь сжигают амулеты. Они должны были принести, как уверяли боги, счастье покой, достаток. Те, кого боги обманули, казнят, за недостижимостью небес, амулеты. Обманутых — подавляющее большинство, костер в храме приближается по размерам к пожару, и обряд сожжения амулетов проводится под наблюдением пожарных. Можно было бы с безмятежно этнографическим любопытством относиться к этому обычаю, если бы многие японцы в огне, пожирающем лживые амулеты, не сжигали за собой мосты Как Дзиро Ямакава с вокзала Уэно.

«В наше время атмосфера для депутатов парламента состоит из кислорода, азота и выборов», — написал Кайко двадцать лет назад. Я занимался изучением японских парламентских нравов и могу засвидетельствовать: состав атмосферы для депутатов не изменился и ныне.

На съезд ЛДП, где выбирали председателя партии, который автоматически садился в премьерское кресло, Кайко взял бинокль, чтобы в подробностях увидеть, как он выразился, «танец денег стоимостью три миллиарда иен». Теперь бинокль не нужен. Бывшего премьер-министра Такэо Фукуду спросили в парламенте, достоверны ли утверждения печати, что изгнанного из правительственного кабинета за взятки Какуэй Танаку избрали председателем партии и, следовательно, премьер-

министром не делегаты съезда, а деньги? Фукуда перед глазами всей нации — телевидение транслировало парламентское заседание — заявил: «Да, газеты правы. Деньги сыграли на том съезде невиданную доселе роль».

«500 миллионов — успех, 300 миллионов — провал» — такова нынешняя калькуляция, хорошо известная тем, кто баллотируется в парламент. То есть кандидат в депутаты, потративший в ходе предвыборной кампании 500 миллионов иен, может надеяться занять место в парламенте. Тот, кто выкладывает лишь 300 миллионов иен, обречен на поражение. В очерках Кайко вы увидите суммы, вдесятеро меньшие. Сказалась инфляция не только денежной ценности, но и ценностей моральных.

При прежнем составе атмосферы, в которой живут депутаты, соотношение ее компонентов сделалось теперь иным: депутаты сразу тянутся за кислородной подушкой, когда приходит время платить по огромным счетам за выборы. Раньше им хватало атмосферного кислорода, чтобы отдышаться.

Откуда взяться пятистам миллионам иен даже у премьер-министра, получающего в месяц со всеми надбавками 2,3 миллиона? Журнал «Бунгэй сундзю» привел слова владельца крупной строительной фирмы, который процветал потому, что раньше конкурентов узнавал о планах государственного строительства и успевал первым подписывать контракты. «Каждый раз, когда я прикладываю свою именную печать к документу на выплату денег политическому деятелю, — раскрыл делец механизм правительственной коррупции, — я могу с точностью сказать, какие коммерческие выгоды мы обретем в обмен на конкретную сумму». Делец имел в виду депутатов парламента, министров и, конечно же, премьер-министра.

«Они лишь марионетки в театре теней, — пригвоздил Кайко консервативных политиков в своих очерках. — Не будь денег, они бы не сутились. А курс нашей страны определяют только те, кто дал им деньги». Позорные столбы простояли двадцать лет. Время не властно над ними.

Когда вы, уважаемые читатели, подойдете к концу очерка об американской военно-воздушной базе Ёкота, одна из последних фраз заставит, я уверен, остановиться и вспомнить, от кого вы совсем недавно слышали примерно эти же слова. Да, вы не ошиблись: их сказал японский премьер-министр Ясухиро Накасона. «Неподвижный авианосец» — употребил термин Кайко. О «непотопляемом авианосце» говорил премьер-министр. Но если в устах Кайко такое определение относится только к базе Ёкота и звучит оно обвинением в адрес правительства, позволившего Соединенным Штатам создать здесь источник военной угрозы для соседей Японии, то премьер-министр подразумевал всю страну и сконцентрировал в своем выражении государственный политический курс.

База Ёкота — по-прежнему барометр американской военной активности на Дальнем Востоке. Когда США совместно с

сеульским режимом проводят на Корейском полуострове крупнейшие в этом районе мира маневры «Тим спирит», в Ёкота можно увидеть всю военно-воздушную технику, задействованную в учениях. И услышать рев авиадвигателей, от которого, по описанию Кайко, «больные убегают из больниц. Провода на линиях высокого напряжения опасно раскачиваются. Со стен осыпается штукатурка, с крыш — черепица. Расшатываются коренные зубы. Не слышно радио. Резко усиливаются помехи на телеэкране. Трудно разговаривать по телефону».

Я почувствовал и испытал все это сам. Показали мне пациента, у которого от шума так расстроились нервы, что из местной хирургической его перевели в токийскую психиатрическую больницу. Единственное, что не могу подтвердить, — порчи коренных зубов. Я пробыл у базы Ёкота всего один день.

Жители прилегающих к базе городов и поселков «готовы, — написал Кайко, — бежать с этого самого большого на Востоке неподвижного авианосца, хотя и не знают, убегут ли они от беды, покинув авианосец». Двадцать лет назад, может, и убежали бы. Теперь не убегут. Теперь куда бы японец ни побежал, он все равно останется на палубе одного огромного авианосца. Окинава? Склады ядерных боеприпасов и мин, база американских сил быстрого развертывания. Ацуги? Логово американских авианосных самолетов, вооруженных ядерным оружием. Ёкосука и Сасэбо? Обиталища американских кораблей, оснащенных ядерными ракетами и бомбами. Мисава? Место, отведенное для самых современных американских истребителей-бомбардировщиков F-16, которые способны доставлять ядерное оружие.

На японском «непотопляемом авианосце» японская только охрана. Однако это весьма внушительная сила. Если собрать все расходы на нее, разбросанные по разным статьям государственного бюджета, то они окажутся равными военным ассигнованиям Англии или Франции. И охрана уже подумывает о действиях в море за тысячу миль от авианосца. Премьер-министр Накасонэ собственноручно вывесил на японском «непотопляемом авианосце» американский флаг.

Суда по очерку Кайко, жители Ёкота хотели не слишком много: уменьшить шум на базе, повесить потолок полетов американских самолетов, прекратить вылеты с базы в ночное время.

Минуло двадцать лет.

— С лакейской готовностью Япония подчиняется требованию США сделать «непотопляемым авианосцем», — услышал я теперь от женщины, чей дом расположен через шоссе от колючей проволоки, ограждающей базу. — Я решительно протестую против втягивания Японии в войну: Ради жизни детей я участвую в движении за мир.

— США намереваются разместить у нас, в единственной в



мире стране — жертве атомных взрывов, крылатые ракеты, — сказал мне хозяин маленькой закуской в Ё ката. — То есть США растаптывают нашу мирную конституцию. Не протестовать против этого — значит смириться с возможностью повторения атомной трагедии.

Двадцать лет, пролегли между пребыванием в Ё ката Кайко и моей поездкой туда, стали для местных жителей периодом политического возмужания.

Иностранцы, сталкиваясь с необычными, на их взгляд, а подчас и загадочными для них проявлениями японского характера, нередко становятся похожими на тех японцев, которые, впервые увидев верблюда, приняли его за лошадь с распухшей спиной. За пределами Японии выведен уже целый табун этих странных животных. И среди них чудо-юдо японского трудолюбия, японского пиетета, японской любви к природе — всех «лошадей с распухшей спиной» и не перечислять. Имея в руках повесть Такэси Кайко «Потомки Робинзона» и очерки писателя, нетрудно, мне кажется, разобраться, как смогли народиться подобные чудища.

Я уверен, что нет народов, изначально ленивых и изначально трудолюбивых. Ведь именно труд сделал обезьяну человеком. И если одни работают высокопродуктивно, а итоги труда других не столь обильны, то причина здесь не в генетической заданности, а в условиях, в которых протекает трудовой процесс. «Потомки Робинзона» — это, на мой взгляд, не просто достоверная, ярко выписанная картина освоения дельны острова Хоккайдо послевоенными переселенцами. Повесть вполне можно считать аллегорическим объяснением, почему японцы трудятся добросовестно, дисциплинированно, и вместе с тем очень далеки от любви к труду.

В фантастически суровых для японцев природных условиях переселенцы, обманутые и брошенные властями на произвол судьбы, надрывным трудом заложили основу нынешнего хоккайдского хозяйства. Переселенцами, как и в свое время Робинзоном, двигало отнюдь не обожание труда самого по себе. Они боролись за существование, боролись, чтобы выжить. И остались в живых действительно только те, кто трудился сверх всякой меры. Бегство не выдержавших такого труда было равносильно смерти — во всей Японии места для них уже не находилось.

Так и вся нация испокон веку вела жестокое сражение с природой за выживание. Отсутствие свободных земель исключало экстенсивное развитие сельского хозяйства. Только интенсивный труд спасал возраставшее население от голодной смерти. Землетрясения, тайфуны, цунами уничтожали сделанное. И приходилось начинать с нуля, что каждый раз требовало все нового увеличения трудовых усилий. Без объединения сил схватка с природой была обречена на поражение. Община становилась тем жизнеспособней, чем выше оказывалась дис-

циплина ее членов и чем точнее они следовали установленным и общине порядкам.

Модернизация Японии, научно-техническая революция дали японцам огромной мощи оружие в достижении господства над природой. Обстановка, в какой сейчас трудятся японцы, и близко не похожа на условия, описанные в «Потомках Робинзона». Однако наряду с умелой организацией труда, попутно с внедрением тщательно продуманной технологии и современнойшего оборудования сохранилось и принуждение японцев к труду, правда, формы принуждения сделались иными.

Помните Кэйити Кобаяси и его страх потерять все, что он ТЖ нелегко заработал? Страх заставляет Кобаяси работать, забывая об усталости и о времени, чтобы сохранила жизнеспособность его фирма и, следовательно, выжил он сам. «Мой муж — полуночник» — в Америке или Европе эта фраза звучит раздраженно или стыдливо, если, конечно, женщина сообщает, что ее муж — полуночник, с гордостью. Она всячески афиширует такое поведение мужа, ибо оно означает, что муж трудится в фирме даже ночью.

Культивирование на современном производстве установившихся в японской деревне столетия назад общинных отношений — тоже форма принуждения трудиться с полной отдачей сил. Японец не мыслит существования вне группы, разрыв с группой вызывает у него психический шок. И поэтому японец согласен на личные жертвы — например, работать сверхурочно без достаточного вознаграждения — ради сохранения принадлежности к группе. А тон в группе задает лидер, беспрекословное повиновение которому — тоже общинный принцип. Если лидер — хозяин фирмы, то несложно представить, сколь уверенно и прибыльно может предприниматель вить веревки из своих рабочих и служащих, поскольку они считают фирму рамками своей группы.

«И во время войны, когда высшими добродетелями считались труд и воздержание, — пишет в очерках Кайко, — и после войны, когда все запреты были сняты, наше отношение к работе оставалось неизменным». Милитаристская клика в период войны и капиталистические владыки после нее использовали один И тот же рычаг — общинное сознание японцев.

«Около 60 процентов населения Токио ютится в домишках, похожих на клетки для птиц... — пишет Кайко. — Стены в домах тонкие, фундаменты хлипкие — такое сооружение сотрясается от каждого проезжающего мимо грузовика или самосвала. За топкими окнами, — продолжает Кайко, — нескончаемый шум, загрязненный воздух, выхлопные газы. И трудно понять, для чего окна существуют: то ли чтобы проветривать комнату и выпустить наружу застойный воздух, то ли чтобы пускать внутрь еще более загрязненный воздух улицы. Внутри «птичьих клеток» режут младенцы, кричат женщины, воздух пропах запахом

пеленок. И господин Рип ван Винкль — такое иносказательное имя дал Кайко японцам — в субботний или воскресный день медленно встает со стула, выходит на улицу и никем не понукаемый отправляется в свой офис».

От подобного «трудолюбия» становится не по себе.

Некоторое время назад крупная японская газета «Асахи» задалась целью выяснить, на что японцы хотели бы расходовать свое время, будь у них возможность выбирать. Лишь 2 процента опрошенных заявили, что отдали бы часть своего времени труду. Остальные 98 процентов, перечислив самые разные способы времяпровождения, о труде так и не вспомнили.

Организаторами исследования не был обойден вопрос, во имя чего трудятся японцы. Оказывается, только 2 процента из них трудятся, чтобы приносить пользу обществу. Подавляющее же большинство опрошенных назвали труд «неизбежным злом».

Да, и откуда в классовом обществе взяться чувству потребности в труде, или, говоря иначе, трудолюбию? Недаром в современной японской народной песенке говорится:

Рис толочь в муку для теста —  
Невеселая работа:  
Бей пестом, а сам не пробуй! —  
Сердце жжет от злости!<sup>1</sup>

Подлинное, а не выдуманное трудолюбие возможно, если содержательным, творческим делается труд и результаты его не присваиваются теми, кто сам пробует, а пестом не бьет, если труд рассматривается как высшее наслаждение, ограничение которого не приобретение, а утрата. Но такое мыслимо лишь при социализме и коммунизме.

Повесть и очерки Такэси Кайко, собранные в этой книге, — ружье, которое писатель предлагает нам, чтобы перестрелять «лошадей с распухшими спинами» — плод недобросовестной селекционной деятельности буржуазных идеологов — ученых-экономистов, писателей, журналистов. И пока чудищ не внесли, чего доброго, в Красную книгу, мы должны ружьем воспользоваться.

Владимир ЦВЕТОВ.

---

<sup>1</sup> Японская поэзия. М., 1956, с. 546. Перевод В. Марковой.

# Потомки Робинзона



## Глава первая

### 1

На станцию Уэно мы прибыли около семи часов вечера.

Как всегда, там царил хаос. Под высокой круглой крышей, поддерживаемой металлическим каркасом, толпились люди, слышались раздраженные голоса и топот ног, напоминавший грохот прибоа.

Ко всему прочему здесь царила темнота. Вокзал освещался лишь несколькими лампочками у входа, да и они были затянuty черной материей — приказ о затемнении! В такой темноте даже вблизи не различить лицо человека. У выходов на платформы, от которых отправлялись поезда на Тохоку, Дзёбан, Синано-Этиго, стояли длиннющие очереди. Они причудливо извивались и переплетались в такой клубок, что трудно было понять, где начало и конец каждой. В стороне от очередей, сбившись в кучки, тоже ожидали люди. Одни устало прислонились к своему скарбу, другие растянулись прямо на бетонном полу. Вокруг них громоздились сковородки, котлы, кастрюли, ведра. Люди и скарб, казалось, прикипели к своим местам — будто находились здесь по меньшей мере несколько лет. И трудно было определить: погорельцы они или горожане, решившие искать убежища в деревне, или просто облюбовали этот вокзал, потому что им больше негде приклонить голову.

Все окутывала тьма, образуя между телами людей черные провалы. Здесь можно было передвигаться только ощупью, иначе непременно наступишь на лежащего человека или споткнешься об узлы с вещами. Пронзительные крики женщин, ругань мужчин, детский плач... Воздух из-за поднимавшихся от

множества потных тел испарений был жаркий, удушливый и казался густым и вязким, как каша. Пробивая дорогу в толпе и обходя груды скарба, я вместе с женой и сыном добрался наконец до укромного уголка, где стоял брошенный ларек, который, видимо, закрыли еще несколько лет назад, — опущенные жалюзи покоробились, на дверях висел красный от ржавчины замок. Между стеной и ларьком можно было укрыться от толпы и спокойно дожидаться посадки.

— Остановимся здесь, опускай вещи, — сказал я жене и сбросил с плеч узел с котлом.

— Эй, поосторожней, я еще живой, черт побери! слышалось откуда-то снизу

Я увидел, как вытянулась из тьмы нога, обутая в солдатский ботинок, и оттолкнула котел, который с грохотом покатился в сторону

— Простите великодушно, здесь так темно, я не предполагал, что рядом кто-то есть, — извинился я, пытаюсь разглядеть пострадавшего. Наконец глаза привыкли к темноте, и я увидел человека, который растянулся на полу, подложив под голову большой узел. Похоже, котел упал на него, когда тот спал.

— На что у тебя глаза, черт побери! Представляешь, если бы твой котел угодил мне в голову! — проворчал мужчина, повернулся ко мне спиной и тотчас снова уснул. Наверно, очень устал.

Я усадил жену и сына позади ларька, рядом разместил вещи и сел на пол. Итиро крепко прижался к матери. Хотелось разглядеть его лицо, но мешала темнота. Я на ощупь проверил вещи и на всякий случай придвинул их поближе. Котел был завернут в старое шерстяное одеяло и завязан в фуросики<sup>1</sup>. В котле — еще теплый отварной гаолян с небольшой добавкой риса. Его мы рассчитывали съесть в поезде. Было еще два ведра. В одном — чайные чашки, палочки для еды и нож, в другом — гаолян, рис и бобы. Кроме того, узлы с одеялами и одеждой. Вот и все наши пожитки. У меня и жены были надеты на голое тело пояса из хлопчатки с зашитыми в них деньгами и сберкнижками. Денег, правда, кот наплакал, да и времена такие, что ничего на них не купишь.

С чувством признательности я глядел на котел и ведра: кто знает, как далеко от Токио до Хоккайдо, может, сотни, а может, тысячи километров, и вместе с нами им предстоит преодолеть это расстояние, верно служа нашему семейству. Вначале жена намеревалась захватить множество вещей — жалко ей было расставаться с ними. Чуть ли не месяц мы спорили и ругались по поводу каждой вещи, пока я наконец не заставил ее бросить почти все, захватив с собой лишь самое необходимое. Не так уж много было у нас домашней утвари, но когда всю собрали в комнате площадью в шесть татами<sup>2</sup>, там некуда было ступить.

<sup>1</sup> Платок для завязывания вещей.

<sup>2</sup> Одно татами — около 1,5 м<sup>2</sup>.

Жена с сожалением дотрагивалась до каждой вещи, совершенно ненужной для нашей новой жизни. Мне же становилось тошно от одной мысли, что человек не может жить без такой уймы бесполезного скарба. Это укрепило меня в решимости полностью покончить с тем, что связывало нас с прежней жизнью. Я пригласил старьевщика и продал ему оптом все — от старых газет до домашнего алтаря. Жена, кажется, смирилась с моим решением, но, когда, стоя у двери, увидала, как выносят домашний алтарь, нервы ее не выдержали, и она со страхом прошептала:

— Предки нам этого не простят...

— Не вешай нос, — подбодрил ее. — А ну-ка, кругом марш!

Жена нехотя возвратилась в дом и чуть не расплакалась, когда увидала голые стены и разбросанные на полу клочки бумаги и ваты.

— Как пусто! — прошептала она и уже готова была сесть на пол и пустить слезу. Но я, нарочно стуча каблуками, прошелся по комнате и громко сказал:

— Эй, нет ли у нас вареной картошки? Я что-то проголодался...

Жена молча сидела в темноте с фляжкой через плечо и с откинутым на спину башлыком. Итиро притих. Наверно, прислонился к коленям матери и уснул. В похожем на огромную пещеру станционном зале люди казались бесплотными тенями. Составы еще не подали ни на одну линию, выходы на платформы, где проверяли билеты, были закрыты, но пассажиры по-прежнему толпились около них. От дыхания, исторгаемого сотнями легких, похожий на кашу воздух все более густел. Становилось трудно дышать. В этой смрадной тьме люди, словно слепые, протягивали вперед руки, окликали друг друга, чего-то требовали. Родители не узнавали детей, мужья — жен. В такой темени не отличишь врагов от друзей, воров от полицейских, родственников от чужих. Оставалось одно: узнавать близких по запаху. Шевелились тени, срывались с губ слова, выражавшие мысли, которые жерновами ворочались в бесчисленных круглых черепах. Они сталкивались, переплетались, отдаваясь эхом под металлическим каркасом потолка. Всякий раз, когда я бывал на этой станции, мне почему-то вспоминалась одна похожая на загадку фраза из «Сборника старых и новых западных афоризмов», которую я когда-то прочитал, стоя у прилавка букинистического магазина: «Входя, кричит — уходя, кричит». Видимо, она означала рождение и смерть человека, но почему-то напомнила мне вокзал Уэно...

Состав обещали подать к десяти. Оставалось ждать еще три часа. Поезд специально составлен для нас по указанию токийской префектуры, и нам не было нужды стоять в очереди: никого со стороны в вагоны не пропустят. Среди нас много женщин, стариков и детей, и префектура позаботилась заброни-

ровать места на всех. Вещей разрешалось брать сколько унесешь. Из Хоккайдо обещали прислать инструктора по сельскому хозяйству. Кроме того, нас будет сопровождать бригада медиков, чтобы оказывать первую помощь заболевшим в пути. Сказали, что в Сэндае дадут рисовые колобки, а в Аомори, до прибытия рейсового парохода, предоставят помещение для ночевки. Отдел освоения новых земель столичной префектуры, видимо, предусмотрел все до мелочей. Сам губернатор собирался приехать на вокзал и выступить перед нами с напутственной речью.

Мало того, по прибытии на место нас обещали поселить в домах, которые построит отряд армейских саперов. А тот, кто захочет помочь в строительстве, получит вознаграждение. Коротче говоря, будешь строить собственный дом, да еще получишь за это деньги. По желанию каждому выделяют от десяти до пятнадцати тэбу<sup>1</sup> земли. Из них один тэбу на участке будет уже распахан, чтобы поселенцы могли сразу же что-нибудь посеять. Вот до чего все было тщательно продумано. Поскольку предстояло разрабатывать целину, нам обещали предоставить в аренду крупный инвентарь, а также «передать в дар» лошадей, мотыги, плуги и другие сельскохозяйственные орудия. Желающие могли получить с оплатой в рассрочку свиней и овец. Все это и многое другое было подробно изложено в «Условиях набора поселенцев», которые я, как и все остальные, получил в префектуральном отделе освоения новых земель. Я неоднократно заходил в отдел, беседовал с чиновником, который заявил, что государство гарантирует выполнение всех взятых на себя обязательств. Однажды я встретился с этим чиновником в обеденное время. Тогда он мне сказал:

— На Хоккайдо много нетронутой целины, где можно годами возделывать землю, не внося удобрений. Реки наносят питательный слой — он и становится вроде бы естественным удобрением. Чуть поковыряешь такую землю, и сей в нее что хочешь — земля как пух! А тыквы там такие толстокожие, что только топором можно разрубить. Зато середка хороша, сочная, мучнистая, — кидай на сковородку или в кастрюлю и ешь, наслаждайся. А о картошке и говорить не приходится. Она ведь местная, не привозная — отвари и жри с маслом от пуза! Масло тоже местное. Эх, что и говорить! Будь моя воля, давно уехал бы на Хоккайдо. А тут прозябай на этом рисе, приготовленном по методу Кусуноки...

Я заглянул в его коробочку для еды, которую он, должно быть, принес из дому. Там в самом деле был рис, приготовленный по Кусуноки. Когда-то в средние века князь Масасигэ Кусуноки, окруженный со своими войсками в крепости и отрезанный от продовольственных баз, придумал этот способ, чтобы спастись от голодной смерти. В котел с крутым кипятком

---

<sup>1</sup> Тэбу — около одного гектара.

кидали предварительно сваренный рис и плотно накрывали крышкой. Зернышки риса лопались, впитывали в себя воду и разбухали. Риса становилось вроде бы в три, а то и в пять раз больше. Но стоило в чашку, полную такого риса, плеснуть немного чаю, как он начинал съезживаться и через минуту едва прикрывал дно. Съев это легкое как пух и не насыщающее желудок блюдо, чиновник посмотрел на меня голодным взглядом и продолжал:

— ...И кукуруза на Хоккайдо совсем не такая, как у нас. Рано утром сорвешь пару-другую початков — они еще в росе! — очистишь — и в кипяток. Отваренная кукуруза там сладкая, мягкая, а вкусна — язык проглотишь! Разве сравнишь ее с той, какую продают у нас уличные торговцы. А зимой — сельдь, кета, горбуша, треска, морские ежи. Когда сельдь идет косяками, крестьяне набивают ею ящики из-под мандаринов и маринуют.

— Маринуют?!

— Ну да! Как китайскую капусту. Посыплют солью, добавят специй — и сверху гнет. Получается такая острая штука, что, как говорят, глаза на лоб лезут.

— Глаза на лоб?

— А какая в Хакодате лапша с кальмарами! Пальчики оближешь.

— Лапша с кальмарами? Первый раз слышу.

— Берут кальмара — только самого свежего, когда он голубым отвечает, тонко нарезают, кладут в миску с лапшой, добавляют соевый соус и васаби<sup>1</sup>. Обедение!..

Чиновник умолк. Он обмакнул палочки для еды в пиалу с водой, приподнял коробку с налипшими по краям зернышками риса, соскреб палочками, словно штукатур мастерком, остатки риса в угол, потом, как пьяница, когда он боится пролить хоть каплю сакэ из полной до краев чашки, потянулся губами к коробочке и слизнул остатки, не уронив ни единого зернышка. От воспоминаний о рассказе чиновника у меня потекли слюнки. Не слишком ли радужную картину нарисовал он? Я ощущал в кармане документы, полученные в отделе освоения новых земель, и мысленно сказал себе: «Смотри не промахнись, держи ухо востро!»

Чересчур красиво там все было расписано: за помощь в строительстве домов будут платить; десять тебе земли, из них один обработанный; тракторы; бесплатный инвентарь. К тому же, несмотря на хаос, который царит из-за воздушных налетов, предоставляют специальный поезд. Невольно напрашивалась мысль: где японское правительство скрывало до сих пор свою доброту? Известно: каждый любит позлословить насчет нынешних времен, да и насчет государства, в котором он живет. И все же можно ли по-настоящему верить в эти обещания?

Много ночей я не спал, советуясь с женой. Оба мы родились

---

<sup>1</sup> Разновидность японского хрена, растет в чистой проточной воде.



в Токио, и нам ни разу не довелось побывать на Хоккайдо. Что до крестьянского труда, то в юности мне пришлось десять лет обрабатывать землю близ Мисимы. Жена ничего не понимала в сельском хозяйстве, но я рассчитывал кое-чему ее научить. И все же мы были в полном неведении: что из себя в действительности представлял Хоккайдо? Когда заговаривали об этом острове, в первую очередь вспоминалось: кета в красиво оформленной упаковке из соломы, которая появлялась в магазинах перед новогодними праздниками; обложенная льдом в деревянных ящиках сельдь в рыбных лавках; деревянная башня с часами в городе Саппоро; съедобные водоросли маримо; коренные жители Хоккайдо айну; вырезанные из дерева медведи; деревенский пейзаж на обертке, в которую до войны заворачивали ма сло, — красные силосные башни с остроконечными голубыми крышами, крестьянские белостенные дома, черные с белыми пятнами коровы среди мирных лугов, задумчиво жующие траву под голубым небом, и обязательно на каждой обертке призыв: «Юноши, вас ждут великие дела!» Вот и все, что всплывало у нас в памяти при упоминании Хоккайдо. Правда, в кинотеатрах иногда показывали фильмы, где испорченный подросток, совершивший немало проступков, с нагловатым выражением на тупом лице, но с увлажнившимися глазами, говорит любимой девушке: «Уезжаю на Хоккайдо, надеюсь вернуться другим человеком. Пока, до встречи!» Потом: гудок паровоза, браваурная музыка, удаляющийся поезд и девушка, глядящая ему вслед. Ситуация не слишком подходящая для солидного женатого мужчины вроде меня.

Я понимал, что с такими познаниями далеко не уедешь, и, поскольку служил в финансовом отделе токийской префектуры, решил почерпнуть кое-какие сведения в отделе освоения новых земель. К сожалению, ничего полезного для себя я там не узнал. Основная задача этого отдела заключалась в вербовке и отправке поселенцев на целинные земли по получаемым с мест запросам. Никаких солидных материалов там не было. Тогда я начал расспрашивать чиновников, живших в свое время на Хоккайдо, но опять-таки потерпел фиаско. Большинство из них в самом деле были выходцами с этого острова, окончили средние школы в Саппоро либо в Отару, но уже давно живут в Токио. Из их рассказов я узнал вот что: пахотной землей на Хоккайдо можно пользоваться тридцать лет без удобрений; во времена Мэйдзи<sup>1</sup> выделяли такие участки, которые с трудом можно обойти за день; в зарослях мелкого бамбука бродят медведи с кетой в пасти. Ну и под конец — рассказы о засолке сельди, о лапше с кальмарами и тому подобное. От всего этого в голове возникла ужасная мешанина. Говорил и с друзьями, но что путное узнаешь у людей, живущих в условиях, когда день за днем Токио подвергается бомбежке? Каждый заботится о

<sup>1</sup> Мэйдзи — период правления императора Мэйдзи (1867—1912).

сохранении собственной жизни и интересуется лишь тем, сколько кан<sup>1</sup> картофеля можно сменять на кимоно.

Не думаю, что меня увлекли ностальгические воспоминания чиновников из отдела освоения. Спокойно я отнесся и к красным силосным башням с синими крышами, как и к призывам совершить великие дела, к соленой селедке и лапше с кальмарами. Я не считал, не хотел признаваться, что все это меня увлекло, но ежедневные разговоры с женой, начатые в шуточной форме, постепенно все больше занимали мои мысли.

Вначале жена высмеивала идею переселения на Хоккайдо, затем стала прислушиваться к рассказам о том, что Хоккайдо — родина картофеля, что местность Дзэнибако — «ящик с деньгами» — получила свое название потому, что торговец, приехавший туда за сельдью, привез с собой ящик денег — вот сколько, оказывается, там рыбы! — что тамошняя кукуруза очень питательна. И загорелась:

— Уедем на Хоккайдо! В Токио жить стало невмоготу.

Потом, видимо испугавшись собственной решительности, засомневалась:

— В наши-то годы начинать все сызнова...

И вот однажды, после того как целый день жена понапрасну потратила на поиски хоть каких-нибудь овощей, она вернулась домой расстроенная и закрылась в темной кухне. Потом отворила дверь и сказала:

— Решайся!

И все же большую часть вины за то, что мы надумали уехать, я должен взять на себя. Мне опротивело протирать штаны в финансовом отделе. Шлепать по бумаге слепой печатью да выписывать колонки цифр — отдельно красными и синими чернилами — вот и вся моя работа. Надоела она мне до тошноты. За многие годы я научился выполнять ее автоматически, как машина: левой рукой листал накладные, правой выписывал нужные цифры. Трудился я безупречно, но ни радости, ни удовлетворения такая работа мне не доставляла. Шло время, и я каждый день срывал очередной листок настенного календаря. Начальство считало меня трудолюбивым и исполнительным чиновником и даже ценило, поскольку я не протестовал, когда приносили счета за банкеты, и умело их, как прочие непредусмотренные расходы, списывал в конце квартала. Но при моем среднем образовании я до самой смерти не мог рассчитывать на повышение. И понимал: когда наступит пенсионный возраст, меня немедленно уволят, а на мое место посядут человека, который не менее искусно будет списывать упомянутые расходы.

Как-то я прочитал один западный роман. Я забыл название и фамилию автора, но содержание запомнил. Суть его сводилась к следующему: в компании служил чиновник, которому вскоре

---

<sup>1</sup> Один кан — 3,75 кг

предстояло уйти на пенсию. Это был честный, добросовестный чиновник, который в дождь ли в холод аккуратно каждый день приходил на службу. Начальство ценило его, полностью доверяло, и в день рождения обязательно присылало когда цветы, а когда и бутылку вина. Но начальству никогда не приходило в голову повысить его в должности. Другие чиновники, значительно моложе, быстро продвигались по службе. За год до увольнения на пенсию этот чиновник изъясил из бюджета компании крупную сумму и зажил на широкую ногу. Он снял апартаменты в первоклассном отеле, заказывал лучшие марки вин, ежедневно ходил в театр, в казино, появлялся исключительно в смокинге. Друзья, конечно, обратили внимание на его новый образ жизни, но на все расспросы он отвечал: неожиданно получил от деда наследство. Однажды его махинации были раскрыты. Причем это не составило труда, поскольку он просто приписал в документах лишнюю сумму. Все удивлялись: такой опытный бухгалтер, а поступил по-детски примитивно. Когда начальство нагрянуло к нему в отель, он лежал на кровати и перелистывал легкомысленный журнальчик. Без тени смущения и без какого-либо страха он дал нацепить на себя наручники и вышел из комнаты в сопровождении полицейских.

В послесловии автор написал, что чиновник совершил этот поступок не из-за недовольства установленным в компании порядком, а просто чтобы доказать начальству, что он вовсе не такой человек, каким его считают. Мне была понятна и близка усталость, накопившаяся в этом чиновнике за многие годы однообразной службы. Правда, я не намеревался аналогичным способом продемонстрировать свое настроение, но изменить я не в меньшей степени, чем этот персонаж из романа, и нередко по вечерам, глядя из окна своего учреждения на лучи заходящего солнца, чувствовал, будто мои кровеносные сосуды становятся похожими на пропитанную водой солому. В такие минуты мне представлялось, что все пространство до горизонта устлано кипами новых конторских книг, а камень на моей могиле будет выкрашен синими и красными чернилами.

Но меня утомляла не только служба. Я измучился еще от каждодневных воздушных налетов. Улицы, испещренные оспинами воронок, тьма, запертые двери магазинов, пыльные витрины с потрескавшимися от жаркого солнца деревянными рамами. Токио превратился в сплошные руины, и из его центра можно было беспрепятственно видеть, как солнце заходит за горизонт.

Каждый день завывали сирены воздушной тревоги. По утрам прилетали самолеты с вражеского авианосца. Они сбрасывали небольшие бомбы и поливали город пулеметным огнем. Во второй половине дня появлялась эскадрилья тяжелых бомбардировщиков. После их налетов вспыхивали пожары, поднимались к небу густые клубы дыма, потом начинался дождь — черный от поднимавшейся в небо сажи. Были и ночные налеты; и приходилось, не раздеваясь, сидеть по ночам без сна в темной

комнате, потому что никто не знал, когда снова прилетят бомбардировщики. Всякий раз, когда выла сирена, мы мчались к мелким, словно подносы, противовоздушным щелям и голову сверлила единственная мысль: как бы горящий дом не обрушился на щель.

Были трудности и с продовольствием. От распределения по карточкам осталось одно воспоминание. Единственная возможность добыть пропитание — обмен на вещи. Жена ездила в деревню и, стараясь не попасться на глаза экономической полиции, меняла кимоно на картофель и рис. По воскресеньям мы отправлялись вместе. Все это было крайне унижительно. Перед поездкой в деревню жена не один час раздумывала, что бы сегодня обменять, а когда приезжала туда, крестьянские девушки с кислыми лицами перебирали наши вещи. После унижительных уговоров они шли наконец в кладовку и насыпали пару совков картофеля в наши рюкзаки. Обливаясь потом, мы закидывали рюкзаки на спину и, кинув вождеденный взгляд на кладовку, видели, что куча картофеля на полу нисколько не уменьшилась. Тогда-то и вспоминалась поговорка: «отдать один волосок от девяти быков». Потом возвращались в переполненной электричке, стараясь попасть в промежуток между воздушными тревогами. Добравшись до дома, открывали шкаф и с горечью видели: на одно кимоно теперь меньше. А их осталось совсем немного, и, как подумаешь, на что жить, когда и эти кончатся, оторопь берет. Я тащился по тропинке среди полей и с болью думал: да, пришел ваш час, стервецы-крестьяне, теперь-то вы можете нам отомстить! В августе наш платяной шкаф опустел, и жена стала ездить на близлежащие поля, собирала лебеду, дикий лук и мокричник. Попробовав варева из этих трав, мой сын Итиро говорил:

— Скоро я начну петь, как канарейка.

Его голос звучал вроде бы весело, а я печально глядел на его ребра, просвечивавшие сквозь тонкую кожу.

Вот что заставило меня подать прошение об отставке и пойти в отдел освоения новых земель.

## 2

Когда до отправления оставалось уже не так много времени, появился железнодорожный служащий, натянул перед выходом на перрон веревку и выставил деревянную дощечку с припиленным на ней клочком бумаги, на которой были выведены иероглифы: «Группа освоения Хоккайдо». Затем пришел человек, в котором я узнал чиновника из отдела освоения новых земель. Помнится, когда я с ним беседовал, он ел тот самый рис по Кусуноки. Он плохо выглядел и посматривал вокруг голодными глазами. Я разбудил жену и сына, распределил между ними скарб и двинулся к чиновнику сквозь толпу ожидающих.

— Ваша фамилия? — спросил тот.

Когда я назвал себя, он вытащил из кармана бумаги, послунял карандаш и начал медленно просматривать список. Его грязная тонкая шея, заросшая пучками белесых волос, напоминавших морские водоросли, была влажной от пота. Глядя на него, я вдруг подумал: я еще на этом берегу и через реку не переправился. Перед моим мысленным взором возникли табачная лавка, почта, вход в нашу квартиру, похожий на дыру, просверленную древооточцем. Чиновнику ведь безразлично, и он не станет поднимать шум, если я откажусь и пойду прочь со станции. Он лишь послушает карандаш и вычеркнет мою фамилию из списка. Как быть? Погибнуть, оставаясь в Токио, или умереть там, на далеком Хоккайдо? Все равно рано или поздно, тут ли, там ли придется умирать от голода...

Чиновник отметил мою фамилию в списке и поднял на меня глаза.

— Благодарю. На наше счастье, сегодня ни разу не объявили воздушную тревогу. Потерпите немного, скоро начнется посадка. — Он указал карандашом место сбора. Мы направились туда и сбросили вещи. Ослабевший от недоедания сын сразу же пристроился между ведром и большим узлом, свернулся калачиком, словно креветка, и задремал. У жены тоже был усталый вид. Ну что же, пока сам не попробуешь, все равно ничего не узнаешь; поедем — а там будет видно, решил я и растянулся на полу, прислонив голову к ведру.

Я обратил внимание на приближавшееся к нам семейство из четырех человек. Впереди шествовал глава семьи — крупный мускулистый мужчина. Его плечи и грудь, казалось, были вырублены из целой сосны. На лице капельки пота — светлые и прозрачные, как древесная смола. Жена — небольшого роста, но плотная, буквально пышущая здоровьем. За ними шли два мальчика — краснощекие крепыши с блестящими глазами. Семейство поднырнуло под веревку и стройной колонной направилось к чиновнику. Отметившись, они так же один за другим миновали веревку и сбросили вещи в облюбованном ими уголке. Казалось, на доселе голом бетонном полу неожиданно возник маленький лагерь. Мужчина сел, скрестив ноги, вслед за ним плюхнулась на пол жена, рядом растянулись дети. Я глядел на это семейство и думал: им, должно быть, ничего не страшно и любая работа по плечу. Мужчина, по всей видимости, мастерской с завода в провинциальном городке, выходец из деревни, и на Хоккайдо он едет заниматься привычной с детства работой. Поэтому и тощая шея чиновника с пучками белесых волос его несколько не обескуражила.

Вслед за ними появилось еще одно семейство — тоже из четырех человек: муж, жена и двое детей — мальчик и девочка. Муж, по-видимому, чиновник, недавно оставивший свой пост. Точнее его специальность было трудно определить: работник муниципалитета, либо банковский служащий, либо клерк из

компании. Он был высок ростом, хорошо сложен, мускулист, но его мышцы, в отличие от мастерового, были натренированы разумными, целенаправленными занятиями спортом. В драке он вряд ли одолел бы того. Наверное, когда дело доходит до ссоры, он в первую очередь дает волю языку, а не рукам. Еще я заметил: если то семейство расположилось сразу на первом же оказавшемся свободном месте, то эти долго озирались, внимательно оглядели раскинувшее свой лагерь предыдущее семейство, потом прямоком направились в нашу сторону — видимо, почувствовали в нас родственные души. Мне, честно говоря, это не очень понравилось. Я отвернулся, делая вид, что их не замечаю. Они поступили так же и стали раскладывать свой скарб рядом с нами.

— Извольте ехать на Хоккайдо? — не удержавшись, вежливо спросил у меня глава семейства.

Раз ко мне обратились, я вынужден был обернуться, мужчина, улыбаясь, глядел на меня, кожа у глаз собралась в мелкие морщинки. В его взгляде я прочитал предупредительность, беспомощность, нерешительность и в то же время холодность. Это был типичный взгляд мелкого чиновника, каких я сотни и тысячи раз встречал в различных учреждениях. Я не успел еще ответить, а он уже вздохнул с облегчением: наверно, в моих глазах он уловил нечто родственное. Наконец я утвердительно кивнул, и он сразу же обернулся к жене:

— Слышишь? Эти господа тоже едут на Хоккайдо. Клади вещи рядом. Устала наверно?

Тем временем начали подходить все новые поселенцы с вещами, и вскоре их собралось столько, что невозможно было повернуться. Все мы узнали о наборе поселенцев на Хоккайдо из объявлений в газетах или со слов друзей и знакомых, но, поскольку каждый порознь заходил в отдел освоения новых земель за документами и разъяснениями, мы не были знакомы друг с другом. И хотя мы отправлялись одним поездом, участки земли нам должны были выделить лишь по приезду на Хоккайдо, поэтому каждый из нас был в полном неведении относительно того, где, в каком районе острова ему суждено жить. В поездке мы будем вместе, а по прибытии на Хоккайдо раскатимся в разные стороны, как ртутные шарики. А пока поселенцы один за другим выныривали из темноты, отмечались в списке у чиновника и снова возвращались к своим семьям и скарбу Сидевшие по соседству обменивались друг с другом короткими приветствиями и сразу отворачивались. Кругом царила странная отчужденность. Время от времени тишину нарушал громкий разговор, дружеские реплики. Это говорили родственники, пришедшие проводить поселенцев.

К половине десятого собралось столько народу, что уже не могли поместиться на участке, отгороженном веревкой, и были вынуждены обосноваться за его пределами. Почти все были одеты в гражданскую форму, которая выдавалась по распределе-

нию. На головах — фуражки военного образца, у каждого к поясу приторочен индивидуальный пакет, за спиной — противовоздушный башлык, на ногах — обмотки и солдатские ботинки или парусиновые туфли, резиновые сапоги либо обувь из акульей кожи. На некоторых даже соломенные сандалии на босу ногу. Скарб был у всех примерно один и тот же: кастрюли, котлы, ведра, рюкзаки, узлы, ящики из-под мандаринов, переносные печурки, детские коляски, мотыги, серпы... Один старик тащил на спине огромные стенные часы. Такие часы можно было довольно часто увидеть в часовых магазинах. Обычно они висели на столбе где-нибудь в глубине магазина, и, проходя мимо, трудно было различить, идут они или стоят — так медленно двигался маятник. Зачем понадобились эти часы, которые, обливаясь потом и согнувшись в три погибели под их тяжестью, бережно тащил старик, — ума не приложу! Когда он проходил мимо, едва поспевая за своими домочадцами, я взглянул на циферблат. Часы показывали четверть восьмого. Должно быть, недавно остановились. Наверное, они висели на стене до последней минуты, медленно покачивая маятником в темной, опустевшей квартире.

Отметившись у чиновника, люди возвращались к своим вещам. Одни безразлично глядели перед собой, другие, сердито насунив брови, разглядывали свои ботинки, третьи, облизывая пересохшие губы, лежали, уставившись в потолок. Иногда слышались короткие смешки, шлепки, которыми награждали расшалившихся детей. Одни развязывали узлы, в который раз проверяя их содержимое, другие, ловко, словно обезьяны, выгнув спину, почесывались, стараясь ногтями дотянуться до лопаток. Общая картина напоминала конечную станцию метро наутро после воздушного налета. Мужчины сидели, кто скрестив на груди руки, кто раздвинув по-женски ноги. Некоторые, устав от ожидания, дремали на полу, подложив под голову руку. Все в целом походило на барахолку. Из темных дыр компаний, заводов, учреждений, домов их выкурили и пригнали сюда пожары и взрывные волны. Теперь всем этим людям негде было приклонить голову. Грязные, потные, они сидели, поглядывая исподтишка на соседей, и не знали: то ли бежать им отсюда, то ли оставаться; нервно принимались грызть уже изгрызанные ногти и сплевывали.

Жена обвела взглядом станционный зал и безразлично сказала:

— Ну и народу собралось.

— Это наши попутчики.

— Не представляю, что будет, если придется бежать всем разом в укрытие при ночной бомбежке...

— Да уж! Предки в гробу перевернутся.

Я погладил передевшие волосы жены и вдруг крикнул:

— Не шевелись! Сейчас я вырву седой волос.

Жена густо покраснела:

— Перестань, люди смотрят!

Нашла время кокетничать, подумал я, но руку опустил.

— Что с тобой? Вроде бы мы уже пятнадцать лет женаты, — недовольно пробурчал я.

Жена искоса поглядела на меня и сказала:

— Хоть пятнадцать лет, хоть двадцать! Просто неприятно, когда ищут в голове — словно обезьяна насекомых.

Сидевший рядом пожилой мужчина вмешался в наш разговор. В его ясных, спокойных глазах прыгали смешинки. Одет он был в гражданскую форму, в руках держал мотыгу, рядом на полу лежали рюкзак и ведро. Видимо, тоже ехал на Хоккайдо осваивать новые земли. Он поглядел на жену, потом перевел взгляд на меня, как бы сравнивая наши лица, и тихо сказал:

— Это только кажется, будто обезьяны ищут друг у дружки насекомых. На самом же деле они следят за чистотой и наводят лоск.

— Неужели? — удивился я.

— Ей-богу! Сидят они, к примеру, на скале на солнышке, любят друг на дружку и приговаривают: до чего же ты ухожена, пылинки не найти, или же: тебя почистить надо, жирком обросла — не иначе, на черном рынке приторговывала! И начинают: каждый волосок переберут, на солнышке просветят. Обезьяны — они народ изысканный, аристократы, одним словом.

Я обратил внимание, с каким спокойствием рассуждал этот пожилой мужчина. Казалось, он один сохраняет присутствие духа среди этого хаоса, и суматошный поток людей и вещей, приблизившись к нему, становится неторопливым и даже останавливает свой бег. Я взглянул на жену: щеки ее все еще стыдливо рдели, но она с интересом прислушивалась к тому, что говорил этот мужчина.

Поглаживая рукоятку мотыги, он продолжал:

— И ведь не только обезьяны. Помню, в детстве я наблюдал в деревне, как старик и старуха искали друг у друга в голове — наверно, чтобы убить время. Других-то развлечений у них не было.

— Простите, откуда вы родом? — прервал я его.

Мужчина не обратил внимания на мои слова или сделал вид, что не услышал, и стал рассказывать, будто в их деревне жил старик, у которого остались на голове считанные волоски. Каждое утро он смачивал их водой и расчесывал, приговаривая: «Син, ты еще жив, а тебе, Саку, не жестко на моей подушке?»

— ...Каждому оставшемуся волосу он давал имя и по утрам проводил вроде бы перепись населения, — заключил он.

Дождавшись, когда он умолкнет, я снова спросил:

— Простите, а сами-то вы откуда будете родом?

Мужчина на мгновение задумался, потом, усмехнувшись, ответил:

— Погорелец я.



Только теперь я обратил внимание, что поблизости от него была женщина — наверно, жена. Она дремала, прислонившись к ведру. Он молча подоткнул под нее одеяло и поправил башлык. Детей рядом с ними не было и провожающих тоже. Откуда они, чем занимались? Трудно сказать. Ясно было одно: не прощелыги. К тому же я заметил, что мужчина был обут в поношенные, но хорошего качества альпинистские ботинки. Когда после приветствия губернатора наша колонна двинулась вперед, я увидел эту пару в самом хвосте. Мужчина нес в одной руке ведро и мотыгу, а другой поддерживал жену. Наверно, она была не крепкого здоровья. После того как мы сели в поезд, я их больше не видел.

Наконец, когда пришло время садиться в вагоны, появился губернатор в окружении хорошо мне знакомых чиновников префектуры. С откинутым за спину стальным шлемом на завязках и с башлыком в руке губернатор поднялся на возвышение перед входом на перрон, чтобы все его видели, и произнес напутственную речь:

— Поздравляю вас с решением отправиться на новые земли и желаю счастливого пути. Со времен Мэйдзи Хоккайдо всегда радушно принимал поселенцев. И все же до сих пор там много неосвоенных земель — по площади не меньше, чем весь остров Сикоку. Что касается почвы, то недаром Хоккайдо называют «Украиной Востока». Конечно, осваивать целину — дело трудное, но, я уверен, вам воздастся за ваши труды сторицей. Сегодня, когда днем и ночью свирепствуют наши враги — Америка и Англия — и с продовольствием в нашей стране становится все хуже и хуже, освоение целинных земель становится важнейшей задачей государства, и дух колонистов-поселенцев является олицетворением непобедимости нашего народа. Поэтому местные власти Хоккайдо и старожилы-крестьяне ожидают вас — солдат сельскохозяйственного фронта с распростертыми объятьями. Они все подготовили для вашей встречи...

Затем выступил инструктор, который в подтверждение речи губернатора еще раз напомнил, что поселенцам предоставят дома, участки земли, инвентарь, скот в рассрочку — в общем, все, как было написано в условиях набора поселенцев. Инструктор добавил: поскольку поселенцы придут на место в августе, когда на Хоккайдо, где рано наступает зима, уже поздно сеять, всем придется до следующей весны получать продукты по карточкам, но это не должно беспокоить поселенцев — необходимые продукты заготовлены. Пока инструктор об этом рассказывал, подошел врач и медсестры с повязками Красного Креста. У каждого в руке была объемистая медицинская сумка. Их приход вызвал оживление среди поселенцев. Ведь по нынешним временам даже в районах, подвергшихся вражеской бомбардировке, устанавливали лишь палатки для оказания неотложной помощи, а врачей там и в помине не было. Все

теперь слушали инструктора вполуха и, подталкивая друг друга, перешептывались:

— Вот это да!

— Такое бывает только во время путешествия высокопоставленных сановников.

— Здорово!

— А как же иначе? Они ведь имеют дело с верноподданными императора.

Жена поглядела на меня и сказала:

— Похоже, дело серьезное. Хорошо, что мы с тобой решили поехать. Не зря говорят: рожать не так трудно, как кажется!

Я заметил, как на дотоле пасмурном лице жены ярче заблестели глаза, ее бледные щеки порозовели, а поредевшие волосы на голове стали вроде бы гуще и залоснились.

— Выходит, твой муж не ошибся, — поддразнил я жену, но та вполне серьезно кивнула головой. Не надо поддаваться на эти чересчур заманчивые обещания, твердил я себе, но при виде полностью экипированных врача и медсестер не решился высказать свои опасения вслух. Напротив, я почувствовал, будто в мои кровеносные сосуды проникли лучи солнца и кровь по ним побежала быстрее.

Когда мы проходили мимо контролера на перрон, нам махали руками и, побагровев от натуги, кричали «банзай» начальник станции, губернатор, инструктор и сопровождавшие их чиновники. Позади них стоял чиновник отдела освоения новых земель — тот самый с пучками белесых волос на шее — и то нерешительно поднимал руку, то опускал ее. У него был жалкий вид, и он стоял такой голодный и одинокий, что я опустил глаза и поспешно прошел мимо, решив: когда обживусь на Хоккайдо, обязательно пришлю ему бочонок сельди. И я представил, как он по-кошачьи жадно и ловко будет грызть селедку, заедая рисом по Кусуноки.

В нашей колонне произошло какое-то движение, потом все побегали. Я взял еще сонного Итиро за руку, узел с вещами повесил на шею, другой рукой подхватил котел и помчался за остальными. Все на ходу что-то кричали друг другу, весело смеялись.

— Лихо улепетьваем! — с усмешкой крикнул кто-то, но никто на его слова не обратил внимания.

Состав походил на длинную гусеницу. Окна вагонов были наглухо закрыты и зашторены. Внутри кое-где едва светились лампочки. Их свет не мог разогнать темноту, и мы, отталкивая друг друга, с криками и руганью кинулись занимать места, словно это было вопросом жизни и смерти.

Но суматоха была излишней. Правительство позаботилось о том, чтобы у всех были места. Примчался железнодорожный служащий и хриплым голосом призвал пассажиров соблюдать порядок. В самом деле, когда мы наконец ворвались в вагон, оказалось, что мест хватает на всех. Позабыв о недавних криках

и ругани, мы оторопело поглядывали друг на друга. Усадив жен и детей и закинув на полки узлы со скарбом, мужчины стали весело переговариваться.

— Едем, как знатные персоны.

— Вот это да!

— А как же иначе, мы ведь не кто-нибудь, а верноподданные его величества.

У приехавших на вокзал родственников застыло на лицах такое выражение, будто они провожали солдат на фронт. Одни облепили окна, другие влезли в вагон и говорили всяческие напутственные слова. Одни плакали, другие, выплавав все слезы и выговорив все слова, молча сидели друг против друга. Были и такие, кого никто не провожал. Заняв свои места, они тут же засыпали. Никто не провожал и нас. Конечно, и у меня, и у жены были родственники и знакомые, но мы никому не сказали об отъезде. На то имелись свои причины: во-первых, станция — завидная цель для врага и в любой момент может подвергнуться налету; кроме того, пока провожающие будут с нами на станции, могут и дом разбомбить в их отсутствие. Да и вообще решение о поездке на Хоккайдо приняли мы вдвоем с женой, ни с кем не советуясь. Поэтому об отъезде ни родным, ни друзьям не сообщили.

— Может, окно открыть, — предложила жена, вставая, но я промолчал, и она снова села на место и взяла на колени Итиро.

— Ну, сынок, теперь ты больше не будешь канарейкой. На Хоккайдо много кукурузы, так что станешь вороной. Вороны страсть как любят кукурузу, а она там сладкая, вкусная. От кукурузы ты поправишься, станешь толстый, как бочонок. А Токио... пусть его! Мы без него обойдемся.

Итиро сложил руки на круглом, как тыква, животике, закрыл глаза и уснул.

Поезд шел без остановок. Нам сказали, что лишь утром мы остановимся в Сэндае, где нам выдадут рисовые колобки, а дальше, если не будет воздушной тревоги, поедем напрямик до Аомори. Я подумал было снять обмотки, потом решил не делать этого на случай воздушной тревоги. Иначе придется их снова наматывать в темноте. В Токио я давно уже привык спать в обмотках. Привык и спать стоя, держась за поручни, в переполненных электричках. Мне рассказывали, как бывалые солдаты хитрят, чтобы спать на ходу. В такие времена не выживешь, если не приобретешь особую сноровку в этом деле. Жена сидела в неудобной позе, держа сына на коленях, и, видимо, от возбуждения без умолку говорила о всякой всячине. Мне это надоело, и я сказал:

— Кончай болтать, лучше поспи. Сейчас надо экономно расходовать силы. Приедем на место, придется работать, как волам, на отдых времени не будет. Поэтому спи сейчас, отсыпайся.

Жена откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, но

сразу же вновь открыла их и, пугливо озираясь, сказала:

— В котле есть вареный рис: Когда проголодаешься, поешь. Только смотри, чтобы никто не украл.

— Ясное дело. Но если ты это варево называешь рисом, значит, с японским языком у тебя не все в порядке.

— Опять ты за свое! — рассердилась жена, потом тяжело, с присвистом вздохнула, словно выпустили воздух из воздушного шара, и закрыла глаза.

Я перекинулся парой слов с соседями. Пока ожидали посадки на станции Уэно, каждый был сам по себе, а теперь захотелось поболтать, поближе познакомиться, хотя знали: по приезде на место все разведутся кто куда и, может, больше не доведется встретиться. Говорили о речи губернатора, о сопровождающей поезд медицинской команде, о том, что нас ждет на Хоккайдо. Среди нас оказались бывшие полицейский, штукатур, токарь, котельщик, биржевой маклер, столяр, государственный чиновник — в общем, самая разношерстная публика. Полицейский рассказал, как он неудачно ловил преступника — тот вовремя ушел со службы и исчез. В результате и сам полицейский лишился работы. Штукатур поведал о том, что с заработками последнее время стало туго: домов теперь никто не строит — мол, все равно разбомбят; многие дома сгорели из-за нефтяных и фосфорных бомб, а те, что остались, велят рушить, чтобы легче было добираться до бомбоубежищ; ему и самому предложили помочь в разборке домов, ему, штукатуру — и рушить дома! Он, конечно, отказался и решил искать счастья на Хоккайдо. За этим же отправлялись туда токарь и котельщик, биржевой маклер и столяр. Помимо коренных жителей Токио, были среди нас выходцы из Тохоку, Хокурику, Сикоку и Кюсю. Эвакуация в родные деревни ничего хорошего им не сулила: своих домов и участков земли там не сохранилось, а быть обузой для родственников, которые — в том числе и многосемейные — и сами-то едва сводили концы с концами, не хотелось. Коренным же токийцам вообще некуда было эвакуироваться, а жизнь в Токио была такая, что ничего иного не оставалось, как завербоваться на Хоккайдо. Я разглядывал этих мужчин: среди них были здоровые крепыши, которым любая работа по плечу, а были и такие — к примеру, биржевой маклер, чиновник, клерк из компании, — что и в глаза-то не видели мотыгу: близорукие, хилые, шеи белые, грудь впалая, приспособленная лишь к работе за столом. Я тоже принадлежал к последним, но у меня все же был десятилетний опыт работы в деревне. В своем большинстве завербованные не имели представления о сельском хозяйстве, а их общение с землей ограничивалось копаньем в садике позади своего дома. Как эти люди смогут прижиться на Хоккайдо, думал я, но, глядя на их изможденных жен и детей, дремавших среди немудреного скарба, понимал, что иного выхода у них не было.

Поодаль слышался громкий голос мужчины — судя по гово-

ру, уроженца Хоккайдо. Окружающие невольно прислушивались к его словам.

— ...Губернатор говорил правду, — самоуверенно утверждал он, — Хоккайдо, в самом деле, называют «Украиной Востока». Там с одного тана<sup>1</sup> собирают по пятьдесят, а то и по шестьдесят мешков картофеля. А сельди столько, что можно есть, пока не начнешь рыгать. Свежую кету жарят прямо на берегу, фуки<sup>2</sup> вырастают такие, что вполне заменяют зонтик. Право слово, в дождливую погоду дети срывают их листья и ходят под ними в школу, как под зонтиком. На Хоккайдо все дикое, дикое и мощное, и, честно говоря, там можно надеяться только на собственные силы. Там все не такое, как в Центральной Японии...

Под стук колес перед нами одна за другой разворачивались необыкновенные картины жизни Хоккайдо. Голос мужчины звучал убедительно, самоуверенно, а те преувеличения, которые, чувствовалась, были в его рассказе, воспринимались как преувеличения очевидца, испытавшего все на собственной шкуре. Многие из того, что он поведал, мы слышали впервые и удивлялись, восхищались и даже искренне хохотали. Но сильнее всего на нас подействовали слова, которыми он со вздохом заключил свой рассказ:

— Только бы нам добраться до пролива и переправиться через него...

Мы почему-то притихли и молча опустили головы.

### 3

В Аомори мы переночевали в местной школе и наутро в сопровождении инструктора отправились в гавань, где нас ожидал пароход — не рейсовый пассажирский, а грузовой. Это была старая калоша, палубу которой покрывали серые и черные пятна краски — камуфляж против вражеских самолетов, базировавшихся на авианосцах. Кое-где краска облупилась и сквозь серые и черные пятна проглядывала ржавчина. Грузовоз был настолько старый и запущенный, что нельзя было разобрать даже его названия. Он покачивался на грязной воде гавани, словно мусорный ящик.

— Ну и грязница на пароходе, — возмущился кто-то.

— Зато две тысячи тонн водоизмещения. Скажите спасибо, что такой предоставили. Сейчас не до роскоши — война! — возразил инструктор.

Женщины, дети, старики, а за ними и вся остальная наша нищая бригада взобрались на этот «мусорный ящик». Кают в нем не было и в помине, и все разместились в темном корабельном трюме, пропахшем краской и тухлой соленой

<sup>1</sup> Тан — около 0,1 гектара

<sup>2</sup> Подбел японский

рыбой. Я вышел на палубу. Был ясный солнечный день. Морской бриз доносил острый запах водорослей и продирал легкие, словно каустическая сода. После вонючего темного вокзала Уэно солнце казалось особенно ярким. Я закрыл глаза и глубоко дышал. Вскоре мои сосуды, напоминавшие вымокшую соломку, обрели упругость и с новой силой погнало кровь в самые отдаленные уголки тела. Плечи и поясища, привыкшие к жестким сиденьям вагона, все еще не решались расправиться, но я рассчитывал, что солнце и ветер быстро вернут им эластичность, если не возвращаться в трюм. Пока я, энергично размахивая руками, мерил шагами палубу, раздался пронзительный гудок, громким эхом отдавшийся в железной обшивке, и пароход отчалил. День был на редкость тихий, ясный, и я подумал, что нас ожидает приятное путешествие. Ветер относил в сторону звуки военно-морского марша, и город Аомори медленно стал уходить вдаль. Поднятая гребным винтом первая волна, выгнув спину, ударила о берег и рассыпалась. Глядя на эту картину, я ощутил необыкновенную радость и душевный подъем. Наша посудина не спеша развернулась, пару минут нерешительно постояла на месте, потом поплыла прямо, курсом на север. Я стоял на носу и, забыв о времени, глядел, как корабль безжалостно взрезает волны, раскидывая их в стороны. Мне казалось, что это я сам вспахиваю море, словно огромный плуг.

Я спустился в трюм, когда Аомори скрылся из виду в далекой дымке. Все уже кое-как разместились и отдыхали. Мужчина, которого я принял за служащего, подложив под голову рюкзак, читал «Восемьсот восемь барсуков из Ава»; мастера, собравшись в кружок, играли в кости; женщины, разложив на коленях лоскуты материи, занимались шитьем; старик, отвернувшись к борту и подозрительно оглядываясь, пил из горлышка sake; мужчина, потирая руки, чему-то улыбался; несколько человек оживленно спорили, какой из самолетов лучше: японский «хаябуса» или американский «грумман»; пожилые женщины увлеченно обсуждали, из чего вкуснее рыбный суп: из кеты или соленой трески; раздевшись до белья, мужчина сосредоточенно подсчитывал зашитые в пояс деньги, рядом с ним тихо похрапывала беременная жена; тут же некий трудолюбивый парень точил мотыгу; многие спали, похрапывая и время от времени ворочаясь на жестком полу; сопровождавшие нас врач и медсестры бродили по переполненному трюму и, радуясь, что для них наконец нашлось дело, оказывали помощь тем, кто страдал от морской болезни. В поезде делать им было абсолютно нечего, и, как рассказывал один наблюдательный мужчина, врач, занимавший купе для проводников, всю дорогу пил разбавленный водой медицинский спирт. Когда мужчина, возвращаясь из туалета, заглянул в купе, врач испуганно загородил стакан. Но поселенцы считали, что правительство совершило благодеяние, послав с нами медицинскую бригаду, и

в шутку говорили: даже если бы врач не работал, а танцевал, мы все равно в благодарность подарили бы ему целый котел вареного риса с бобами. Во всяком случае, пlying на пароходе, мы убедились, что медицинские сумки у них не для видимости. Они были набиты всевозможными лекарствами, и медсестры и врач, не скупясь, давали их женщинам и детям, делали уколы, оказывали первую помощь. Короче говоря, работали на совесть.

Хотя наш пароход предназначался для перевозки грузов, его трюм был специально для нас радифицирован. Незадолго до полудня по радио выступил инструктор с сообщением, в котором рассказал поселенцам, в какие группы и по каким районам Хоккайдо они распределены. Предварительная беседа проводилась накануне вечером в школьной аудитории в Аомори. Поскольку мы были полными невеждами относительно климата Хоккайдо и качества почвы, резко отличавшейся от почв остальной Японии, из хоккайдской префектуры прибыли специалисты, которые должны были оказать нам помощь в выборе участков, предварительно ознакомившись с нашими документами и переговорив лично с каждым поселенцем. В аудитории расставили несколько столов, за которыми специалисты проводили собеседования. Члены семьи подходили к столу, где им задавали единственный вопрос: хотите заниматься земледелием или предпочитаете скотоводство? Ничего нового по сравнению с вербовочными условиями специалисты не рассказали. Отдел освоения не интересовали ни биографические данные, ни опыт работы в сельском хозяйстве, ни прежние судимости. В условиях был пункт, по которому поселенец мог потребовать замены земельного участка, если ему по каким-то причинам полученный по распределению не подходил.

Сидя в непринужденных позах и поедая розданные нам рисовые колобки, мы слушали инструктора.

«Масадзи Ямада, первая группа, район Тиэбун. Дайгоро Савагути, вторая группа, район Тома»...

Он говорил предельно кратко.

Когда инструктор кончил зачитывать список, все поднялись со своих мест, зашумели, некоторые даже вытащили карты Хоккайдо и стали отыскивать районы, куда их распределили. Потом мы собрались вокруг словоохотливого уроженца Хоккайдо, уговаривая рассказать все, что он знает об этих районах. Того буквально распирало от гордости: ведь он оказался в центре внимания

— Вас интересует Тиэбун? Там болотистые места, зато настоящая целина. Ни один человек еще не воткнул туда мотыгу, поэтому все зависит от вашего умения. Придется основательно гнуть спину, пока не разработаешь землю. А уж когда возделаешь поле — никаких забот. Болотистые земли — жирные, такой урожай получите, что стебли будут сгибаться от плодов. Вам можно только позавидовать.

Тома? Считайте, что вам повезло. Рядом расположен армей-

ский полигон, поэтому местность плоская и пригодна для выращивания риса. Срежете заросли мелкого бамбука, проведите воду, а дальше знай — вскапывай да перекапывай!

Да будет вам известно: рисовое поле тем лучше, чем чаще его обрабатывают. Земля размельчается, свободней становится доступ воздуха, и, если умело использовать особенности почвы, урожай риса обеспечен, а уж картофеля будешь собирать мешков по пятьдесят с тана. Короче говоря, с такой землей надо вести себя, как с женщиной: чем чаще будешь ухаживать, тем больше радости ей доставишь. В Центральной Японии небось видели. Там землю перекапывали многие поколения, и теперь она стала, как тесто. Правда, с нее столько лет собирали урожай, что она потеряла силу, и, чтобы сохранить плодородие, надо добавлять фосфор и калий. Другое дело Хоккайдо. Тамошняя земля что деревенская девушка: забеременеет без всякой подкормки — только оседлай! Одно удовольствие!

Все сразу оживились, с хохотом похлопывая друг друга по коленкам.

Именно в этот момент всеобщего веселья пришел инструктор, оглядел нас и сказал:

— Сейчас будет передано специальное сообщение.

Инструктор ушел, а мы, сидя вокруг уроженца Хоккайдо, продолжали с хохотом вспоминать подробности его рассказа. Через несколько минут снова появился инструктор. Он сбежал по ступенькам в трюм и возбужденно закричал:

— Встать! Всем встать! Высочайшее сообщение. По радио выступит император.

В репродукторе что-то щелкнуло, и мы поспешно встали, побросав на пол все, что было в руках. Из репродуктора, висевшего на стене под самым потолком, послышались звуки, напоминавшие рокот волн.

— Молчаливая молитва! Головы склонить! — приказал инструктор и повернулся лицом к репродуктору.

Когда сообщение закончилось, инструктор, удостоверившись, что репродуктор умолк, поднял голову.

— Конец молитве! — крикнул он. Потом в замешательстве вытащил из кармана сигарету и закурил. Спохватившись, что курить при таких обстоятельствах не положено, он помахал рукой, разгоняя дым. — Ничего не разобрать — о чем говорилось? — пробормотал он и поспешно покинул трюм.

Тупо глядя перед собой, все вернулись на свои места. Одни улеглись на пол, другие сидели, почесывая затылки и перешептываясь:

— Ничего нельзя было расслышать.

— А перед речью что играли? «Уходим в море?»

— Нет, гимн «Кими га ё»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Государственный гимн Японии до поражения во второй мировой войне.



— Точно, «Кими га ё»

— Во всяком случае, это — не предупреждение о воздушном налете.

— Поспать что ли?

Только через час стало известно, о чем говорил император И то не до конца. Ни капитан, ни инструктор в трюме не появлялись. Куда-то исчезли врач и медсестры. Никто не спустился в трюм, чтобы объяснить, о чем шла речь в специальном сообщении. Один мужчина, который просто так выходил прогуляться по палубе, по возвращении в трюм утверждал, будто его величество по радио зачитывал императорский указ.

— Императорский указ? — переспросил его лежавший на полусоседе. — Что за указ?

Вернувшийся с палубы мужчина, огромный, как слоновая черепаха, неуверенно ответил.

— Точно ничего не знаю. Но это в самом деле был императорский указ. Недаром перед ним исполняли гимн «Кими га ё».

Потом тихо и будто стесняясь добавил:

— Похоже, мы проиграли войну. Об этом, должно быть, и указ. Так сказала начальство на палубе.

Мужчина умолк, медленно прошел в свой угол и растянулся на полу, подложив руку под голову. На какое-то время в трюме воцарилась тишина. Женщины снова принялись за шитье, старик втихомолку прихлебывал сакэ, раздевшийся почти догола мужчина наконец подсчитал свои деньги и, видимо, убедившись, что все на месте, снова зашивал их в пояс. Вечернее солнце осветило иллюминатор, его лучи веселыми бликами прыгали по воде за бортом. В трюме было тихо, от ног мужчин разлило потом, напоминавшим запах бурьяна в летний полдень. Неожиданно тишину прервал низкорослый мужчина:

— Что за идиотизм! Разве может Япония проиграть войну?! — Он саркастически засмеялся и добавил: — Иначе нас бы здесь не было.

— Не знаю, ничего не знаю! Так сказала начальство наверху, а я ничего не знаю, — повторил тот, кто вернулся с палубы.

Лицо его налилось кровью, он все сильнее прижимался к стене, будто хотел втиснуться в нее и исчезнуть.

Малорослый все с той же саркастической усмешкой обернулся к нему и удивительно громким для его тщедушного тела голосом закричал:

— Хорошо, я сам поднимусь на палубу и узнаю.

Прошло немало времени, а он не возвращался. Да и без него все стало ясно: вскоре после того, как он ушел, в трюм спустился инструктор. Он встал у входа и без всяких предисловий сказал.

— По радио говорил император. Он зачитал указ. Из-за

помех трудно было разобрать его смысл. Капитан объяснил, что враг специально вызвал помехи, включив глушилку. Война окончилась. Это сказал император. О том, как быть дальше, пока никаких распоряжений не поступало. Этот вопрос сейчас тщательно изучается. Поэтому все вы ведите себя спокойно и ждите указаний. — Инструктор сделал паузу, потом добавил — Наше судно движется в прежнем направлении. В Аомори мы не возвращаемся. При всех обстоятельствах оно доставит вас в Хакодате. Прошу всех сохранять спокойствие.

Не в силах скрыть волнение, инструктор поспешно покинул трюм. Вскоре после этого вернулся низкорослый. Опустив плечи и Понутив голову, он тихонько прошел в свой угол и, скрючившись словно личинка, улегся между стеной и своим скарбом.

— Ну, что там? — спросила его жена, приподняв голову с пола.

В ответ он лишь промычал что-то нечленораздельное. Так же, как и тот мужчина, он прижался к стене, стараясь скрыться от людских глаз, и то крепко зажмурился, то снова открывал глаза и хлопал ресницами. Вид у него был, как с похмелья. Мужчина, читавший книгу про восемьсот восемь барсуков, бросил ее на пол и стал усердно протирать полотенцем очки.

В тишине послышался глубокий вздох, потом кто-то пробормотал:

— Конец представлению... А наш пароход, значит, движется в заданном направлении...

Я оглянулся и с удивлением узнал в говорившем того самого уроженца Хоккайдо, который лишь несколько минут назад развлекал нас рассказами о целине. Он сокрушенно покачал головой, почесал в затылке, потом не спеша встал и отправился на палубу.

— Что же теперь будет? — Жена с беспокойством заглянула мне в глаза.

Я промолчал, да и что мог я сказать ей в ответ

Из разных углов начал доноситься шепот. Многие лежали, растянувшись на полу, или рассеянно смотрели в иллюминатор. Я поглядел на говоривших. В одном углу собрались столяр, штукатур, токарь, поденный рабочий — все люди физического труда, мастеровые. Так же как у остальных, глаза их были печальны, но разговор выражению глаз не соответствовал. Лежа рядышком — в одной руке пиала, из которой время от времени прихлебывали чай, в другой — игральные кости, они неторопливо переговаривались:

— А я все удивлялся: чего это враг бездельничает — вот уже несколько дней ни одного налета.

— Удивительно, что мы до сих пор продержались. Слышали: на аэродроме в Татикава около взлетных дорожек картошку посадили.

— Картошку?! Это зачем?

— Чтобы спирт из нее гнать для заправки боевых самолетов.

— Чудеса да и только! Сначала самолеты построили, потом картошку посадили, чтобы спирт для них гнать. Дожили...

Разговор в кружке, где собрались банковский служащий, чиновник, школьный учитель и врач, был несколько иной. Они сидели, обхватив руками колени и склонив свои белые затылки и так подавшись вперед, что их тощие ребра, искривленные постоянным сидением за столом, касались колен, и говорили:

— Н-да, странно устроен мир. Только наконец решил начать новую жизнь, а тут все и кончилось. Насмешка судьбы! Знал бы заранее, не спешил бы подавать прошение об отставке. Не поздно ведь было отправить его по прибытии на место. Взял бы отпуск в связи с эвакуацией, тогда бы и зарплата шла до сих пор.

— А на мой взгляд, все к лучшему. Переждем всю эту заваруху на Хоккайдо, переберемся пока картофелем. Тем более что сейчас в Токио есть нечего. К деревенскому труду мы не приспособлены, поэтому будем считать нашу поездку вроде бы коллективной эвакуацией — правда не в слишком близкие края. А там, глядишь, все устроится, наладится, тогда и вернемся в Токио.

— Верно! Все мы принадлежим, так сказать, к управленческому аппарату, и наш переход в клан, если можно так выразиться, работников физического труда явился бы своего рода нарушением границы. К тому же это бессмысленно, и, я уверен, правительство целиком и полностью согласится с этой точкой зрения. Было бы странно, если бы оно не согласилось. Не хочется заявлять об этом во всеуслышание, но, честно говоря, Хоккайдо — мусорный ящик, место свалки, куда отправляют бедствующих. Навряд ли кто-либо из вас желает, чтобы его останки зарыли в землю Хоккайдо. В свое время Doppo Куникада<sup>1</sup> написал роман «Говядина и картошка», но в конце концов вернулся в Токио, чтобы поесть мяса.

Так они говорили, грызя жареные бобы.

Другие поселенцы тоже о чем-то шептались, собравшись группками по три — пять человек. Заметил я и таких, которым все было безразлично: беременная женщина, спавшая подложив руку под голову; супружеская пара, которая ни с кем не вступала в разговор еще с посадки в поезд на станции Уэно. Да и не только они. Лишь дети по-прежнему шалили и бегали взапуски по трюму. Остальные сидели подавленные, по-разному переживая случившееся. Нигде не слышалось смеха, угасло оживление, вызванное распределением поселенцев по районам, а также веселыми рассказами уроженца Хоккайдо.

Итиро лежал на циновке. Жена разложила на коленях лоскутки и молча шила, время от времени вдевая в иглолку

---

<sup>1</sup> Известный японский писатель (1871—1908).

новую нитку. Я устало прислонился к стене и думал о том, что поступил легкомысленно, решив отправиться на Хоккайдо. Вспомнилось лицо начальника отдела, когда я положил перед ним прошение об отставке. Он не сразу принял его. Оторвавшись от папки с документами, он удивленно воззрился на меня и, выслушав причину, по которой я оставлял службу, поморгал глазами и, поджав губы, сказал:

— У нас такое же положение. Не только ребенок, но и мы с женой питаемся мокричкой, словно канарейки.

Тогда я выдвинул следующую причину: мол, если так пойдет дальше, Токио превратится в руины. Правительство, наверно, переедет то ли в горы Хаконэ, то ли в деревню в префектуре Тиба, а что с нами будет, выживем ли мы вообще, не знаю. Так не лучше ли уехать на Хоккайдо, и если уж суждено умереть, так в своем доме и на своей земле... Начальник отдела молча меня выслушал и печально опустил глаза. Должно быть, что-то я сказал не так. Насколько я знал, жизнь у него сложилась нелегкая. Ему удалось получить лишь среднее образование, потом тридцать лет чиновничьей службы — каждый день со скудным завтраком из дома, — прежде чем занять должность начальника отдела. А через пару лет — пенсионный возраст. На пенсию, которую он получит, кое-как прожить можно, но квартиру придется снимать по-прежнему — на пенсию дом не купишь, да и родители его и жены тоже живут небогато. Нет у него и не будет ни своего дома, ни клочка собственной земли. Наверно, поэтому начальнику отдела взгрустнулось, когда я заговорил о доме и земле на Хоккайдо.

— Итак, вы хотите уехать с женой и ребенком, чтобы начать жизнь заново? Не знаю, что и сказать. Поверьте, я отнюдь не собираюсь вас удерживать. Напротив, завидую вашей энергии и, — сказал начальник, задумчиво пощипывая щеки, пожелтевшие от многолетнего потребления дешевого зеленого чая.

— Благодарю вас за ваше участие, но не извольте беспокоиться. В детстве мне приходилось заниматься крестьянским трудом, да и теперь кое-какие силенки сохранились. Надеюсь справиться, тем более что армия и правительство обещали оказать помощь. Мы с женой долго советовались... и решили ехать, — ответила я.

— Я не сомневаюсь: жена пойдет за вами туда, куда вы скажете. Но этого недостаточно. Мой вам совет: еще раз все хорошенько обдумайте. Вашему прошению я пока хода не дам, оставляю его у себя. А пока добудьте справку о болезни, чтобы я мог передать ее в отдел кадров. — С этими словами начальник отдела положил мое прошение в ящик стола.

Я в самом деле взял у районного врача справку и вручил ее начальнику. Мое прошение об отставке, наверно, до сих пор лежит у него в ящике, а сослуживцы уверены, что я отправился на курорт подлечиться. Начальник, видимо, пока из Токио никуда не уехал, и, если по прибытии в Хакодате я решу

вернуться в Токио, никаких затруднений со службой у меня не будет. Да и жилище, которое я снимал, наверно, еще пустует. Я представил, как вхожу в темную прихожую, кидаю в угол котел и ведро и кричу жене:

— Веселенькая была у нас прогулка. Ну и проголодался же я! Нет ли риса по Кусуноки и чего-нибудь закусить?

Может, и правда вернуться. Ведь еще не поздно.

Кто знает, что ждет нас впереди? Посоветоваться со стариками? Вряд ли их мудрость мне поможет. Да и кто решится предсказывать? Япония ведь впервые потерпела поражение в войне. Может, правы те, кто шептался, жуя жареные бобы? Они, как истые горожане, сразу же повернули на сто восемьдесят градусов: только что весело смеялись над рассказами уроженца Хоккайдо, но в глубине души были готовы ухватиться за любую соломинку, а теперь, начисто забыв об этом, самоуверенно поносили Хоккайдо как мусорный ящик для всякого сброда. Пожалуй, подобное лицемерие для них неизбежно. Оно присуще людям, которые, словно трава без корней, живут, приспособляясь к сегодняшнему, сиюминутному, но в то же время самоуверенно считают себя правыми, утверждая, что понять их, оценить их правоту могут только им подобные, люди их круга. Но я тоже принадлежу к клану государственных чиновников и, находясь в стороне от течения настоящей жизни, лишь вожу пером по бумаге и пришлепываю печать. Это все, чему я научился, никогда ничего не создав собственными руками. И я подумал: что, если каждому из тех, кто сейчас лежит, свернувшись в клубок, в этом темном трюме, показать обыкновенный молоток? Как он с ним поступит? Мастеровой, наверно, возьмет его в руки, разобьет ненужное или изготовит что-либо нужное и положит на место. Так бы поступили столяр, штукатур, рабочий из велосипедной мастерской. И, наверно, молчаливые супруги, сидевшие рядышком в углу. А как повели бы себя те, кто жевал жареные бобы? Служащий банка, наверно, глянет на молоток и начнет прикидывать, за какую дневную плату можно дать его взаймы. Биржевой маклер задумается, как повыгодней пустить молоток в оборот. Клерк из компании сделает вид, будто вообще не замечает его, пока не услышит, что этот молоток прислало ему начальство. Тут он примет молитвенную позу и возведет благодарные очи к потолку. А я бы подумал, к какому отделу его отнести и какую квитанцию выписать. Каждому свое...

Может, пора покончить со всем этим? Что могут дать размышления о том, сколько получишь, если дать взаймы, или как повыгодней пустить в оборот? Что может дать выписка квитанций или возведение благодарных очей к потолку? Все это не принесет конкретной пользы, никакого следа в душе не оставит. А ты смиренно сидишь и хлопаешь глазами. Целыми днями сидишь, натянув нарукавники, в мрачной пыльной комнате, забрызганный до локтей чернилами, и прихлебываешь

мутный зеленый чай без вкуса, без запаха. И с утра до вечера — синие квитанции, красные квитанции, синие чернила, красные чернила, резолюции «решено», «не решено». Одно и то же в понедельник, вторник, среду, в январе, феврале, марте... День за днем просиживаешь штаны, шлепаешь печатю, отрываете квитанции, а вокруг тебя поднимается к потолку несмолкаемый гул голосов посетителей. К концу дня голова гудит, руки болят, все тело ноет. Перестаешь понимать, кто начальник отдела, кто курьер, кто министр, кто твоя жена, кто, наконец, этот человек, который ставит печати, отрывает квитанции, — ты или кто-то другой? Да жив ли ты вообще или давно уже умер? Ущипнешь себя, почувствуешь боль — и тогда лишь поймешь: вроде бы жив. Что за глупое, бессмысленное, невыносимое существование! И никакая победа или поражение в войне не изменяют этот монотонный ход жизни...

Я не играю в кости, не вступаю в дискуссии, не столь туп, как эта молчаливая пара в углу, но и не пытаюсь напускать на себя глубокомысленный вид. Моя жена с умиротворенным выражением на лице увлечена шитьем. Ее голова и тело удивительно удобно устроены: всегда и везде, стоит ей разложить на коленях лоскуты материи и взять в руки иголку с ниткой, как она забывает обо всем на свете. Начальник отдела прав: пойду я направо или налево, она пойдет следом, ухватив за руку сына с похожим на тыкву животиком. Иногда начинает казаться: доверие ко мне этой женщины настолько стабильно, что его можно абсолютно точно выразить в цифрах. Это выводит из себя. Ее совершенно не интересует, какие — пусть примитивные, незрелые, беспомощные — мысли обуревают меня. Она знай себе шьет, всей своей тяжестью привалившись к моей спине. Наш пароход качает, но она умудряется в унисон качке прижиматься ко мне. Это становится невыносимо, и я ее отталкиваю. Несколькими минутами она сидит смиренно, потом снова приваливается. Отчего человек в спокойном расположении духа бывает таким тяжелым?..

Я вышел на палубу. Яркое светило послеполуденное солнце. Там и сям стояли поселенцы — супружеские пары, целые семьи вместе с детьми — и глядели на море, на небо. Несмотря на веселые солнечные блики на воде, в их глазах была тоска, и трудно сказать, что они видели перед собой.

— Хакодате, Хакодате виднеется, — кричали дети. А их отцы глядели в противоположную сторону, где за бортом остался Аомори, и говорили:

— Верно, Хакодате...

Я направился к носу. Там стоял мужчина и, держась за поручни, глядел, как форштвень разрезает волны. Услышав стук моих ботинок по палубе, он оглянулся. Я узнал в нем того самого уроженца Хоккайдо, который убежал из трюма. Видимо, он был смущен моим появлением и быстро отвел глаза в сторону. Я не хотел ему мешать, остановился поодаль и так же,

как и он, ухватившись за поручни, уставился взглядом в волны. Наверно, он молчал целый день, и ему стало невмоготу. Поэтому, не отрывая взгляда от моря, он пробормотал:

— А все-таки он движется. Хорошо идет!

Брызги попали мне на грудь. На губах я ощутил соленый вкус воды и почувствовал резкий запах морских водорослей. Я облизал губы и неожиданно решил: «Назад дороги нет!»

## Глава вторая

### 1

В Хакодате мы прибыли вечером пятнадцатого августа. Переночевали в школе, а на следующий день отправились на станцию, откуда разным группам надлежало выехать в Куширо, Китами и Асахигава. Не успели мы поглядеть одним глазком на «прихожую» Хоккайдо, как нас сразу препроводили в «гостиную». «Прихожая» имела жалкий вид, и, хотя времени разглядеть ее как следует не было, ничего поучительного или необычного мы там не обнаружили. За городом Хакодате возвышается гора того же названия, на ней — крепость, которая подверглась бомбардировке. В гавани, раскаленной жарким послеполуденным солнцем, царило запустение. Портовые сооружения и причалы были разрушены, таможенный склад сгорел, краны покосились и стояли, уронив свои стрелы, которые покачивались на сильном ветру. Был возведен временный причал, но, чтобы к нему пришвартоваться, кораблям приходилось маневрировать часа два — то плыть вперед, то давать задний ход. В общем, действовать с максимальной осторожностью, подобно коту-ворюге, вышедшему на добычу. Это становилось особенно понятно, когда я глядел с высоты палубы грузового парохода водоизмещением две тысячи тонн на примитивный временный причал, напоминавший отсюда деревянные мостки для стирки белья. Капитан заявил, что на долгое время пришвартоваться к причалу он не сумеет, поэтому просит пассажиров быстрее покинуть судно, чтобы он мог стать на якорь в удобном месте. Мы поспешно собрали вещи и сошли на причал. Его жидкие доски вибрировали под ногами, приходилось продвигаться с большой осторожностью из-за множества дыр, сквозь которые просачивалась вода и виднелись водоросли. Казалось, стоит подняться приличной волне, и наш старый железный «мусорный ящик» ударит по причалу и обрушит его в воду. Мужчины и женщины, навьюченные котлами, ведрами и прочим скарбом, осторожно переступали по доскам, стараясь соблюдать равновесие, подобно грузчикам, идущим по узким мосткам с грузом на спине.

Как только мы спустились на берег, наше судно сразу подняло якорь и отчалило. Инструктор со скучающим видом оглядел нас и сказал:

— Пошли!

В отличие от вчерашнего дня, не было никаких указаний и переключек, но никто не обратил на это внимания. Усталые, словно с похмелья, мы молча поплелись вслед за инструктором.

Та часть Хакодате, которую нам удалось увидеть по дороге из гавани к школе, ничем не отличалась от столицы. То же можно было сказать и о встреченных нами по пути местных жителях. словно некто по собственной прихоти сгреб кусочек Токио и перенес его сюда. Красная, развороченная земля была суха. От нее исходил резкий запах гари. Там и сям виднелись клочки земли, заросшие бурьяном. В траве поблескивали осколки стекла. Среди развалин возвышались заводские трубы и кирпичные стены, изрешеченные дырами. Сохранившиеся от пожара здания напоминали скатившиеся с гор обломки скал. Среди ржаво-красных развороченных руин временами что-то ярко поблескивало. Это лучи солнца, попадая на осколки стекла, заставляли их сверкать, как драгоценные камни. Потом лучи перемещались и стекло снова становилось серым и безжизненным.

Эта картина была мне знакома. Ее не раз я наблюдал в Токио после налета вражеских бомбардировщиков.

Никакой особой разницы между местными жителями и уроженцами Токио я не заметил. Такие же обмотки на ногах, такие же противовоздушные башлыки за спиной и индивидуальные пакеты с аптечкой на поясе. Проходя мимо станции, мы видели множество людей, ожидавших посадки на поезд. Они сидели среди своего скарба, глазели по сторонам, закусывали, наверно, все тем же рисом, сваренным по Кусуноки, доставая его из котлов и раскладывая по алюминиевым тарелкам. Их нисколько не удивило появление нашей группы: кто жевал соломинку — продолжал ее жевать, кто ел рис — продолжал его есть, кто сидел сторбившись и уставившись в землю — продолжал сидеть, разглядывая землю между ногами.

— Послушай, — тихо спросила жена, оглядываясь на этих людей, — война, в самом деле, окончилась?

Ее вопрос застал меня врасплох, вынудил самого задуматься: вроде бы окончилась, но может быть, и нет. Откуда мне было знать? Что вообще значит: «война окончилась», «потерпели поражение в войне»? Здесь, где лишь красные развалины да голубое небо над головой, я не смог отыскать точный ответ на эти вопросы. А не все ли равно?! Я лишь подниму оброненный кем-то молоток и воспользуюсь им, чтобы ударить по чему-то ненужному. Надоело! Замолчи! Что толку возвращаться в Токио, если там нечего есть. Да и парохода в гавани нет! Билетов нет! Есть дорога — так иди по ней!..



— Да, вроде бы... — ответил я жене и последовал за инструктором.

Школа находилась в возвышенной части города, и добираться до нее пришлось долго. В школьном зале столы и стулья были сдвинуты к стене, чтобы освободить нам место для ночлега. Нас встретили двое мужчин с помятыми, словно с похмелья, лицами. У каждого имелся противовоздушный башлык и индивидуальный пакет. Видимо, они были инструкторами по сельскому хозяйству, присланными из префектуры. Вместе с нашим инструктором они долго советовались, как разместить нас. Мы собрались было скинуть на пол свой скарб, но один из инструкторов нас остановил. Он поднялся на кафедру и сказал:

— Отныне вы разделяетесь на три группы, каждая из которых направится в назначенные районы. Удобнее составить группы здесь на месте, поэтому пусть каждый, кого я выкликну, сразу же отходит к своей группе.

Затем он зачитал список. О поражении в войне не было сказано ни слова. Далее он напомнил, что утром все выедут со станции Хакодате по своим направлениям: в Кусиро, Китами и Асахикава. По прибытии на место будет объявлено о распределении земельных участков. Каждый из нас, дождавшись, когда выкликнут его фамилию, забирал пожитки и шел к своей группе. Здесь же с нами простились врач и медсестры, которые возвращались в Токио.

Напоследок инструктор посоветовал лечь спать пораньше и хорошенько отдохнуть перед дорогой. Вся процедура прошла быстро, по-деловому, и инструктор, уже спускаясь с трибуны, спросил, нет ли каких-нибудь вопросов. Он был уверен, что вопросов не возникнет, и сразу же спустился в зал, но вдруг один мужчина поднял руку, и тот, несколько опешив, был вынужден вернуться на кафедру.

— Прошу прощения, — сказал тянувший руку мужчина, возникая из груды котлов, ведер и рюкзаков. На лице его отразились смущение из-за того, что он неожиданно остановил инструктора, и одновременно настойчивое желание получить ответ. — Позвольте задать вам один вопрос.

— Спрашивайте, пожалуйста, не стесняйтесь.

— Мы в самом деле получим дома и землю?

— Безусловно, иначе зачем бы вы сюда приехали, совершив столь долгое путешествие. Вы получите все, что записано в условиях освоения новых земель: дома, землю, инвентарь, мелкий рогатый скот, денежные ссуды.

— Понимаю. Все мы об этом слышали и помним. Знаем и о домах, которые нам построят армейские саперы. И все же кое-что хотелось бы уточнить. На пароходе нам сказали, что война окончилась. Но если мы потерпели поражение в войне, что будет с армией? Не исключено, что эти саперы, которые должны нам построить дома, плюнут на нас и разойдутся кто куда — раз война окончилась. Вот я и хочу узнать: что с

нами будет? — Он говорил запынаясь и то и дело облизывал толстые губы. Ему было не по себе оттого, что он один среди всех поселенцев вылез со своим вопросом, и тем не менее на лице его отражалась решимость.

Инструктор насупил брови и раздраженно поглядел на них.

— Все слышали вопрос? — обратился он к нам. Не исключая, по этому поводу может возникнуть еще немало сомнений. Честно говоря, я тоже сегодня в полдень слушал радио, но из-за сильных помех не смог уловить смысл. И все же я посчитал неприличным расспрашивать других, о чем говорил сам император. Хочу проинформировать, что пока из префектуры еще не поступало никаких указаний относительно вас. Минуло уже шесть часов после высочайшего выступления по радио, но из Саппоро не было даже телефонного звонка. Недавно я звонил на станцию Хакодате, но и там новых указаний не получали. Мне лишь сообщили, что вагоны для вас выделены и, согласно распоряжению, завтра утром вы выедете поездом из Хакодате.

— И все же ответьте: будут ли солдаты строить для нас дома теперь, когда война проиграна? — В голосе мужчины чувствовалось смущение, но его слова ударили инструктора словно обухом по голове. Все, находившиеся в школьном зале, навестили уши. Этот вопрос беспокоил каждого из нас, но никто не решался задать его первым. Даже моя жена, рассеянно поглядывавшая по сторонам, мгновенно насторожилась.

Вопрос поставил инструктора в тупик. Он даже не пытался скрыть вспыхнувшее в нем раздражение. Казалось, двести с лишним поселенцев вместе со всем их скарбом — котлами, ведрами, мотыгами — незаметно для глаз приподнялись и вплотную придвинулись к кафедре. Инструктор, покусывая губы, то нервно скручивал и раскручивал список, который держал в руках, то, насупив брови, молча глядел в потолок. В этот момент он напомнил мне китайского богомола, насаженного на иголку. Потом он зло поглядел на задавшего вопрос и сказал:

— Армия есть армия, а целина есть целина. Деньги ассигновала префектура, а раз они ассигнованы, никаких изменений в текущем финансовом году быть не может. А поскольку предусмотренные на вас средства выделены, они будут использованы по назначению. Я сейчас позвоню в Саппоро для уточнения. Скажу лишь одно: целинные земли надо разрабатывать, и, значит, вы, безусловно...

— Сможем получить дома и землю, — перебил его толстогубый мужчина. — Получим, не так ли?

Инструктор закусил губы и побледнел. Заметив это, говоривший решил подробней разъяснить причину своей настойчивости:

— Судя по тому, что вы нам сейчас сказали, на сегодняшний день никаких иных указаний из Саппоро не поступало, и нас отправят на новые земли. Но представьте себе, что сегодня вечером придет приказ из префектуры об изменении первонач-

чального плана, об отмене предназначенного для нас поезда. Как нам тогда быть? Или, предположим, мы приедем на место, а там нам скажут: война проиграна, ситуация изменилась, поэтому никакой земли и домов вы не получите — возвращайтесь обратно! В каком положении мы окажемся? Наши жилища в Токио сгорели, на заводе мы взяли расчет... Скажите: какими глазами, вернувшись в Токио, я буду глядеть на своих заводских друзей после того, как за чашкой сакэ с изображением хризантемы, какие дарили демобилизованным, я самоуверенно посмеивался над теми, кто предпочел болтаться без дела в Токио? Какими глазами будет, вернувшись в деревню, глядеть на односельчан моя семидесятишестилетняя бабка, которую я взял с собой, потому что она не хотела оставаться одна и предпочла уехать, лишь бы умереть на руках у внука? Ведь она при всех заявила, что ей плевать на свою деревню, где односельчане жестоко изгоняют провинившихся, кидая им вслед песок и камни, что даже под страхом смерти она не вернется обратно. А ведь если мы вернемся в Токио, где жилище наше сгорело, нам придется идти на поклон в эту самую деревню! Да что говорить! Наверно, у всех здесь сидящих такое же положение. Просто не решаются громко сказать об этом. А я человек горячий, потому и не выдержал! Так скажите ясно и твердо, господин инструктор: дадут нам дома и землю?

Чем дальше говорил мужчина, тем ниже опускал голову инструктор. Глаза его налились кровью, губы сжались. Время от времени он поглядывал в сторону остальных инструкторов, как бы ища у них поддержки, но никто не пришел ему на помощь. Поняв, что ожидать ему поддержки неоткуда, инструктор, уже не прислушиваясь к тому, что говорил мужчина, усиленно закивал головой, давая понять, что ему все ясно и нет нужды говорить дальше.

Когда наконец мужчина умолк, инструктор еще раз энергично кивнул и сказал:

— Понял. Ситуация мне ясна. Во всяком случае, обещаю сделать все возможное. Но раньше времени не стоит волноваться и шуметь понапрасну. Дети ваши устали, да и вы сами тоже. Вы сейчас находитесь на земле Хоккайдо. Если в самом крайнем случае произойдут какие-либо изменения, я немедленно вас извещу. А пока считайте, что в ваших первоначальных планах никаких перемен нет и не предвидится, и отдохните спокойно.

Как бы насильно выдавив из себя эти слова, инструктор собрал свои бумаги и, сойдя с кафедры, поспешно направился к двери. Остальные инструкторы не мешкая двинулись за ним вслед. Проводив их взглядом, задававший вопрос мужчина потерянно стоял, не зная, что делать дальше, потом медленно побрел к своим пожиткам и уселся между котлом и ведрами. Над школьным залом нависла гнетущая тишина. Ощущение бесполезности всего и душевной опустошенности тяжким грузом

надавило мне на плечи, и, чтобы рассеять его, я занялся приготовлением постели для сына: постлал на пол шерстяное одеяло, сложил несколько раз старые штаны и подложил их вместо подушки, расстелил фуросики. Уложив сына и удостоверившись, что жена присела у изголовья и занялась шитьем, я взяла полотенце и вышел наружу в поисках воды, чтобы умыться...

Здесь даже вечером электричество не включали, поэтому в школьном зале была тьма — хоть глаз выколи. Я слышал, что на Хоккайдо нет сезонных дождей и лето там сухое и прохладное. Но здесь, в зале, битком набитом потными и грязными мужчинами и женщинами, было настолько душно и жарко, что пот тек ручьями. Многие, не выдержав духоты, выходили наружу либо отправлялись спать в коридор. Умывшись и отдышавшись на воздухе, я вернулся в зал. Во тьме слышались тяжелое дыхание спящих, сонное бормотание, тихие стоны. Несколько человек при тусклом пламени свечи продолжали о чем-то спорить в углу, но вскоре и их свалила усталость. Я прислонился к рюкзаку и блаженно вытянул ноги на грязном полу. Я смертельно устал, но некоторое время продолжал бороться со сном, надеясь дождаться новостей от инструктора, но он не пришел, и я повернулся на бок и мгновенно уснул.

На следующее утро кто-то раздобыл свежую газету, и она пошла по рукам. В газете была помещена статья под заголовком: «Императорский указ об окончании войны. Беззвучные рыдания ста миллионов». Рядом с текстом указа — фотография: мужчины и женщины, сидящие, склонив головы, на площади перед императорским дворцом. В статье сообщалось: «Рабочие военных заводов и мобилизованные на трудовой фронт студенты не могли сдерживать слез, выслушав выступление императора по радио; многие погорельцы, ожидавшие посадки на токийском вокзале, раздумали уезжать из Токио, молча собрали свои пожитки и покинули вокзал; в штабе командования восточным военным округом воцарилась тишина». Статья оканчивалась фразой: «В этот день голубизна неба больно резала глаза». А нет ли в газете чего-нибудь насчет армии, подумал я, и наконец нашел следующие строки: «Все вооруженные силы на море, суше и в воздухе приостанавливают военные операции, бросают оружие и, не предпринимая никаких действий, остаются в местах своего нынешнего расположения». Газета переходила из рук в руки, и каждый, прочитавший ее, начинал растерянно оглядываться по сторонам. Некоторые, тихо переговариваясь, обсуждали новости.

— ...Выходит, саперы тоже должны оставаться на месте?

— А что означают слова «оставаться на месте, не предпринимая никаких действий»? Строительство домов — это ведь не военные действия, поэтому мы можем не беспокоиться.

— Не тут-то было! Понимаешь, если дома строит армия, это тоже военные действия. Разве не призывали нас: «Все силы

страны — на войну!» Поэтому все, что мы делали, — это война! Даже одна выращенная картофелина — это все равно что одна пуля.

— Значит, все должны перестать заниматься тем, что они делали до сих пор? А как же мы?

— Не знаю, ничего не знаю.

— Пусть у начальства голова болит — что-нибудь да придумает.

— Раз сказано «оставаться в местах своего нынешнего расположения», значит, и мы можем здесь спокойно полеживать. Когда я служил в армии, у нас эти слова означали «передышка» или «дневной отдых».

Прислушиваясь к спорам, я вдруг подумал: а что подельывает этот толстогубый мужчина, который накануне вечером взял за горло инструктора? Поискал глазами и увидел: он сидел на полу скрестив ноги, перед ним стоял мешочек с жареным горохом. Время от времени он запускал туда руку и рассеянно кидал его в рот горстями.

Вскоре пришел посыльный из муниципалитета Хакодате и стал раздавать рисовые колобки и чай. Пока мы ели, появился вчерашний инструктор. Он вновь обрел свою самоуверенность и не допускающий возражений тон, которые растерял накануне вечером. Сверля нас глазами, он холодно заявил:

— Надеюсь, вы уже читали газету. Положение очень серьезное. Категорически требую воздерживаться от всяких необдуманных поступков. Вчера я связался с префектурой в Саппоро. Несмотря на позднюю ночь, там шло заседание. На вопрос, как поступить с вами, получено указание действовать в полном соответствии с принятым ранее планом. Вы должны соблюдать спокойствие и дисциплину. Произошли некоторые изменения: в предназначенный для вас поезд будет разрешена посадка посторонним, поэтому прошу побыстрее собрать вещи и отправляться на станцию. Каждую группу до места назначения будет сопровождать инструктор. Прошу безоговорочно выполнять все его приказания...

Так или иначе, мы обязаны доставить вас на место. Там вас примут в соответствии с прежними указаниями. Прошу не задерживаться и поскорее закончить завтрак. Все!

Инструктор щелкнул каблуками и стал было поднимать руку для приветствия, потом спохватился, опустил ее и вышел из зала. Я поглядел ему вслед и с удивлением заметил, что сегодня на его ногах уже не было обмоток.

— Не то обращение стало. В Аомори выдали по три колобка риса, а сегодня только по одному. Да и поезд уже не специальный. И врачей не будет. А этот скотина — инструктор! Приказал — и тут же смылся. Бесстыжая морда! — сердито сказал кто-то.

Оставив школе на память запах нашего пота, впитавшегося в пол и стены зала, мы собрали пожитки и двинулись к станции.

Там скопилось еще больше людей, ждавших посадки, и платформа была вся загромождена вещами. Как только подали состав, все кинулись занимать места, истошно крича и толкаясь. Лезли через окна, через тормозные площадки. Через окна же бросали внутрь котлы, ведра, узлы. Те, кому удалось попасть в нагон первыми, разбрасывали чужие вещи, занимали места для семьи. Секунду назад они рвались вперед, словно отряды смертников, а теперь сидели среди своего скарба, широко расставив ноги, и делали вид, будто дремлют. Те, кто забросил вещи через окна, пытались их согнать. Эти сопротивлялись. Крики. Ругань. Затрешины. Плач.

Меня все это не особенно трогало. Я думал о другом: вот он, остров Хоккайдо! Наконец я здесь! Мне удалось занять одно место. Я усадил на него жену и сына, а сам примостился в проходе на ведре. Поезд тронулся, за окном поплыли поразительные картины. Только теперь я осознал, как далеко забрался, понял, что впереди меня ожидает иной мир. Сквозь небольшой просвет в окне, ограниченный двухлитровой бутылкой и различным скарбом, моим глазам открывался непривычный пейзаж. Я вглядывался в него, позабыв о времени: рощи стройных тополей; бескрайняя синева небес; овцы в своем курчавом одеянии; непроходимые заросли низкорослого леса; речушки; луга; силосные башни; стада коров; потухший вулкан, неожиданно возникший, выгнув огромную спину, среди дикой равнины; элеваторы, деревни, провинциальные городки... Но в этом калейдоскопе сменяющих друг друга картин всегда где-то вдалеке присутствовал горизонт. Он угадывался за домами, за стадами коров, за рощами. Я ощутил необыкновенную бодрость, которую мои казавшиеся обескровленными сосуды мгновенно донесли до самых отдаленных уголков тела, и даже некий чувственный подъем, чего давно со мною не случалось. Мне почудилось, будто я, обернувшись светлой, прозрачной волной, устремился сквозь людей и вещи, сквозь окно вагона в сверкающие августовские равнины и березовые рощи и разлился там по всему горизонту.

Рядом со мной время от времени присаживался наш инструктор. Видимо, он устал до изнеможения и то и дело клевал носом, а иногда под монотонный перестук колес засыпал по-настоящему, уронив голову на колени. Он просыпался от грохота на стыках, поднимал голову, потом снова засыпал. Я пользовался минутами, когда инструктор бодрствовал, и заговаривал с ним, пытаюсь выудить полезные сведения. Его ответы не всегда совпадали с моими вопросами.

— Что за деревня? — спрашивал я.

— Крыши большей частью соломенные. Люди приезжают сюда, чтобы заработать и поскорее вернуться в родные места. Поэтому дома строят кое-как. Но заработанные летом деньги уходят зимой на покупку топлива, и годами ничего не удается скопить, — отвечал он.

— Какая бескрайняя равнина! Вот уже час едем — и ни одного дома даже вдоль железной дороги, — удивлялся я.

— Кислая земля, да и камней полно. Семь потов сойдет, пока такую землю обработаешь, — отвечал он.

Когда поезд въехал в зону лесов, я вышел на площадку, с трудом пробравшись через наваленные в проходе вещи. Встречных поездов не было, и я понял, что мы едем по однопутной. Вытянув шею, я глядел из-за плеч и голов стоявших у дверей на мелькавшие снаружи березовые рощи. В промежутках между ними проглядывала простиравшаяся до горизонта равнина, монотонность которой оживлялась небольшими холмами. Нигде не было ни людей, ни домов, ни скотины. Около получаса я не мог оторвать глаз от этого необыкновенного пейзажа, потом вернулся на свое место.

— Вдоль железной дороги березовые рощи, — сказал я инструктору.

— Там, где растут березы, плохая земля, никудышная. А сами березы, может, хороши для поделок, но топить березовыми дровами печь — мучение. Загораются хорошо, но быстро выгорают. Силы в них нет. Да и растут березы медленно. Вредное дерево — береза! — ответил он.

— А ведь какие песни сложили про березу!..

— Разве что песни, — пробормотал он и снова уткнулся головой в колени.

## 2

Наша группа продолжала свой путь в сопровождении угрюмого инструктора по фамилии Кумэда. В Асахикава мы сошли с поезда. Здесь нам даже не предложили остановиться на ночлег в школе, и мы заночевали прямо на станции. Муниципалитет города Асахикава выдал по рисовому колобку — правда, риса в нем было не больше двадцати процентов, а остальное — ячмень. Покончив с едой, мы расположились на платформе под открытым небом. На следующее утро мы погрузились на другой поезд, который повез нас по местной узкоколейке. Состав полз еле-еле. К тому же он состоял не из пассажирских, а из открытых товарных вагонов. Дым от паровоза ел глаза, дети плакали, стонали старухи, ругались старики. При каждой остановке вагоны лязгали буферами, и этот скрежет разносился далеко по безлюдной равнине. Резкие толчки передавались от вагона к вагону, и мы, привстав со своих мест, пережидали очередной толчок. Пять часов такой езды настолько измотали нас, что, прибыв на станцию назначения, мы были готовы беспрекословно подчиниться любому приказу. Когда поезд остановился, день уже клонился к вечеру. Инструктор Кумэда сообщил, что с нами будет беседовать мэр города, затем разыграют участки, после чего мы отправимся в школу на ночлег; на следующий день

каждый поедет взглянуть на свой участок; крестьяне, проживающие по соседству, пригонят телеги, на которых сподручней будет добраться до места.

— Как далеко от города до наших участков? — спросил я.

— До ближнего около трех ри<sup>1</sup>, а до самых отдаленных, пожалуй, все шесть, — ответил Кумэда.

Он пояснил, что здесь, на Хоккайдо, пространства большие, и в деревнях дома не стоят рядом, как в Центральной Японии, а разбросаны друг от друга на расстоянии до одного ри.

Глядя на жалкий городишко, в который мы прибыли, я вроде бы в шутку спросил:

— Значит, в шести ри отсюда начинается дикая равнина. Наверно, и лисы есть?

Кумэда не принял моей шутки и, склонив голову и немного подумав, ответил:

— Зимой здесь колокольчик подвешивают к поясу.

— Это чтобы лисы-оборотни не наводили свои чары? — с улыбкой спросил я.

— Дело не в лисах. С хозяином можно повстречаться. С медведем, значит.

— Разве медведь боится колокольчика?

— Да. Как услышит, сразу дает стрекача. Здешние почтальоны зимой без колокольчика не ходят.

В очередной раз припугнув нас, Кумэда потер покрасневшие от недосыпания глаза и вышел из вагона. А, будь что будет, решил я и двинулся следом за ним. Кумэда был молчалив, не понимал шуток, и если открывал рот, то говорил только правду. Видимо, ему нравилось охлаждать наш энтузиазм и таким путем умело уходить от главных вопросов. Пока мы тащились сюда из Хакодате, я и так и сяк закидывал удочку насчет саперов и строительства для нас жилищ, но взгляд Кумэды сразу становился рассеянным, и он или отмалчивался, или делал вид, будто не понимает, о чем идет речь. А, черт с ним, решил я, пусть приходят медведи — я подвешу к поясу колокольчик...

В этом маленьком провинциальном городке улицы были несоразмерно широкие, и дома поэтому казались прилипшими к ним комочками. Близ станции сгрудились магазины, почта, сельхозбанк и продовольственный склад, но все эти здания имели жалкий, запущенный вид — во время войны их, видимо, не ремонтировали. Запустение, неухоженность бросались в глаза на каждом шагу. Малюсенькие, подслеповатые оконца домов, покосившиеся навесы, недостроенное здание почты на перекрестке, конский навоз на проезжей части улицы — все говорило об этом. Наверно, городок возник давно, но дорога по-настоящему до сих пор не была проложена. На задних дворах, на подоконниках, на крышах и печных трубах — везде лежала печать близости дикой равнины, которой не касалась

---

<sup>1</sup> Одно ри — около 4 км.



рука человека. Она надвигалась на дома, на город, ее дыхание начинало ощущаться уже там, где еще не кончались улицы. Небо своей высотой как бы придавливало город к земле, и, хотя здесь тоже трудились люди, поливая землю потом, запах человеческой деятельности куда-то мгновенно улетучивался. Казалось: вскопай улицу в любом месте — и она сразу превратится в поле; разогни спину — и увидишь простирающуюся без конца и края линию горизонта. Дикая равнина подступала со всех сторон, проникала в жилища, склады, здание почты и готова была вот-вот поглотить этот городок. Вдоль безлюдных улиц были вырыты, непонятно ради чего, противовоздушные щели. Ветер давно уже наполовину их засыпал. Металлические бочки с водой на случай пожара проржавели и заросли бурьяном. Казалось, нет нужды отшагать еще шесть ри, чтобы повстречаться с медведем.

Раздумывая об этом, я шел вслед за инструктором к зданию муниципалитета, крепко держа за руку сына.

В муниципалитете нас встретили мэр, деревенский староста и несколько мелких чиновников. Зал заседаний и примыкавшая к нему комната секретаря заполнились до отказа, и нам пришлось оставить свои вещи в коридоре. Но и коридор не вместил скарб, принадлежавший семи десяткам поселенцев. Я глянул на все это барахло и смущенно отвернулся. Кастрюли, котлы для варки, походные котелки, старые одеяла, узлы с рубашками, кальсонами, трусами, рабочей одеждой и шароварами, вши, блохи, мотыги, ведра, стенные часы, градусники, чемоданы, рюкзаки, противовоздушные башлыки — все было перепачкано сажей, захватано руками, покрыто пятнами ржавчины и напоминало склад старьевщика. И все же, если вспомнить, какой эти вещи проделали путь, начинаешь понимать, что весь этот перепачканный сажей, захвачанный руками, покрытый пятнами ржавчины скарб что-нибудь да значит. Глядя, как он медленно ползет вперед на наших спинах, власти пропускали его на перрон, готовили для нас из тощих запасов риса колобки, бесплатно везли из Токио за тысячи километров в Асахикава. Да, все же этот немудреный скарб таит в себе большую силу, с восхищением подумал я и, бросив еще один взгляд на груды вещей, заполнивших коридор, поднялся на второй этаж в зал заседаний. Когда мы с трудом разместились на полу, устланном циновками, появился мэр — лысоватый сутулый человек в рубашке защитного цвета с отложным воротничком. К рубашке был пришпилен квадратик материи величиной с визитную карточку, на которой четкими иероглифами были выведены фамилия, адрес и группа крови. На поясе — индивидуальный пакет, на ногах — обмотки. Позади встал Кумэда, который в течение последовавшей речи мэра стоял неподвижно и что-то рассеянно разглядывал на потолке. Остальные чиновники, сопровождавшие мэра, тоже замерли угрюмо глядя перед собой.

— Добро пожаловать, уважаемые господа! Благодарю вас за то, что вы ради нашего императора решили совершить столь длительный путь. Все мы от души рады приветствовать вас на земле Хоккайдо, — начал мэр, со свистом втянул в себя воздух, поджал губы, медленно закрыл глаза, потом столь же медленно их открыл. Повторив слова губернатора токийской префектуры о том, что Хоккайдо называют «Украиной Востока» — настолько плодородны здешние земли, — он продолжил:

— С давних времен, когда этот остров еще назывался Эдзо, многие наши предшественники бросали вызов здешней земле, все еще таящей в себе множество неразведанных сокровищ. Вспомним о прошлом: в эру Мэйдзи, когда отменили кланы и учредили префектуры, в эру Тайсё, во время великого землетрясения в Канто, в годы тяжелой экономической депрессии, когда ради того, чтобы не умереть от голода, отцы были готовы продать своих дочерей, а дети — удушить отцов, во все эти тяжкие времена многие люди, оказавшиеся на краю гибели, приезжали сюда, на эти дикие земли, вступали в смертельную схватку с природой и, раскрывая богатства этих земель, находили здесь для себя вторую родину. Нетрудно догадаться, что и вы проявили недюжинную решимость, согласившись приехать сюда. Как говорят, одно дело услышать, а другое — увидеть собственными глазами. Безусловно, у вас будут трудности, пока вы не освоитесь с местными природными условиями, но я хотел бы напомнить вам, как я до сих пор напоминаю собственной жене, слова: «Юноши! Имейте великую цель, будьте честолюбивы и смело беритесь за любое дело!» Сейчас близится к закату моя прожитая без пользы жизнь, но я, недостойный, все же могу с гордостью сказать: мне нечего стыдиться за свою жизнь перед небом и людьми. И я хотел бы пожелать вам только одного: будьте готовы к борьбе с трудностями. Пусть воет ветер, пусть хлещет дождь — смело вонзайте мотыги в землю! Мы готовы оказать вам посильную помощь — пусть она будет не столь велика, но, как говорится, утопающий рад и протянутой соломинке. И думаю, наступит день, когда мы все вместе сядем за стол, выпьем неочищенного сакэ и вы скажете хорошо, что приехали сюда, на Хоккайдо. Правда, как вам должно быть известно, сакэ распределяется по карточкам, и его домашнее изготовление запрещено законом, но мы, мужчины, можем все же иногда позволить себе нарушить этот закон. Если вам будет трудно, заходите сюда — и не с черного, а с парадного входа. И за стол — по чашечке чая. Без всяких церемоний, иначе обидите нас. Так мы легче пойдем друг друга. Хотя и говорят: в каждом человеке надо видеть вора, но я считаю иначе: мир не без добрых людей и любому человеку надо помочь — в этом одна из основ постижения чудесного явления природы, называемого человеческой жизнью. Прошу извинить меня за столь сбивчивую речь. Похоже, чем дольше я говорю, тем труднее становится меня понять. Позвольте мне на

этом закончить. Об остальном вам расскажут инструкторы и чиновники нашего муниципалитета.

Раздались жидкие аплодисменты. Мэр зажмурился, поджал губы, поднял руку для приветствия и поспешно ее опустил. Мне казалось, что теперь он вернется на свое место, но мэр вдруг буквально переломился в пояснице, руки его опустились до колен, и он согнулся в таком глубоком поклоне, что за его плешивой головой можно было увидеть всю спину. Глядя на лысую голову мэра, я подумал: «Должно быть, неплохой человек...» — и вдруг злость закипела во мне. Меня возмутили не его словеса — всякие там «соломинки утопающему», «оказавшиеся на краю гибели», «выпьем по чашечке неочищенного сакэ», «легче пойдем друг друга». Я глядел, как этот, видимо, добренький и малодушный человечек, но третий калач буквально выворачивается наизнанку, поет нам всяческие дифирамбы, боится хоть в малейшей степени оскорбить нас и чуть ли не исполняет перед нами нанивабуси<sup>1</sup>, сам себе аккомпанируя на сямисэне<sup>2</sup>, лишь бы успокоить нас, не сказать правду. Меня возмутила именно эта его мягкость, его доброта, которыми он пользовался не один раз, чтобы обманывать таких, как мы. Дурак, этот лысый! Небось у себя дома копит потихоньку денежки, скарденчает, скандалит с женой из-за каждой иены! Добренький, малодушный, он напоминает кухонную доску из Гётоку. Жители города Гётоку ловят моллюска-живородку и разбивают его раковину с помощью кухонной доски, отчего все кухонные доски в Гётоку со временем сильно коробятся и становятся непригодными для своего прямого назначения. Также и этот дурачок не годится для своей должности.

Меня распирало зло, но я смолчал. Итак, вступление окончено. Теперь начинается главное. Надо держать ухо востро! Похоже, возмущаться придется еще не один раз.

Вслед за мэром поднялся его помощник. Он пришил к стене две большие карты: карту всех осваиваемых земель на Хоккайдо и карту здешнего уезда. На последней одна часть была обведена красным карандашом и разграфлена на участки, внутри которых были проставлены цифры: 1, 2, 3, 4... Помощник положил на циновку небольшой рулон рисовой бумаги, встал перед картой, прочистил горло и, окинув нас взглядом, заговорил:

— Уважаемые господа! Рад приветствовать вас. Мэр уже говорил об испытываемом, по-видимому, вами волнении в связи с прибытием на новое место, а также о нашей готовности принять вас. Поэтому не буду повторяться и перейду к главному — распределению участков. Здесь перед вами две карты: общая карта осваиваемых на Хоккайдо земель и карта нашего уезда. Последняя разграфлена на участки. Казалось бы,

<sup>1</sup> Нанивабуси — речитативный сказ.

<sup>2</sup> Сямисэн — японский трехструнный щипковый инструмент.

что сложного провести несколько линий, на самом же деле это стоило нам большого труда. Среди выделенных для вас земель есть холмистые участки, овраги, болотистые земли, равнинные участки. Узнав о вашем предполагаемом приезде, все мы во главе с мэром не одну ночь провели без сна, распределяя землю так, чтобы вы остались довольны. Ведь вы решили поселиться здесь на всю жизнь! Вот мы и сидели: тут прирезали, там урезали, добавляли, меняли, на равнинах нарезали участки поменьше, поскольку их легче обработать, трудно осваиваемые холмистые участки нарезали побольше. Учитывали: если участок порос лесом, его можно спилить и продать и, конечно, заработать на этом. В итоге наших трехмесячных трудов получилась эта карта, которую мы согласовали с руководством префектуры. Завершение работы мы отметили, выпив по чашечке саке. Нам кажется, что участки распределены справедливо, с учетом возможных доходов и вложения труда, однако, чтобы соблюсти абсолютную справедливость, мы решили теперь эти участки разыграть. Как говорится, призывая землю и небо и всех богов в свидетели, утверждаю, что никакого жульничества и тому подобного здесь нет. Мы разорвем эту бумагу на квадратики и в каждом проставим номер участка, потом свернем их, опустим в ящик и перемешаем. Каждый будет тянуть по очереди, а завтра с утра отправится смотреть свой участок. Лишь после того как вы ознакомитесь с участками и согласитесь их взять, вам дадут расписаться в реестровой книге.

Покончив с разъяснениями, помощник мэра взял лежавший на циновке рулон рисовой бумаги, оторвал от него нужное количество листов, разделил на четвертушки и передал Кумэде и другим чиновникам. Те легли животами на циновки и стали быстро вписывать номера. Потом, вчетверо согнув бумажки, бросили их в картонный ящик, на котором была надпись: «Специальная горячая пища для летного состава» Странно, как попал сюда такой ящик.

Все совершалось быстро и по-деловому. Пожалуй, помощник превосходил мэра по всем статьям. Он был худощав и значительно ниже ростом. Видимо, хитер и коварен. Вообще-то говоря, источником различных событий в мире являются люди не крупные и полные, а низкорослые и худые. Последние значительно энергичней и хитрее. Достаточно упомянуть Наполеона и Гитлера. Может, мое утверждение чересчур смелое, но ошибки в нем, думаю, нет. Поэтому в государственном ли учреждении, в армии или в ассоциации бывших фронтовиков старайтесь не оказаться в подчинении низеньких и худощавых. Такова мудрость, обретенная на практике, ее не почерпнешь из книг. Кстати, а почему бы в книгах, повествующих о жизни великих людей, не написать: «Опасайся низкорослых!» Прошу прощения у читателя за это маленькое отступление.

Помощник мэра с довольным видом наблюдал, как чиновники запикивают в ящик бумажки. Больше я терпеть не мог и, сам

себя подбадривая, не спеша встал и, не посоветовавшись предварительно ни с женой, ни с сидевшими по соседству, обратился к помощнику мэра.

— Позвольте задать вам вопрос, — начал я.

Тот, не поворачиваясь в мою сторону, кивнул. Глядя на его довольную физиономию, я подумал, что, кажется, поспешил со своим вопросом, но идти на попятный было уже нельзя.

— Я согласен с тем, что сказали о нас мэр и вы, и от всего сердца благодарен за заботу, которую вы проявляете к нам. Считаю ваше предложение разыграть участки справедливым: даже если бы мы заранее поглядели на эти участки, все равно бы не поняли — хорошие они или плохие. Поэтому я лично согласен тянуть жребий. Но прежде хотелось бы получить у вас одно разъяснение.

— Пожалуйста, спрашивайте. — Помощник мэра по-прежнему не глядел на меня.

— Перед отъездом из Токио каждому из нас сообщили об условиях нашей работы на Хоккайдо, и именно это утвердило нас в решимости покинуть столицу и отправиться так далеко. Я и сам приехал сюда лишь потому, что обещали предоставить жилище, которое построят саперы, участок земли, где одно тёбу будет распаханно и подготовлено для сева, и всевозможный инвентарь: крупный — в аренду, мелкий — бесплатно.

Помощник мэра наконец удостоил меня взглядом и молча кивнул. Мэр испуганно поглядел в мою сторону, Кумэда перестал писать номера. Воцарилась напряженная тишина. Я продолжал говорить. Спокойно, без каких-либо обидных намеков и задних мыслей, высказал все, что меня волновало:

— Но когда мы плыли через пролив Цугару, по радио передали выступление императора. Вечером мы прибыли в Хакодате, но и тогда еще оставались в неведении: что произошло? Лишь на следующее утро мы узнали из газет, что война окончена, вернее, что Япония потерпела поражение и должна полностью разоружиться. Каких-либо разъяснений в связи с этим мы не получили. Оставалось одно — ехать дальше! И вот — я здесь. Но прежде чем тянуть жребий, хочу знать: действительно ли на наших участках построены или строятся сейчас дома? В Хакодате, где мы остановились в школе на ночлег, нас заверили, что никаких изменений в первоначальных условиях нет и, как было решено, нас отправят к месту назначения. Вот почему мы здесь...

Помощник мэра молчал, положив руку на ящик. Мэр сердито насунил брови и глядел в потолок. Кумэда, выпятив губы, задумчиво постукивал тупой стороной карандаша по подбородку: признак, по-видимому, того, что он то ли расстроен, то ли сердится — во всяком случае, к вопросу относится со всей серьезностью. Приятели-поселенцы — трудно, правда, назвать их приятелями, поскольку мы даже не были знакомы, — навести уши, напряженно ожидая ответа.

Помощник мэра замялся, потом поднял голову и, с тревогой глядя на меня, сказал:

— Дома не построены. Их даже не начинали строить. Завтра вы все увидите сами. Честно говоря, в этом городе никаких саперов никогда не было и сейчас тоже нет. Я слышал, будто бы обещали прислать, но так и не прислали.

Помощник мэра глубоко вздохнул, словно освобождаясь от давившей на плечи тяжести, и, поджав губы, раздраженно поглядел на ящик. Мужчины и женщины, старики и старухи — все шестьдесят с лишним человек замерли. Видимо, поры на их коже раскрылись одновременно, и в комнате повис острый запах пота. Сверкая глазами, словно загнанный в угол зверек, помощник мэра сверлил меня взглядом. Но я не отвел глаза. Обливаясь потом под проникавшими сквозь окно палящими лучами августовского солнца, я упорно глядел в глаза этому маленькому сутулому человечку. Было жарко и тяжело дышать, но я не сдавался.

Наконец он отвел глаза. Мэр рассеянно глядел в окно, Кумэда грыз карандаш. Помощник поглядел на нас и тихо заговорил:

— Вопрос вполне законный. Честно говоря, я читал отпечатанные типографским способом условия вербовки, которые послужили непосредственной причиной вашего приезда на Хоккайдо. Правда, меня с ними даже не ознакомил начальник сельскохозяйственного отдела префектуры, с которым я встречался всякий раз, когда приезжаю в Саппоро. Попали они ко мне совершенно случайно уже после того, как было получено уведомление, что вы в пути. Я прочитал их и не поверил своим глазам. Посоветовался с мэром, и мы решили готовиться к вашему приезду как сумеем — иного выхода я не видел. В отпечатанных в Токио условиях нет ничего похожего на истинное положение вещей. Страшно подумать: людям, которые абсолютно не знают сельского хозяйства, подсовывают такое вранье, а они, ничего не подозревая, снимаются с места, покидают родной город и едут сюда! Немыслимо, чтобы саперные войска занимались гражданским строительством даже в условиях всеобщей мобилизации для увеличения производства продовольствия. И все же префектура неоднократно обращалась по этому вопросу к командованию, но всякий раз ей отвечали, что никаких указаний о строительстве домов для поселенцев они не получали. Ничего не могу сказать о поселенцах, направившихся в районы Куширо и Китами, у нас же все участки, которые можно обрабатывать, уже давно распределены, но даже многие старожилы, у которых дети здесь выросли, бездельничают из-за того, что земля не родит. Поэтому только в несбыточном сне может привидеться, будто кто-то обработает для вновь прибывших по одному тёбу земли. Здесь говорили о предоставлении в аренду крупного инвентаря и безвозмездной передаче мелкого, о скоте тоже, помнится, было написано в

токийских бумагах. Скажу откровенно — все это высосано из пальца. То же самое могу сказать о тракторах, плугах, лошадях и свиньях. Мы и старожилам ничего похожего не дали. Сколько раз приходили они сюда, плакались, жаловались на трудности, а мы с мэром изворачивались как могли, отделялись пустыми посулами. И если мы — вдруг объявится такая возможность — обеспечим всем этим вновь прибывших, старожилы молчать не станут. Вот и крутись тут между двух огней: новоселам потрафишь — старожилы возмутятся, старожилам потрафишь — новоселы обидятся. Префектура Хоккайдо навязывает поселенцев нам, самой префектуре навязывает их Токио, а в самом Токио, как я слышал, выдумали эти несусветные условия, чтобы освободиться от лишнего населения, лишившегося жилья. Вербовочные листовки распространялись среди людей, не имеющих никакого представления о сельскохозяйственной работе. Тем не менее вербовка шла полным ходом, и вскоре из префектуры пришло указание подготовить карту распределения участков. Засучив рукава, мы принялись за работу и едва успели к вашему приезду. И тут как раз кончилась война. Мы сразу же позвонили в префектуру, а нам в ответ: действуйте по полученному ранее предписанию. Попытались спорить, но трубку уже бросили, и сколько мы ни пробовали связаться еще раз, нам отвечали: линия занята. А поезд, на котором ехали сюда вы, приближался. Прежде чем подняться сюда, я поглядел на оставленные в коридоре ваши вещи и с удивлением обнаружил среди них стенные часы. Наверно, тот, кто привез их из далекого Токио, рассчитывал повесить часы в новом доме. Может быть, прозвучит жестоко то, что я вам сейчас скажу, но владельцу часов придется их повесить у себя на участке на березе. Вот как обстоят дела в действительности, а не на бумаге. Кто же совершил ошибку? Кто виноват? Сразу и не скажешь.

Чем дольше помощник мэра говорил, тем больше входил в раж.

В том, что случилось, он обвинял префектуру Хоккайдо, которая плясала под дудку центральных властей, токийские власти, которые, не зная положения на месте, начали вербовать поселенцев. Потом искал причину в воздушных налетах, в низком качестве японской военной авиации, в том, что Япония строит дома, которые вспыхивают как спички. Затем обвинил во всем войну, Японию, которая ее начала, не соразмерив свои силы, а значит, и правительство. В своей речи он все дальше уходил от существа вопроса — и никак не мог остановиться. Он побледнел, на лбу вздулись вены, но совладать с собой уже был не способен. Глядя на него, я почувствовал, будто некая огромная рука проникла в меня, ухватила внутренности и вытащила их наружу. Я поглядел на остальных поселенцев и убедился, что они ведут себя так же, как мэр и Кумэда: раскрыв рты, смотрят безразлично в окна, на солнце, и даже не прислушиваются к словесному извержению помощника мэра.

Одетые в отрепье, грязные — они лишь хрипло дышали, широко раскрыв рты, словно рыбы, выброшенные на этот чужой для них берег. А перед ними распинался неизвестно для чего и зачем появившийся здесь человек. Он был достаточно коварен, умен и энергичен и, видимо, любимым путем пытался уйти от свалившегося на его голову бремени. Больше Я не мог терпеть спектакль, который он разыгрывал перед толпой поселенцев. Я встал и, прервав его, снова задал свой вопрос.

— Я уже понял, понял, — закричал он, уставившись на меня злыми глазами. Потом отвел взгляд в сторону и совсем другим тоном, тихо, сказал:

— Так или иначе, прошу всех тянуть жребий.

### 3

Кумэда поднял картонный ящик и, лавируя между спинами и ногами сидевших на полу поселенцев, стал обходить мужчин, всякий раз заново перемешивая содержимое ящика. Когда он подносил ящик к самому носу очередного главы семейства, тот нерешительно оглядывался, потом с опаской протягивал руку и вытаскивал сложенную четверо бумажку. Пальцы, привыкшие к перу, пальцы, управлявшие машинами, пальцы, изъеденные химикатами и лекарствами, — все эти пальцы, принадлежавшие людям разных профессий, тянулись к ящику, выхватывая оттуда бумажки. Я тоже вытащил одну и расправил ее на коленях. На ней стояла цифра «5», нацарапанная дрожащей рукой.

— Покажи, — наклонилась ко мне жена.

Я сунул ей под нос бумажку.

Каждый разворачивал свой клочок, показывал женам, родителям, детям и сидевшим поблизости поселенцам.

— Номер девять, наверно, хороший участок, — бормотал один.

— А у меня тринадцатый.

Кто-то тихо, но отчетливо, так, что все услышали, сказал:

— Теперь мы — господа помещики, а не какие-нибудь арендаторы.

Но бумажки — всего лишь бумажки. Мы пошумели, поговорили, показывая их друг другу, и умолкли. Одни бережно, другие решительно свернули их и зажали в кулак. Когда все участки были разыграны, мэр и его помощник поднялись со своих мест и вдруг — что бы вы подумали — низко нам поклонились и в один голос воскликнули:

— Поздравляем! Поздравляем!

Мы поспешно приняли подобающие позы и поклонились.

— Нам часто приходилось встречать поселенцев и присутствовать при распределении участков, и всякий раз мы испытывали радостное чувство: ведь это первый шаг к созданию новой деревни! Конечно, вам придется на первых порах нелегко, но



не сдавайтесь, действуйте решительно и настойчиво. От души поздравляю вас, — сказал мэр.

Мэр умолк. Помощник и Кумэда со спокойными, удовлетворенными лицами загадочно глядели куда-то вдаль, поверх голов поселенцев. У их ног валялись на полу листки рисовой бумаги.

Затем Кумэда рассказал о качестве почвы и других условиях на каждом участке. Он стоял у карты, называл номер участка, просил его владельца поднять руку и коротко объяснял: этот — гористый участок, тот — болотистый, третий — каменистый, но расположен поблизости от реки, что для освоения немаловажно. Мы не очень пока разбирались, какой участок хороший, а какой — негодный, и пытались это уловить не столько из сути, сколько по тону объяснений Кумэды. Кумэда же все участки характеризовал в одинаковом стиле: это, мол, не очень хорошо, но зато есть кое-что, что поможет его освоению. Короче говоря, из его пояснений никто не мог толком понять, какова истинная ценность участка. В заключение он напомнил, что соседи-старожилы завтра утром пригонят телеги, и каждый сможет своими глазами поглядеть на доставшуюся ему землю. Я поднял руку и задал вопрос:

— Мы очень рады, что завтра увидим наши участки. Ну, а если мой мне не понравится, смогу ли я получить другой? В условиях вербовки сказано, что можно подать прошение о замене участка.

Кумэда молча указал пальцем на помощника мэра, давая понять, что это вопрос к нему. Глядя в окно, помощник ответил:

— Я уже рассказывал о методах, какими действуют в центре. Но, как говорится, приехал в деревню — поступай по ее законам. Отныне забудьте обо всем, что вам наговорили в центре. Конечно, мы изучим возможность замены участка, но прошу учесть: при нынешних обстоятельствах, когда вообще стоит вопрос о дальнейшем существовании нашего государства, когда сам император призвал вытерпеть невозможное, снести невыносимое, надо сто раз подумать, прежде чем обращаться с подобной просьбой. Я тоже не со всем согласен и многое мог бы высказать, но молчу и занимаюсь своим делом: щелкаю на счетах и звоню по телефону. Труд на целине одинаково тяжел. И вы сюда прибыли не в самое легкое время. Хочу, чтобы вы это твердо усвоили.

Затем помощник мэра дал практические советы:

— Целина — это дикая равнина, и прямо с завтрашнего дня вы не сможете там поселиться. Поэтому прежде всего вам надлежит построить жилище. Будете ли вы строить общий дом или лачугу для каждой семьи — зависит от обстоятельств, которые вы выясните на месте. Поскольку опыта в строительстве у вас нет, советую обращаться за помощью к инструктору Кумэде. Он десятки лет занимается устройством поселенцев и, как говорится, в этом деле собаку съел. Но для строительства

дома прежде всего нужны доски, гвозди, пила и молоток. У нас их сейчас нет и, когда они будут получены, неизвестно. Значит вам придется до поры поселиться у ближайших крестьян-старожилков. Они в свое время тоже осваивали целину и, безусловно, пойдут вам навстречу. Я знаю, некоторые уже подготовили для вас сараи, конюшни и сеновалы. Мы с Кумэдой накануне побывали у старожилов и еще раз просили помочь вам с ночлегом. Они также собрали немного риса вам на пропитание — на первое время. Обещают дать вам займы мотыги, серпы и плуги. Таким образом, вы сможете начать работу на своих участках, живя у местных крестьян. Учтите, многие крестьяне сейчас живут впроголодь, и не требуйте от них невозможного, а также старайтесь им помочь. В сентябре-октябре самый разгар уборочных работ, и они будут вам благодарны за любую помощь. Все это я говорю о том времени, пока вы будете у них жить, а когда построите собственные дома, вы, само собой, в них переедете и сможете целиком заняться возделыванием своих участков. Кроме того, сами понимаете, во время войны, когда всего не хватало, мы не смогли запасти для вас лесоматериалы. Мы еще год назад обращались в органы власти с просьбой о выделении леса и всего необходимого для строительства, но до сих пор ничего не получили, несмотря на многочисленные телеграммы, прошения и телефонные звонки. Я сам не раз во время бомбежек ездил в переполненных поездах в Саппоро, но ничего в префектуре не добился. В конце концов нам пришлось на свой страх и риск ассигновать средства из бюджета и направить заказ лесоторговцам. Вначале они, как и торговцы гвоздями, построили кислые физиономии, узнав, что им придется иметь дело с поселенцами, у которых тощий карман. Но все же их удалось уломать ссылками на военное время и необходимость мобилизации всех средств ради победы. Уже окончилась война, а они пока ничего не прислали. Но, раз обещали, должны выполнить свое обещание. Ведь нынешние лесоторговцы и торговцы гвоздями, если заглянуть в их прошлое, тоже в свое время осваивали целину и, надеюсь, с пониманием отнесутся к вашим нуждам. Когда мы с мэром поехали к лесоторговцу и стали уговаривать его продать поселенцам доски дешевле официальной цены, он сначала уперся — и ни в какую! Даже ссылки, что это нужно для родины, не помогали. И все же, не без выпивки, конечно, нам удалось его уломать. Не беспокойтесь — доски привезут и можно будет наконец приступить к строительству скромных жилищ. Немножечко терпения — и вы счастливо заживете в собственных домах.

Когда помощник умолк, мэр подал знак Кумэде, тот быстро спустился вниз и вскоре вернулся с двухлитровой бутылкой и множеством чашек. Мэр пояснил, что в бутылки — молодое виноградное вино, из которого получают винную кислоту для выплавки алюминия. Вино кислотоватое, заключил мэр, но специ-

ально для этого случая удалось выпросить его в префектуре. Я попробовал: в самом деле, вино было настолько кислое, что вызывало оскомину на зубах, и, похоже, начинало уже портиться. Но вслед за мэром мы подняли свои чашки и с криками «за процветание — до дна!» выпили, забыв и про кислый вкус, и про неприятный запах.

Вскоре непьющие отправились спать, женщины и дети перешли в другую комнату, а мы, сгрудившись вокруг мэра, его помощника и Кумэды, продолжали чокаться и пить этот странный напиток — нечто среднее между сакэ и лекарством. Потом начались знакомства, рассказы о прошлой жизни, о том, почему решили завербоваться на Хоккайдо. В свою очередь мэр и его помощник поведали нам о местном житье-бытье, всячески нас успокаивали и подбадривали. На вокзале Уэно, в Аомори, Хакодате, Асахикава, во время поездки в поезде и ночевки в школах люди, оказавшиеся по соседству, менялись, и только здесь нам наконец удалось по-настоящему познакомиться. Поселенцы сбивались в группки по три-пять человек, пожимали друг другу руки, с удивлением выясняли, что в Токио жили рядом. Все оживленно болтали, смеялись, позабыв о своих горестях. Я год не пил вина и сразу захмелел. Налив полную чашку, я подошел к помощнику мэра и с поклоном поднес ему со словами извинения за то, что докучал нелепыми вопросами. В то же время исподтишка наблюдал за ним.

— Что вы, что вы! — воскликнул он. — Вам незачем просить извинения. Вы правильно задали вопрос, и ваше беспокойство вполне оправданно. Тем более с вами жена и ребенок. Теперь, когда война окончилась, трудно предугадать, что ожидает вас, да и нас тоже. Честно говоря, на что-нибудь хорошее рассчитывать не приходится.

Он залпом выпил вино, слизнув языком последнюю каплю, перевернул чашку над головой, показывая, что выпил до дна.

Я никогда не видел такого, но, решив, что это местный обычай, тоже выпил налитое мне вино и опрокинул чашку над головой.

Я поглядел на остальных. Несколько человек окружили мэра и все время подливали ему вино.

— Хорошую речь вы сказали, господин мэр. Прямо до печеник проняла. Мы рады, что вы не зазнаетесь, ведете себя просто, значит, мы попали в хорошие руки, — перебивая друг друга, кричали они ему в самое ухо.

Мэр в ответ улыбался, с удовольствием выпивал. На лбу у него вздулись вены, глаза покраснели.

Кумэда тихо сидел в углу, положив руки на колени, и не спеша отвечал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Чашка с вином, стоявшая перед ним, оставалась нетронутой. Похоже, за весь вечер он не выпил ни капли. Заметив это, один из поселенцев наклонил бутылку и наполнил ему новую чашку. Кумэда взял ее, но не выпил, а поставил перед поселенцем. Тот

сначала застеснялся, потом взял чашку обеими руками и выпил до дна.

— Ну а как быть с водой? О воде-то мы и забыли спросить! — вспомнил он. И сразу все зашумели:

— Верно! Нам проведут водопровод?

— А зачем водопровод? Лучше колодцы. Колодезная вода намного вкуснее, чем водопроводная. Я знаю, что в Токио, особенно в старой части города, многие владельцы домов пользуются колодцами, хотя есть водопровод.

Потом вдруг кто-то тихо сказал:

— Чтобы вырыть колодец, нужны деньги...

Поселенцы приумолкли. Я внутренне содрогнулся. Помощник мэра в своей речи ясно дал понять, что лес для дома придется покупать за свой счет. Во сколько же он обойдется, подумал я, мысленно подсчитав зашитые в пояс наличные и приплюсвав к ним небольшую сумму на сберкнижке, — получалось негусто: на доски, может, и хватит, но ведь еще нужны гвозди, пила, молоток, не говоря о мотыге, лопате, плуге. Нужна и лошадь, которая будет тащить плуг. Где уж тут думать о колодце. Я вновь ощутил, как огромная рука ухватила мое нутро и выворачивает его наружу. Я вытер со лба холодный пот и оглянулся. Остальные тоже сидели, понурив головы, и водили пальцами по циночкам, будто подсчитывали вплетенные в них соломинки.

Заметив, что люди пали духом, Кумэда прокашлялся и сказал:

— Не расстраивайтесь. Есть река.

Сразу посыпался град вопросов:

— Река?

— А воду пить тоже из реки?

— Где же тогда стирать?

— В реку и по малой нужде ходят!

Кумэда выждал, когда все успокоится, и неторопливо сказал.

— И пить, и стирать — все можно в реке. Даже мочиться, если появится желание. Пространства здесь большие, и вода очищается быстро. На новых землях все пользуются для питья речной водой. Подождешь секунду пока вода протечет метра три — и пей спокойно. Здесь все поселенцы живут вдоль рек.

— Значит, подождать пока протечет три метра?

— Сначала погляди, не мочится ли кто выше по течению.

Потом пей.

— В жизни не пил речную воду.

— Вкусней, чем колодезная. А когда тает снег, она особенно полезна.

Пока все казалось не столь безнадежным. В отличие от болтовни мэра и его помощника объяснения Кумэды были немногословны и весомы. У уныло сидевших вокруг него поселенцев постепенно расправлялись насупленные брови, да и само могучее телосложение Кумэды, вспоенного, видимо, талой

водой, являлось лучшим свидетельством полной приемлемости здешних санитарных условий. Но Кумэда вдруг встал, подошел к карте целинных земель на Хоккайдо, снял ее со стены и расстелил на циновке.

— Глядите, — сказал он, обращаясь к нам и одновременно водя толстым пальцем по карте. — Мне однажды пришло в голову, что Хоккайдо напоминает рубашку.

— Рубашку? Скорее, палтуса.

— Нет, я имею в виду не форму острова. Так вот: Хоккайдо — это рубашка. А реки на Хоккайдо — это швы на рубашке. На больших швах расположены города Исикари, Тэсио, Токати, Кусиро. Есть еще множество мелких речушек и притоков — это мелкие швы. Так вот: если Хоккайдо — рубашка, реки его — швы, то кто тогда поселенцы? Догадываетесь? Неприлично так говорить, но поселенцы — это вши.

— Ну и ну!

— Да, поселенцы — это вши, которые заводятся в швах, другими словами, вдоль рек. На Хоккайдо разрабатывали целину, поднимаясь вверх по рекам. Почему? Да потому, что река — удобное средство сообщения, она обеспечивает поселенцев питьевой водой и, самое главное, вдоль рек самые плодородные земли. В прежние времена вдоль рек возделывали здесь землю, не пользуясь удобрениями по десять, а то и по двадцать лет. Вот почему там, где нет рек, нет и поселенцев. Там, где нет швов, не заводятся вши. Думаю, это касается не только Хоккайдо. Во всем мире так: и в Америке, и в Канаде «вши» разрабатывали целину, поднимаясь вверх по «швам»-рекам. Я подумал об этом однажды ночью, когда проснулся и вышел во двор по нужде...

Те, кто вначале подсмеивался над рассуждениями Кумэды, умолкли и покрасневшими от вина глазами внимательно следили за толстым пальцем Кумэды, медленно ползавшим по карте, безошибочно находя нужные места. Вот его палец коснулся начала черного шва реки, вокруг которого было несколько красных точек. По мере того как палец спускался вниз, число красных точек росло и они увеличивались в размере. Там, где их скопилось так много, что они стали сливаться, на карте было написано: «Равнина Исикари». В некоторых местах стояли одиночные красные точки — и ничего больше. Но если внимательно присмотреться, около этих точек проступала тончайшая, как волосок, линия «шва»-реки, что лишний раз подтверждало правильность рассуждений Кумэды. Вся карта Хоккайдо была испещрена красными точками. Казалось, невозможно жить где-то в отдаленной части острова у самых верховьев речушки, но и там, словно капля крови, виднелась одинокая красная точка. Вся эта картина невольно захватывала, от нее веяло некой неборимой силой. Глядя на скопления красных точек, я думал: опоздали, чересчур много здесь поселилось людей, а когда глядел на одинокие точки, восхищался: неужели и сюда

проникли поселенцы? Я глядел на карту, слушал Кумэду, и почему-то у меня стеснило грудь.

Тем временем уставшие и отяжелевшие от выпитого вина поселенцы один за другим укладывались спать, и не успел я оглянуться, как остался один на один с Кумэдой. Он рассеянно глядел на карту и, наверно, не обратил внимания, что его рассуждения о вшах оставили у поселенцев неприятный осадок. Я ткнул пальцем в обширное белое пятно в центре карты и спросил:

— Неужели до сих пор здесь никого нет?

— Здесь одни покрытые снегом горы. Непригодное для жилья место, — ответил он и отвернулся.

После шумного веселья, затянувшегося до позднего вечера, мэр и его помощник наконец отправились восвояси. Перед уходом мэр снова собрал всех в середине комнаты и сказал:

— Забыл сообщить вам, что вашему будущему поселку уже дали имя. По согласованию с начальством префектуры мы назвали его «Верхнецелинный». В ближайшее время он будет зарегистрирован и нанесен на карту. Отныне вся направляемая вам почта будет идти в поселок Верхнецелинный, поэтому прошу сообщить новый адрес вашим родственникам.

Остатки вина разлили по чашечкам и троекратным «ура!» отметили рождение нового поселка. Все, начиная с мэра и его помощника, с серьезными, торжественными лицами выпили за процветание Верхнецелинного, а я подумал: все же странное имя ему дали.

Лишь один пожилой поселенец не участвовал в общей здравнице.

— Впервые слышу, чтобы поднимали тост по такому случаю, да еще за столь дурацкое название, — пробормотал он.

Когда мы с ним познакомились, он сказал, что прежде был врачом.

На следующее утро мы отправились поглядеть на наши участки. Все собрались у мэрии, и вскоре подъехали крестьяне на шести телегах, запряженных лошадьми. Лошади были северной породы с мощными крупами и поросшими волосами толстыми ногами — настоящие тяжеловозы! Кумэда вызывал по списку поселенцев и каждому указывал, на какую телегу садиться. Между делом он подходил то к одной лошади, то к другой, похлопывал ее по крупу и ласково говорил: «Не подведи, милая!»

Городишко был маленький. Накануне я вместе со всеми отправился сразу в мэрию и после изрядной выпивки уснул, поэтому не успел его как следует разглядеть. По мере удаления от станции дома становились все меньше и неказистей. Навоз, валявшийся на дороге, никто не убрал. Он лежал на прежнем месте — только высох. От всего веяло запустением. Сидя на телеге, я пытался заглянуть внутрь жилищ: грязные окна, запущенные дворы. Дома, казалось, были погружены в сонную

тишину. Иногда в окнах появлялись лица и тут же исчезали — словно щепки на волнах. Я поделился своими впечатлениями с Кумэдой, который ехал со мною на одной телеге.

— Пропал у людей интерес, к тому же всех здоровых, способных работать забрали в армию. Грустная картина, — ответил он.

Проехав дальше, мы заметили наполовину вросший в землю сарай. Здесь кончался город и начинались поля. Сарай покосился, выложенный из камня фундамент ушел в землю, соломенная крыша чуть не касалась травы, так что стен не было видно. Отсюда начиналась грунтовая дорога, по обе стороны которой простирались до самого горизонта поля. Мощные стебли пшеницы покачивались на ветру. При сильных порывах они склонялись в сторону, словно подрезанные ножом, подставляя солнцу свои поспевающие колосья. Я оглянулся: городок уже исчез вдаль, и среди высоких колосьев виднелись лишь верхушки нескольких кирпичных труб.

— Какая здесь ширь, — восхищенно сказал я.

— Да уж! Говорят, деревня Бэкай, недалеко от Нэмуру, занимает площадь побольше, чем Осака. А зимой кто заблудится — несдобровать, — ответил Кумэда.

— Снега много?

— Не то слово! Во время метели люди погибают рядом с собственным домом. Такие случаи бывали даже у нас в городе. Идешь словно среди молока — ничего не видно! Только присядешь — и сразу начинает клонить ко сну. Это первый признак, что человек замерзает.

— Вот как?

— Если провалишься в сугроб, барахтайся, как можешь: рой ход или утаптывай ступеньки из снега, чтобы выбраться наружу. Перестанешь двигаться — уснешь, а сон — это смерть! Говорят, если начнешь засыпать на морозе, вспомни лицо своей бабы и повторяй: «Чтоб ты сдохла!»

— И сразу проснешься?

— Не знаю, так говорят, — вполне серьезно ответил Кумэда.

Постепенно поля сменила болотистая, дикая равнина. Поблизости протекала река. Равнина была каменистая, заросшая травой и мелким кустарником. Трава и кустарник причудливо переплетались, их высохшие стебли угрожающе шелестели на ветру, корни, словно змеи, извивались по земле и уходили вглубь. Казалось, никакая сила не сможет с ними справиться.

Кончилась равнина, и вдаль замаячили горы. Вначале они казались полоской туши, нанесенной на горизонт. Здесь три телеги отделились от нас и свернули в сторону. Горы подковой обступили впадину, образуя узкий проход, через который мы проехали дальше, в центр подковы. Здесь кончилась дорога, и мы двинулись прямо по целине. Из-под колес и копыт лошадей отскакивали острые камни и врезались в землю. Все выше

становились заросли мелкого бамбука, и уже нельзя было различить среди них телегу, ехавшую впереди.

— Здесь? — инстинктивно спросил я.

— Да, ваш участок здесь, — ответил Кумэда и соскочил с телеги. — Стой, стой, — крикнул он вознице. Тот натянул поводья, останавливая лошадь.

Голос Кумэды разнесся по дикой равнине и, словно крик испуганной птицы, эхом отдался в горах и унесся в высокое небо. Я взглянул на часы. Стрелки показывали три часа дня, а выехали мы из города в семь утра.

Горы подступали со всех сторон. Вокруг, куда доставал глаз, виднелись лишь горные цепи и заросшая мелким бамбуком впадина между ними. Откуда-то доносилось журчание воды, но реки не было видно. Высохшие стебли бамбука стояли стеной в человеческий рост. Я раздвинул заросли, и в нос ударил острый запах прелых листьев и земли. Я сделал несколько шагов и остановился: заросли оказались настолько густые, что дальше пробраться было нельзя. Бесчисленные, причудливо переплетающиеся корни, скрытые под слоем прелых листьев, хватали за ноги, не давали прохода. Казалось, они уходили вглубь до самого центра земли. При каждом шаге снизу поднимались тучи слепней и других насекомых. Они ударялись о лицо, застревали в волосах. Один слепень упал мне на грудь, подрагивая будто сделанными из проволоки лапками, потом взмахнул крылышками и, словно огненная капелька, взлетел и упал на землю.

— Эй, — окликнула меня жена. Поверх зарослей, в которых, казалось, она вот-вот утонет, виднелась лишь одна голова. Я оглянулся. Губы ее задрожали, глаза потемнели. Жена с укором поглядела на меня, отвернулась и исчезла среди бамбука — наверно, присела.

Откуда-то из зарослей послышался голос Кумэды.

— Схожу к реке.

## Глава третья

### 1

В августе и сентябре я работал у крестьянина, в доме которого мы поселились. Жили в кладовке, спали на сене, пособляли, как могли, нашему хозяину в работе. Старожилы отнеслись к нам лучше, чем мы предполагали. Наверно, потому, что в свое время тоже приехали сюда осваивать новые земли и на своей шкуре испытали, почем фунт лиха. Они предоставили нам жилье, платили натурой за работу в поле. Особенно нас растрогало, когда они собрали от каждого двора по одному сё<sup>1</sup> риса для поселенцев. Рис был выращен ими самими и пришлось

---

<sup>1</sup> Один сё — 1,8 кг.



нам очень кстати. Они называли свой рис «целинным», извиняясь, что он уступает выращенному в Центральной Японии. Нам же он показался вкусным, и мы поедали его с жадностью, но понемногу, сберегая на будущее.

Август и сентябрь пролетели быстро, оставив в памяти чувство благодарности. За этот короткий период я освоил кое-какие сельскохозяйственные работы, многое узнал о местной почве и зиме на Хоккайдо.

С наступлением октября сбор урожая закончился. Остается лишь выбрать картофель, ботва которого пожелтела, заготовить соленья и ждать зимы, сказал наш хозяин. Его слова заставили меня призадуматься: не пора ли еще до снега построить собственное жилище и заняться своим участком. Я подсчитал наличные деньги, добавил к ним все, что имелось на сберкнижке, и отправился в город покупать доски, бревна, гвозди, а также мотыги и серпы. Дело непростое, потому что купить все необходимое можно было только на черном рынке. Я не видел смысла в том, чтобы дожидаться обещанного лесоторговцами. Все это были пустые посулы, и я решил сам приобрести нужные материалы для постройки дома. В конце сентября нам кое-что перепало и от муниципалитета: пила, соль и специи для засолки кальмаров, мотыга, соленая морская капуста, а также два солдатских шерстяных одеяла, одно зимнее пальто и теплая пара обуви. Одеяла, пальто и обувь достались из имущества бывшей резервной дивизии Квантунской армии, расквартированной в Асахикава. Пила была сделана из обыкновенной железной полосы, на которой нарезали зубья, и не годилась даже для распилки толстых досок. Я подарил ее крестьянину, у которого жила наша семья. Соленая морская капуста и специи — хорошая приправа к рису, но, поскольку риса не было, мы их припрятали для обмена. В начале октября я погрузил на телегу — ее мне дал крестьянин — все, что с трудом раздобыл на черном рынке, и привез на свой участок.

Наша земля находилась в центре впадины, которую подковой окружали высокие горы, увенчанные снежными шапками. Кумэда, наверное, был прав, когда предупреждал насчет медведей: самое для них место! На моем участке заросли бамбука достигали четырех-пяти метров в высоту и были настолько густые, что, войдя в них, не только терял представление о сторонах света, но даже перед глазами ничего не видел, кроме листьев и мощных стеблей. Низкорослый бамбук здесь совершенно не был похож на своего сородича в Центральной Японии: мощный, высокий, он мгновенно вспарывал на ногах кожу, стоило наступить на пенек сломанного растения. Неосторожный шаг в зарослях — и его колючие листья могли на всю жизнь оставить человека кривым. Идешь в таких зарослях и не можешь определить, в каком направлении движешься, потому что со всех сторон тебя обступают тысячи и тысячи одинаковых мощных зеленых стеблей. И кажется, будто стоят они здесь еще

с той поры, когда суша только отделилась от моря. А от стеблей десятки тысяч корней уходят в глубь земли, и никакими силами, наверно, не извлечь их из подземной тьмы наружу.

Когда уехал крестьянин со своей телегой, на которой мы перевезли лес для дома, над нами нависла тишина, прерываемая лишь тихим журчанием воды в реке. Наверху простиралось бескрайнее небо, а под ним — нескончаемые заросли бамбука. Ориентируясь по звуку воды, я пошел к реке, прорубаясь сквозь заросли. За мной с серпом в руках, то и дело спотыкаясь и падая, следовала жена. Наконец я увидел каменистое ложе реки и саму реку, скрывавшуюся доселе густым зеленым шатром. Я сказал жене, чтобы она помогла мне вырубить заросли близ реки. Мы стали спиной друг к другу и рубили все подряд, пока не очистили небольшую площадку, где я намеревался возвести наше жилище.

После нескольких часов непрерывной работы мы наконец смогли разглядеть участок приречной земли. Почва походила на песчаную, перемешанную с обломками камней и галькой. Я подобрал камни с плоской поверхностью и примерно одинакового размера, выложил из них фундамент, стараясь оставлять поменьше щелей, и утрамбовал его. Я понимал: если не скрепить фундамент цементом, камни, как их не утрамбовывай, перекосятся. Но цемента не было. Я распилил привезенный лес на одинаковые по длине бревна, уложил их на фундамент и перпендикулярно выложил толстые доски. Потом попрыгал на досках, выравнивая их, и прибил гвоздями к бревнам.

На эту работу ушел целый день, и, когда пол был настелен, солнце уже значительно склонилось к западу. Оставалась крыша, и я решил во что бы то ни стало сделать до темноты и ее. Я взял несколько оставшихся бревен, скотил их шатром, а к ним прибил тонкие доски. По сравнению с полом эта работа не составляла особого труда, поскольку я выбрал простейший вид человеческого жилья, который называется «моельня». В такой лачуге не было ни стен, ни окон, а лишь пол и крыша. Войдешь с одной стороны — и через четыре-пять шагов выходишь наружу с противоположной. А называют такое жилище «моельней» потому, что лачуга состоит из сбитых шатром досок — как будто складываешь ладони в буддийской молитве. Я лишь усовершенствовал ее немного, сделав каркас из оставшихся нескольких бревнышек, который делал крышу более прочной, и можно было надеяться, что ее не снесет первый же порыв сильного ветра. Щели между досками на крыше и в полу мы заткнули тряпьем. На входное и выходное отверстие повесили по циновке и по привезенному из Токио шерстяному одеялу. Чтобы одеяла не хлопали на ветру, я закрепил их у пола гвоздями.

Я, жена и сын, улегшись рядом, вполне помещались в этой лачуге. Тыквы, одежду, обувь, рис и бутылку с питьевой водой мы внесли внутрь, а кастрюлю, котел, ведра и прочий скарб

оставили снаружи, будучи уверены, что воровать их здесь никому. Никаких полок и шкафов у нас, естественно, не было. Солдатские одеяла мы расстелили на полу. Я старался ровно прибивать доски, но все же пол получился с перекосом. Это сразу становилось заметно, когда жена наливала похлебку в алюминиевые тарелки. И когда после тяжелого трудового дня мы залезали под одеяла, я с опаской думал о том, как бы во время сна не скатиться к двери — так велик был наклон пола.

И все же это был наш дом, наше жилище, построенное собственными руками. Когда мы закончили работу, солнце уже зашло. Я сбегал к реке, наполнил водой бутылку и окропил площадку перед домом.

Подошла жена.

— Что ты делаешь? — спросила она.

— Как что? Это церемония спуска на воду. Когда корабль сходит со стапелей, его нос кропят сакэ. Я видел, как спускают на воду баржи-плоскодонки. Об них разбивали бутылку с самогоном.

Я окропил водой и нашу лачугу, а жена, довольно улыбаясь, стояла рядом. Мне пришла в голову мысль отметить это событие. Я взял две алюминиевые кружки, наполнил их водой из бутылки и одну передал жене. Мы поздравили друг друга, чокнулись и медленно выпили воду, такую холодную, что сразу заняли зубы.

— Не жесткая ли здесь вода? — слышался из темноты голос жены.

Еще несколько дней мы были заняты усовершенствованием жилища. Правда, гвозди кончились и почти не оставалось досок. Меня больше всего беспокоили насланные на фундамент бревна и крыша. Сверху доски были прибиты к бревнам гвоздями, но снизу бревна свободно лежали на фундаменте из камней. Кроме того, каркас крыши был поставлен шатром и ничем не скреплен, поэтому сильный ветер мог без труда ее повалить. У меня не было ни болтов, чтобы его скрепить, ни цемента, чтобы обмазать фундамент. Тогда я решил вместо цемента воспользоваться глиной. Я прихватил мотыгу и, раздвигая заросли, стал бродить вдоль реки, пока чуть ниже по течению не набрел на выступавший из берега слой глины. Я отбил мотыгой сколько было нужно и притащил глину к лачуге. В Токио, проходя мимо строек, я видел, как месили глину, добавляя в нее обрезки соломы. Здесь соломы не было, и я нарезал росший у берега тростник и мискант китайский, мелко нарубил их и смешал с глиной. Потом обмазал те места, где концы бревен соединялись с фундаментом, а также все щели между камнями. Через день глина высохла и потрескалась. Тогда я еще раз повторил эту операцию. Теперь глина покрывала все прочным слоем. Глиной же обмазал я и крышу. Спустя несколько дней вся хижина, за исключением входа и выхода, была покрыта глиной, из которой там и сям торчали

высохшие листья и обрезки тростника. Теперь она походила на прыщ, выскочивший на пораженной некоей болезнью земле, а сверху, если глядеть с гор, казалась щепкой, то всплывающей, то вновь погружающейся в море низкорослого бамбука.

За все время, пока мы возводили свое жилище, нам не встретился ни один человек. Землю в нашей впадине получили несколько семей, но они, видимо, все еще жили у крестьян, и никто, кроме нас, не переехал на собственный участок. Мы с женой работали в поте лица. А вокруг — ни души. Только синее небо над головой, да ветер и журчание воды в реке. Никакая живность не пробегала мимо. Вечером в темной хижине мы ели похлебку и без сил валялись на пол. Поворочавшись на врезавшихся в тело грубых досках, я наконец засыпал, и мне снилось, будто река заливает нашу хижину и, журча, обтекает наши тела. Я в страхе просыпался и прислушивался, но снаружи доносился лишь шелест подступающего к нашей лачуге бамбука, и казалось, будто пол и крыша куда-то уплывали, а я лежу на земле посреди бескрайней равнины. Временами порыв ветра вздувал циновку и одеяло у входа. Ветер налетал откуда-то издалека. Ни стены, ни телеграфные столбы, ни иные препятствия не стояли у него на пути, и он мчался вперед, словно река без берегов. При каждом порыве ветра наша лачуга жалобно поскрипывала, заставляя со страхом думать о грядущей зиме.

Я понимал, что сейчас, в октябре, бессмысленно что-либо вырывать, и переехал я на свой участок не с целью сейчас же приступить к разработке земли. Хотелось поскорее привыкнуть к ней, а к апрелю будущего года — как я слышал, на Хоккайдо посевная начинается в апреле, сразу после таяния снегов — разработать участок и засеять его. Накануне переезда я отправился в муниципалитет, встретился там с Кумэдой и поделился с ним своими планами. Он посоветовал мне повременить, заняться пока хижинной, а через неделю он придет и покажет, как надо выжигать бамбуковые заросли, прежде чем приступить к обработке земли. В ожидании Кумэды я и занялся возведением хижины.

Земля обнажилась лишь на том участке, где мы вырубили бамбук и сделали каменный фундамент. Но стоило удалиться от хижины на несколько шагов, как тебя вновь окружали настоящие джунгли бамбука, стебли которого росли настолько густо, что даже зайцу сквозь них не продрасться. Чтобы поставить хижину, мы не выжигали бамбук и тем более не выкорчевывали его, а просто срезали. И спустя несколько дней он начал вновь завоевывать отнятый у него участок. Чтобы набирать воду в реке, мы пробили к ней тропинку от дома, и, хотя утаптывали ее ежедневным хождением, там и сям, словно стальные проволоки, вновь стали вылезать зеленые стебли. Казалось, стоит упустить момент, и бамбуковые заросли поглотят хижину, не оставив никаких следов присутствия человека. Я в несколько слоев обмазал фундамент глиной, и тем не менее между камней вновь

и вновь появлялись, сколько их ни выдергивай, зеленые стебли бамбука. Уж площадку перед домом мы утоптали как следует, но стоило мотыгой чуть потревожить землю, как вылезали на свет божий мощные переплетения корней, из которых буквально на глазах вытягивались вверх зеленые ростки. Иногда меня охватывал страх: вдруг, пока мы спим, вся эта масса ростков поднимет фундамент и опрокинет хижину. Я не представлял, как бороться с этой настойчивой, темной, неистребимой силой земли.

Спустя некоторое время после того, как мы поселились в хижине, доски пола стали пахнуть по-иному. Пролившаяся похлебка, следы от наших потных, испачканных землей ног вытравили первоначальный свежесмолистый запах. Теперь доски пахли человеком, его выделениями. Ступни наших ног и набившаяся в щели грязь сгладили неровности, сделали доски гладкими, словно обработанными полировальным порошком. Теперь внутри хижины пахло потными ногами, с которых только что сняли ботинки. Таким бывает запах бурьяна в летнюю ночь, гниющих овощей, запах внутри переполненного людьми трамвая в дождливый день или дыхания человека, прошедшего ночь без сна. Казалось, будто все эти запахи соединились вместе под крышей нашего жилища. Это был тепловатый, влажный, тяжелый, кислый, неприятный и такой знакомый запах бедности. Запах человека, занятого физическим трудом. Как-то утром, умываясь перед домом, я вдруг обратил внимание, что земля, на которую стекали с моего лица капли воды, пахнет так же, как доски в лачуге. Похоже, во всех уголках нашей впадины скоро появятся липкие, жирные следы человека. Придет время, и поднятая, распаханная, изрезанная канавами целина, обогащенная аммиаком, известью, различными отходами, станет жирной и плодородной, подумал я.

Наконец появился Кумэда. Он подробно объяснил, как надо выжигать заросли бамбука. Сказал, что сначала следует вырубить полосу шириною пять метров вдоль межевых вешек, вбитых на границе с соседним участком, и лишь потом зажечь заросли. Зола можно употребить для удобрения. Точно так же надо вырубить бамбук и вокруг хижины. Тогда и в ветреную погоду огонь не перекинется ни на соседний участок, ни на хижину. Кумэда принес с собой две большие косы, с какими на Западе изображают богиню смерти. Такие косы я видел впервые. Никакой дороги сюда из города не было, и Кумэда долго продирался сквозь заросли, шел вдоль реки, временами взбираясь на холмы, чтобы сориентироваться.

Подойдя к нашей хижине, он бросил косы на землю и громко сказал:

— Страшное дело! Зимой сюда вообще не пробраться. Такие участки есть и в других районах, где осваиваются новые земли. Их называют «затерянными на суше островами».

— Не только зимой — и теперь не лучше, — ответил я. — Вы

первый человек, которого мы увидели за десять дней. Даже заяц не пробегал мимо.

— Зайцы-то есть. Попадаются и лисы. Вы поставьте силки из проволоки — вот и будет жене на воротник.

Кумэда приподнял циновку, висевшую над входом, окинул взглядом наше жилище и удовлетворенно кивнул. Потом закурил, и мы вместе отправились обследовать участок.

Кумэда показал мне, как обращаться с косой. Лезвие у косы было ржавое и на первый взгляд казалось ненадежным. Но от каждого широкого взмаха Кумэды полоса низкорослого бамбука с хрустом валилась на землю. Я сначала никак не мог приспособиться, и коса все время отскакивала от упругих стеблей бамбука, оставляя на них сочащиеся порезы.

— Ты держи ее легко, свободно! И не локоть и кисть пускай в ход, как режут серпом. Тут надо плечами и поясницей! Гляди: р-раз, р-раз! Вот как надо!

Кумэда делал широкий взмах косой, словно алебардой, и плавно вел ее вдоль очередной полоски бамбука, потом делал шаг вперед — и снова взмах. Стебли валились к его ногам, наполняя воздух запахом свежей зелени. При каждом взмахе из зарослей поднимались тучи слепней, сверкая на солнце своими радужными крылышками. Палящее солнце быстро высушивало листья скошенного бамбука, земля впитывала в себя капавший с лица пот, слепни, кузнечики, сороконожки, пауки и прочие насекомые, появлявшиеся из тьмы зарослей, мгновенно разбегались и разлетались в стороны. Стало жарко, и Кумэда вскоре скинул рубашку. Я с восхищением глядел на его обнаженное по пояс тело. Пока он не двигался, его вздувшиеся буграми мышцы производили неприятное впечатление, но как только он приступал к работе, они разглаживались, волнообразно появляясь и исчезая в самых неожиданных местах. Экономными движениями, не тратя силу понапрасну, но и не жалея ее там, где это было нужно, он прорубался сквозь бамбуковые заросли, словно плыл по морю, рассекая волны. Кумэда остановился перевести дух, когда дошел до края моего участка. Отсюда он казался маленьким, и я даже не мог различить его лица — так велик оказался участок. Неумело размахивая косой, я наконец приблизился к нему и воскликнул:

— Никогда не думал, что получу столько земли. Похоже, я теперь настоящий помещик.

Кумэда сочувственно поглядел на меня, вытер с лица пот и сказал:

— Только и богатства, что большой участок. Но тут полно вулканического пепла, камней, гальки. Все это надо убрать, прорыть канавы, нанести плодородной земли.

— А зачем канавы?

— Канавы нужны, чтобы провести воду, вымыть вредные примеси. Только тогда можно привезти новую землю и нанести плодородный слой.

— А если добавить серы и фосфора?

— Не поможет. Кидать ценные удобрения в такую землю — все равно что лить воду в дырявую корзину.

Слова Кумэды меня обескуражили. Он же, высказав мне жестокую правду, как ни в чем не бывало подхватил косу и с новой силой стал срезать бамбук.

Потребовалось полдня, чтобы скосить бамбук на намеченной нами защитной полосе. Правда, по-настоящему работал один Кумэда, а мы с женой пока еще крайне неумело управлялись с косой. Врубившись в заросли, Кумэда мгновенно исчезал из поля зрения, и только по хрусту срезаемого бамбука можно было определить, в каком направлении он движется. Спустя некоторое время появлялась его спина, а за ней дорожка скошенного бамбука. Вплоть до полудня я косил, обливаясь потом и стараясь поспеть за Кумэдой. Потом мы пообедали картофельной похлебкой и приступили к выжиганию.

В книгах я читал, да и слышал рассказы о том, как выжигают дикие степи, но самому пришлось этим заниматься впервые.

Указывая на защитную полосу, Кумэда сказал:

— При такой ширине полосы огонь на соседний участок не должен перекинуться. Он пойдет к реке, но на всякий случай надо быть готовым, и если искры начнут падать поблизости от дома или около соседнего участка, сразу их гасить.

Мы с женой надели солдатские рукавицы, намотали обмотки, чтобы уберечь ноги от ожогов, подвязали внизу шаровары, прикрыли рот и нос мокрыми полотенцами и вслед за Кумэдой отправились к защитной полосе. Кумэда встал со стороны гор, жена — близ дома, а я на границе с соседним участком. Мы должны были гасить искры, направляя пламя в сторону реки. Кумэда свернул несколько газет и, поднося к ним спичку, кидал, словно ручные гранаты, в гущу зарослей. Вначале они без следа исчезали среди зеленых стеблей, но постепенно там и сям стали подниматься тонкие струйки дыма, а вслед за ними и языки пламени. Когда Кумэда говорил о выжигании бамбуковых зарослей, он употреблял слова «огонь бежит». И в самом деле, пламя не поднималось вверх, а с колоссальной скоростью распространялось во все стороны по низу стеблей, жарко опалия землю. Стараясь, чтобы пламя не повернуло в сторону гор, Кумэда метался в дыму, сбивая огонь палкой. Жена, спотыкаясь, бегала вокруг дома, а я колотил палкой то справа, то слева, пытаясь сбить на границе с соседним участком пламя, будто останавливал быка, выскочившего из загона. Пот лил с меня ручьями, брови обгорели, кожу щипало от жара. Было такое впечатление, будто не вокруг пылает огонь, а горю я сам. Листья бамбука скрючивались от жара, стебли шипели, покрывались белой пеной и падали, роняя жаркие капли в золу.

После того как нам удалось загнать огонь в реку, мы покинули свои посты, вышли на берег и погрузили руки и лица в смешавшуюся с пеплом воду.

— Вода сладкая, честное слово, сладкая, — воскликнул Кумэда. Он потер лоснившиеся от пота щеки, встряхнулся, как собака, и вновь поспешно окунул голову в воду.

— Наверно, я похожа на вывалившегося в грязи барсука, — пробормотала, тяжело дыша, жена и закрыла глаза.

## 2

Уходя, Кумэда оставил нам одну косу. Хотя мы выжгли заросли бамбука, но кое-где еще остались нескоревшие полоски. Их надо было скосить и с помощью мотыги выкорчевать корни. Пора было заняться заготовкой дров, используя для этого мелколесье, которым поросла возвышенная часть участка. Но у меня не было ни топора, ни пилы. К счастью, Кумэда обещал одолжить мне свои, и я отправился к нему домой. От нас до его дома было, пожалуй, не меньше пяти ри. Кумэда жил на окраине города. Он принадлежал ко второму поколению освителей целины, считался старожилом и наряду с обязанностями инструктора продолжал заниматься сельским хозяйством. Конечно, на все у него рук не хватало, и, пока не началась война, он нанимал поденщиков и сезонников, приезжавших на заработки. Теперь война окончилась, и он снова рассчитывал на их помощь. Кумэда досконально знал все, что было связано с освоением новых земель — от сельскохозяйственных культур до случки коров и свиней, от строительства жилья до изготовления самогона и умения обмануть начальство при взвешивании сдаваемого риса. Обучать новичков последнему он не имел права, но, как он говорил, ему и самому было странно, каким образом люди постигали это искусство, хотя прямо он никому ничего не объяснял.

Получив от Кумэды топор и пилу, я занялся заготовкой дров, одновременно продолжая осваивать участок. Сначала я срезал бамбук косой, потом мотыгой корчевал корни. До сих пор я прислушивался лишь к свисту ветра в бамбуковых зарослях и не представлял, какова земля, на которой они растут. Теперь же кое-что стал понимать. Покачиваясь на дрожащих от напряжения ногах, я поднимал мотыгу «симада»<sup>1</sup> над головой, а у этой мотыги только металлическая часть весит почти четыре килограмма, и вонзал ее в землю. Но мотыгу, словно пружиной, отталкивала целая сеть переплетенных корней. Тогда я обнажал корни, намереваясь перерубить каждый в отдельности. Р-раз!.. И снова мотыга отскакивала, чуть не вывихнув мне плечо — попала на камень величиной побольше того, какой кладут для груза в бочку с маринованной редькой. Кое-как выковыриваю камень, а под ним снова корни, снова

---

<sup>1</sup> Мотыга названа «симада», поскольку по форме напоминает прическу молодой девушки в стиле «симада» с узлом на затылке.



камни. И так целый день с утра до вечера — а результатов работы не видно. Я таскал вырытые камни к дому потом к меже на границе с соседним участком. Моя земля занимала склон, полого спускавшийся к реке. Поближе к берегу под вырытыми камнями я повсюду обнаруживал слой из песка и гальки. Образно говоря, никакого толстого слоя «мяса» в глубине не было, стояло содрать кожу, и под ней обнаруживались голые без жиринки кости. На полях Центральной Японии земля настолько обработана, что хоть выбивай на каждом обнаруженном камушке имя владельца. И хотя кто-то в трюме парохода, на котором мы плыли сюда, говорил, что земля там оскудела и требует удобрений, плодородный слой — ее мясо! уходил вглубь на несколько метров. Здесь же ступишь босыми ногами на землю — и под тончайшим слоем почвы сразу ощущаешь обломки камней, гальку и вулканический шлак. И кажется, будто стоишь не на земле, а на жестких, угловатых ребрах

Однажды Кумэда сказал:

— Самая плохая земля — это тяжелая глина. К ней не подступишься. Кислые и щелочные почвы не годятся, но если нанести на них слой земли, прорыть канавы и удобрить, в них можно вдохнуть жизнь. А попадутся тяжелые глины — тогда конец! Что на них ни посеешь, как только корни дойдут до глины — все! Они задыхаются, и растение гибнет. Вот такая она — тяжелая глина!

Мне не приходилось видеть тяжелые глинистые почвы, поэтому ничего о них сказать не могу. Но у моей земли «мясо», если можно так выразиться, было безжизненно сухое: тонкий, рассыпчатый слой черной земли. Значит, не тяжелые глины, да и Кумэда подтвердил это. Но мне было неизвестно, содержит ли она вредные, ядовитые вещества, кислая она или щелочная, покраснеет или посинеет опущенная в нее лакмусовая бумажка? Мне казалось лишь, что она достаточно жирная, раз на ней растут столь мощные стебли бамбука. По просьбе Кумэды я передал ему щепотку земли, чтобы сделать анализ в отделе освоения новых земель в Асахикаве. Теперь оставалось лишь ждать ответа. Вспоминая слова Кумэды о дырявой корзине, в которую льют воду, я с беспокойством думал о том, что и канавы для выведения вредных примесей, и плодородный слой наносной земли, и сера, и навоз — все исчезнет, уйдет в ненасытный слой песка и гравия. И мои труды по подготовке земли к будущему севу могут оказаться напрасными...

С самого утра мы с женой работали в поле. Я не читал газет не слушал радио, только работал, ел и спал на своем участке, удаленном от города на целых пять ри. Стоило прекратить работу, как заросли бамбука сразу переходили в наступление, угрожая поглотить разработанный участок. Какой толк задумываться: кислая почва или не кислая, толст ее слой или тонок — все равно ничего изменить я не мог. И я мотыжил землю до кровавых мозолей, а когда кожа на них лопалась, шел

на речку и окунал натруженные руки в воду. В воде лопнувшие мозоли теряли свой красный цвет, становились белесыми, а я держал руки в воде до тех пор, пока кожа не съеживалась и покрывалась сеткой мелких морщинок. У меня не было никаких лекарств, поэтому все мелкие ранки я просто прижигал раскаленной иглой. Индивидуальный пакет, с которым я не расставался, когда бродил среди пожарищ в Токио, оказался бесполезным. Зеленка и йод давно испарились. Не зная, какие вредные бактерии могут быть в этой незнакомой почве, я был вынужден прибегать к раскаленной игле — варварскому методу от применения которого мороз пробегал по коже.

Моя земля с двух сторон ограничивалась руслом реки и горами и с других двух — соседними участками, на которых шумели нетронутые заросли бамбука, готовые в любой момент вновь распространиться на мой участок. Чтобы не допустить этого, я начал жечь корни и вскапывать землю именно вдоль границы с соседними участками. Временами я поднимался на гору, чтобы обозреть результаты своих трудов. Я мог противопоставить этой дикой равнине лишь вскопанные полоски земли вдоль соседних участков да огонь, который с наступлением сумерек я разводил перед домом в пустой железной бочке из-под керосина. Перед домом я сложил поленницу из дров, которые заготовил в горах, а также стебли низкорослого бамбука. Утром, приказав сыну Итиро поддерживать в бочке огонь, мы с женой уходили в поле и работали до позднего вечера.

Только здесь, на Хоккайдо, я впервые испытал настоящий страх перед наступающей ночью. Особенно гнетущее впечатление вызывали сумерки. С раннего утра, обливаясь потом, я корчевал бамбук, выковыривал камни. Незаметно надвигался вечер, и вдруг наступал момент, когда я, прикоснувшись ладонями к земле, ощущал исходящий от нее холод. Солнце, которое, словно теплая кровь, растекалось по земле, внезапно переставало ее согревать и уходило за горизонт. Потом начинало холодить спину и затылок, переставал выступать пот, как бы рьяно я ни трудился. С неприятным шелестом подступавшие ко мне заросли бамбука, как и земля, горы, небо, ветер, отдалялись и затихали. Незаметно подкрадывались сумерки. Горы и земля неожиданно изменяли облик и цвет. И всегда неожиданно, словно вода из прорвавшейся плотины, со всех сторон зловеще напывала ночь. В этот миг я прекращал работу и задумывался: откуда все же приходит ночь? Со стороны гор или же с равнины, простирающейся до самого города? Я глядел и на реку — вверх по течению и вниз, — но не мог с уверенностью сказать, что ночь приходит со стороны реки. Великий миг прихода ночи на эту бескрайнюю равнину вызывал щемящее тоскливое чувство, гнетущее ощущение безысходности и одиночества. Казалось, будто кровеносные сосуды внезапно наполнились холодной водой. В этот миг, когда умолкают человеческие

голоса, перестают петь птицы и стихает ветер, мне начинало представляться, что некая неодолимая сила уносит из моего тела все соки, размягчает кости и мышцы. Подступало сомнение: а существую ли я вообще? Потому что все во мне начинало сжиматься, превращаясь в маленькую точку, а потом и она бесследно исчезала, растворяясь в пространстве...

В эти часы жена собирала камни, которые я выковыривал из земли, и относила их к реке. Видно, и на нее наводило тоску приближение ночи. Возвращаясь к нашей хижине, она говорила:

— К чему это все? Сколько ни работай — все одно и то же, одно и то же...

Я делал вид, будто не слышу ее причитаний, но во мне самом не раз закипала злость, и я мысленно возражал ей: «Ошибаешься! Не одно и то же. Разница есть!» Возражал не потому, что чувствовал уверенность. В самом деле, какая разница: пятьдесят или сто раз перекапывать землю? И все же я считал: надо копать, надо! Иначе здесь не выдержишь.

Нередко можно услышать, будто одиночество сильнее ощущаешь не где-нибудь в горах, а среди шумной толпы в большом городе. Может, это и верно, но есть и пронзающее холодом одиночество в горах, от которого можно сойти с ума. И здесь как раз именно такое место...

Однажды утром, приподняв закрывавшие вход одеяло и циновку, я рассеянно глядел на жену, варившую перед домом похлебку. Внезапно я увидел приближающуюся к нам собаку. Я заметил ее еще издалека. Она не спеша трусила от реки по тропинке, которую мы пробили, ходя за водой. Я сразу обратил на нее внимание, поскольку все остальное в округе замерло в неподвижности. Собака подошла к самой хижине и стала наблюдать за действиями жены.

— Погляди, собака! — крикнул я жене. — Должно быть, с кем-то пришла с низовьев реки.

— И верно, собака! — отозвалась жена, обернувшись, потом снова стала поспешно совать в топку стебли бамбука.

Собака обнюхала землю, склонив голову, прислушалась к шелесту бамбука и вновь стала наблюдать за женой. Внимательно разглядывая поджарую собаку, я вдруг обнаружил такое, от чего невольно ахнул и закричал жене:

— Да это же не собака!

— Разве?

— Не собака, а лиса. Лиса это!

— Неужто лиса? — Жена наконец оторвалась от кастрюли, в которой варилась похлебка.

Я встал, и, когда собирался уже выйти наружу, мои глаза встретились с глазами животного. В его прозрачных, словно стеклянные шарики, коричневых глазах вспыхивали светлые огоньки. Животное поднялось с земли, отпрыгнуло в сторону и пустилось наутек — прямо по той же тропинке, ведущей к реке.

— Где же она? Куда делась? — удивилась жена, оглядываясь.

— Испарилась, — ответила.

Я вышел из хижины и стал внимательно осматривать место, где сидела лиса. На влажной земле не осталось следов. Может, это был призрак, подумал я, но в памяти осталась острая мордочка и огоньки в глазах, сверкавшие в лучах утреннего солнца.

— Все же это была лиса, лиса, а не собака, — настаивал я.

— Может, тебе со сна показалось, — с насмешкой возразила жена.

— Нет, я как следует ее разглядел. И как только она сюда забрела?!

Беспокойство не отпускало меня. Я вернулся в хижину и вновь залез под одеяло, с тоскою думая о том, что предсказания Кумэды сбываются и вскоре может объявиться и медведь, а у нас, чтобы его отпугнуть, даже нет колокольчика, какой подвешивает к поясу почтальон. Когда мы уезжали из Токио, о медведях говорили только в шутку, и знал я о них лишь из сказаний о героических подвигах в эпоху Мэйдзи. Теперь же мне не давала покоя новая забота: как быть, если на самом деле сюда забредет медведь? Был солнечный день, но мне теперь все представлялось в мрачном свете, и я даже не сразу откликнулся, когда жена позвала есть похлебку.

Спустя несколько дней пришел нас проведать Кумэда. Он принес большую тыкву и картофель. Я рассказал ему о лисе, но он нисколько не удивился, лишь объяснил, что лисы плохо видят, зато чувят запах на большом расстоянии. Тогда я спросил его о медведях. Кумэда ответил, что отогнать медведя проще простого: если забредешь в места, где они водятся, сразу начинай громко петь. Медведи боятся человека и, услышав громкое пение, убегают. Он добавил, что сам не раз сталкивался с медведями и убедился: этот метод действует безотказно. Причем лучше распевать не «Соран-буси», а «Здесь, в сотнях ри от родной стороны», под которую легче шагать.

— Чтобы петь, как положено, «Соран-буси», надо вкладывать много силы, иначе не передашь настроение. А без настроения — какая песня! «Соран-буси» на ходу не споешь. А ведь надо уходить от зверя! — пояснил Кумэда.

Он посоветовал и моей жене распевать за работой в поле, поскольку в это время медведи бродят вокруг в поисках пищи, чтобы нарастить жирок перед зимней спячкой...

Сколько раз я ни перекапывал землю, все время натывался на камни. Конечно, проще было бы, да и быстрее, запрячь лошадей и пройтись по земле плугом, но ни того, ни другого у меня не было, и я вынужден был обходиться одной лишь мотыгой.

Наступила поздняя осень. По ночам становилось так холодно, что зуб на зуб не попадал. Я оставил жену работать в поле, а сам, прихватив одолженные Кумэдой топор и пилу, отправился

в горы заготавливать дрова. Спотыкаясь и падая среди зарослей бамбука, я подыскивал подходящие деревья, валил их, обрубал сучья и, поскольку лошади у меня не было, тащил стволы до дома на себе. Я не стал заниматься колкой дров, отложив это на потом, а пока спешил до зимы заготовить деревья целыми стволами. Так посоветовал мне Кумэда. Вокруг дома я вбил колья и освобожденные от веток стволы складывал штабелями, так что получилась своеобразная изгородь. Приятная работа, хотя и непросто было приволочь к дому срубленные деревья. Ни с чем не сравним миг, когда подрубленное дерево, ломая ветви, с шумом валилось в заросли бамбука, образуя в них сохраняющую форму дерева прогалину, а в воздухе возникал свежий запах смолы. Я ходил вокруг дерева, подрубал его то со стороны долины, то со стороны гор. Белая зарубка становилась все шире и глубже. Наконец последний удар топора — и дерево, сотрясшись от корней до макушки, наклонилось и под собственной тяжестью с шумом валилось на землю. В эти мгновения я ощущал себя то топором, то деревом, и вся сила ударов топора, вся тяжесть падающего дерева отдавались в моем теле. Обливаясь потом, я глядел на свежий срез и чувствовал необыкновенное возбуждение — и ничего, кроме этого возбуждения, в эти минуты не было ни в моем сердце, ни во всем теле. Да, такие чудесные мгновенья незабываемы!

В горах я обнаружил присутствие зайцев. Пробираясь сквозь заросли, я однажды заметил коричневый комочек, который мгновенно исчез, стоило мне приблизиться. Я внимательно осмотрел вокруг землю и среди пожухлой травы и гнилых веток нашел черный заячий помет. Но сколько я ни пытался разглядеть зайцев, мне это не удавалось — они сразу же исчезали в зарослях. И еще я заметил: чем чаще я приходил валить лес, тем реже встречал заячий помет. Я все же решил раздобыть эти коричневые комочки, изобиловавшие белками и жиром. Правда, я ни разу не видел, как ловят диких животных, но мне доводилось читать, как роют ямы-западни на звериных тропах, как ставят капканы, но разве отыщешь заячьи тропы в здешних бамбуковых джунглях? Стоит зазеваться, и своих-то следов не найдешь! И я решил: где найду заячий помет, там и вырою яму. Зная, что зайцы высоко прыгают, я решил рыть ямы поглубже, чтобы они не смогли оттуда выбраться. Каждую яму я прикрывал сверху хворостом и палыми листьями и старался уничтожить свои следы и человеческий запах. Для изготовления силок я использовал проволоку, которой были обмотаны привезенные мною доски, отшлифовал, чтобы она лучше скользила, сделал из проволоки в середине петлю, а концы прикрутил к стволам соседних деревьев. От бамбука я отказался, опасаясь, что попавший в петлю заяц может выдрать его с корнем, и решил использовать только деревья. Их-то заяц никакими силами из земли не выдерет. Установив силок, я тщательно обтирал проволоку и ствол дерева травой, чтобы

заглушить человеческий запах. Перед силком я высыпал несколько кукурузных зерен, потом засомневался: не насторожит ли это зайцев? И наконец решил: рассыплю кукурузу возле части силков, а остальные оставляю как есть.

Теперь, отправляясь в горы, я, помимо топора, прихватывал с собой мотыгу и моток проволоки. Когда надоедало валить деревья, я тщательно разглядывал землю в поисках заячьего помета и, найдя его, начинал рядышком рыть яму глубиной почти по пояс. Потом забрасывал ее сверху ветками, насыпал тонкий слой земли и прикрывал опавшими листьями. Вырытую землю и камни старался отнести подальше. А где-нибудь поблизости от ямы устанавливал также силок, тщательно протерев травой и землей проволоку. Силок ставил в таких зарослях, что порой сам не мог его обнаружить и лишь по счастливой случайности не попадал в него ногами. Кукурузные зерна из экономии решил больше не сыпать.

Я подумывал о том, где бы еще раздобыть питательную еду, и обратил внимание на реку. До сих пор, подгоняемый работой в поле, я пользовался рекой лишь для пополнения запасов питьевой воды, да еще мыл в ней мотыгу. А теперь решил выяснить: не водится ли в реке рыба? Покончив с рытьем ям и установкой силков, я спустился к реке. Походил вверх и вниз по течению, прячась среди прибрежных зарослей, и высматривал рыбу. Вода в реке была прозрачная, и я увидел тени рыб, мелькавших близ лежавших на дне камней. По вечерам рыбы, увлекшись охотой на насекомых, выскакивали из воды, всплескивали, пуская по воде круги. У меня не было ни удочки, ни лески, ни крючков, но к осени река обмелела, и я, кое-что придумав, окликнул жену:

— Как ты относишься к жареной в соевом соусе форели? Кажется, я смогу тебя угостить жареной рыбкой. Принеси-ка ведро.

— Зачем изводить человека сказками, когда в животе урчит от голода? — недовольно сказала уставшая за день жена, но, когда увидела, что я снял башмаки и повыше засучил штаны, не скрывая удивления, спросила:

— Неужели и вправду мы поедем рыбку?

— Не веришь — не надо! Правда, вода холодная — вмиг можно подхватить ревматизм. Эх, сейчас форель жирная — представляешь, как она будет шипеть на сковородке!

Я повел жену и сына к реке, присмотрел подходящее место и полез в воду. Жена подносила мне камни, а я выкладывал из них в воде запруду. Река основательно обмелела, и потребовалось немного времени, чтобы перегородить ее. Правда, вода была ледяная, и через полчаса у меня уже зуб на зуб не попадал и ноги сводило от холода. Я велел жене собрать плавник и сухие ветки и развести на берегу костер. Когда становилось невмоготу, я выскакивал из воды, обогревался у огня — и снова в воду. От таких резких перемен тепла и холода мою кожу,

казалось, пронзали тысячи игл, но я все же работу закончил. Спустя пару дней, когда спугнутая рыба вернулась, я стал возводить такую же запруду чуть ниже по течению. Рыба оказалась запертой между двумя запрудами. Чтобы не просачивалась вода, я обмазал щели между камнями глиной. Вечером я сходил к реке и убедился: рыба, не ведая, что она оказалась в стоячей воде перекрытой реки, по-прежнему плескалась и играла, гоняясь за насекомыми. Остальное было проще простого: проделать небольшое отверстие в нижней запруде, через которое рыбе не проскочить, постепенно спускать через него воду и вычерпывать ведром рыбу с обмелевшего между запрудами участка. Извозившись в иле и промокнув до костей, я все же за полдня наловил таким образом почти полное ведро форели и бычков — по большей части мелочь, но попадались и крупные. Впервые за последний год, а то и полтора я видел столько живой рыбы. Мы наелись до отвала жареной и вареной рыбы, а остальную очистили, обжарили и повесили вялиться на солнце — про запас на зиму. Не знаю, насколько питательна форель, но, когда я снял с огня роняющую капли жира рыбу и попробовал, она буквально растаяла во рту, и я физически ощутил, как содержащийся в ней жир, белок, фосфор, кальций и прочие полезные вещества горячей волной распространились по моему телу.

У жены увлажнились глаза, и она ела, тихонько вскрикивая:

— Ах, как вкусно! Никогда ничего подобного не пробовала. Даже дрожь пробирает.

### 3

До снега Кумэда еще дважды побывал у нас. Не могу точно назвать дни, когда он приходил, как не могу указать дату, когда впервые выпал снег. Календаря у меня не было, не было и часов, которые я обменял в городе на доски и гвозди. Вначале я пытался отмечать дни, делая зарубки на столбе внутри нашей хижины, как поступали герои приключенческих романов, оказавшиеся на необитаемом острове или в тюрьме. Но, уставая от работы на участке и заготовки дров, я нередко забывал делать зарубку, а иногда дважды отмечал один и тот же день и в конце концов совершенно запутался и бросил это занятие. В жизни все происходит далеко не так, как описывается в романах. Да и в таком месте, где мы оказались, не столь уж необходимо иметь календарь и часы, отмечать каждый отрезок времени.

Однажды Кумэда принес нам продукты — остатки выделенного нам старожилками риса, картофеля и кукурузы, а также печурку и соль. Это было по-настоящему приятным сюрпризом. Особенно привела нас в восторг соль. Можно пережить отсутствие мисо<sup>1</sup> и соевого соуса, но без соли обойтись нельзя. По

<sup>1</sup> Мисо — бобовая паста.

словам Кумэды, это была соль из разбомбленного склада в Хакодате. Долго судили-рядили, как с ней поступить, потом решили распределить ее между поселенцами. Соль была черная, спекшаяся и твердая как камень. Я попытался отколоть кусочек, но пришлось прибегнуть к помощи топора. Когда Кумэда привез нам продовольствие и сбросил мешки с телеги, благодарности нашей не было предела. Ошалев от радости, мы кружились вокруг Кумэды, пока не ввели его в смущение. Печурка была не настоящая, чугунная, а из согнутого листа железа, но к ней была труба, и, откровенно говоря, она явилась для нас спасением.

— На Хоккайдо зимы суровые. Можно жить впроголодь, но без печки нельзя. Куда ставить? — спросил Кумэда, вытирая струившийся по лицу пот.

Пригнувшись, он внес печурку внутрь и поставил на пол, в самом центре нашей лачуги. Есть ли в мире еще такие люди, как Кумэда, подумал я.

Когда я сказал ему об этом, он покрутил печурку, устанавливая ее поплотнее, потом ответил:

— Я здесь ни при чем. Печурка от муниципалитета, по распределению. Я выполняю лишь свою работу, за которую мне платят жалованье, и не стоит меня благодарить. Это лишнее. Принеси-ка трубу.

Воспользовавшись приходом Кумэды, я попытался выудить у него последние городские новости, но он по природе был человеком неразговорчивым, и я из его коротких реплик толком ничего не узнал. Очень кстати муниципалитет прислал печурку, а крестьяне выделили для нас продовольствие, но мне хотелось узнать, как устроились остальные поселенцы, завербовавшиеся в Токио, как обстоят дела в городе и многое другое. За полдня общения с Кумэдой мне удалось все же кое-какие новости из него вытянуть: часть поселенцев переехала на участки нашего поселка Верхнецелинный, но некоторые все еще жили у крестьян и помогали им в поле; из Америки прибыл генерал Макартур, который теперь выше императора. Он и ростом выше. На фотографии в газете, где они сняты рядом, император Макартуру по плечо: стоит ссутулившись, с открытым ртом; американские солдаты то ли появились, то ли в ближайшие дни придут в Саппоро и Хакодате; после только что окончившейся войны они очень возбуждены и ведут себя неприлично, поэтому, говорят, будто женщинам приказано не выходить из дома, а в Асахикаве им вроде бы выдан цианистый калий — на крайний случай; в Асахикаве, Саппоро, Отару и других городах появились черные рынки. На этих рынках будто бы можно купить все, чего душа пожелает; вернувшиеся на родину солдаты из отрядов особого назначения и молодые резервисты ходят в белых шелковых кашне и полусапожках, всех задевают, заводят ссоры и драки; в Саппоро и Хакодате стало больше проституток; говорят, на улицах появились амери-



канские машины — джипы. Они носятся по городу на огромной скорости; правда, Кумэда пока не видел ни Макарура, ни солдат из отрядов особого назначения, ни проституток, ни джипов. Обо всем этом он знает из газет да из рассказов других людей, поэтому он подумывает в ближайшие дни, прихватив из дома еды, отправиться в город и поглядеть на все собственными глазами; говорят, что на черном рынке прямо на улице пекут и продают рисовые лепешки со сладкой фасолевой начинкой, около этих продавцов всегда толпы народа, и они гребут деньги лопатой. Кумэда рассказал, что все поезда сейчас переполнены солдатами, возвращающимися из Маньчжурии, Китая и стран Южных морей. В префектуре переполох — не знают, как их устроить: домов нет, а если есть жилье, то нет работы. Свободных участков земли тоже нет. В поездах не хватает мест, и солдаты взбираются на крыши вагонов. Были случаи, когда при въезде в туннель им отрывало головы. Люди прошли войну, остались живы, а здесь погибают из-за глупой случайности. Жалко! Жизнь-то у человека одна. Еще говорили, будто американские полицейские отправились арестовывать Тодзио, а тот, чтобы не попасться им в руки, выстрелил из пистолета себе в живот. Правда, рана оказалась не смертельной, и все это походило на хорошо разыгранный фарс. Все же Тодзио себе прострелил живот, а император этого не сделал. Конечно, не ему, Кумэде, судить о таком человеке — он все же император, и, наверное, у него голова лучше варит, чем у Тодзио...

Нехотя поведав эти новости, Кумэда захватил свою косу и отправился в город. Я пошел его провожать, и, пока мы шагали вдоль реки, он научил меня, как ловить зайцев, как сушить скошенную на сено траву и многому другому. Что касается зайцев, то по краям силка надо привязать тяжелые поленья. Он рассказал, что в горах растет подбел и его корни можно употреблять в пищу, что барсука надо выкуривать из норы дымом, а, когда он выскочит, добивать палкой. Прощаясь со мной, он поглядел на небо и сказал:

— Не знаю, когда смогу снова прийти. Вы тут держитесь, не падайте духом.

Он смутился от собственных слов, его лицо, похожее на выдубленную, покрытую рубцами кожу, слегка искривилось, и он, не оглядываясь, пошел вдоль реки. Я остановился, провожая его взглядом. Потом Кумэда, что-то вспомнив, вернулся назад, ухватил меня толстыми пальцами за ухо и, притянув к себе и указывая на реку, с веселой улыбкой шепнул:

— Когда кета пойдет на нерест, ты ее палкой... — Потом скороговоркой добавил: — Я тебе ничего не говорил.

Кумэда, видимо, советовал мне заняться незаконным ловом рыбы. Я долго глядел ему вслед, пока его все уменьшавшаяся фигурка не исчезла вдали.

И снова я каждый день перекапывал поле, заготавливал в горах дрова, ловил в реке рыбу. Вскоре похолодало, и в

природе многое стало меняться. С деревьев опали листья, лес стал неприветливым, вода в реке теперь была настолько холодной, что больше минуты в ней не выдержишь. Кета так и не появилась, да и форель и бычков в ледяной воде не очень-то половишь. Небо стало грязно-серым, река свинцовой, трава пожухла, исчезли птицы, не появлялась больше и лиса. От всего вокруг веяло чем-то грозным, холодным, особенно от камней и увядшей травы. Похоже, остальные поселенцы предпочли провести зиму в крестьянских сараях и кладовках — я не заметил ни одного человека, поднимавшегося сюда вдоль реки. Иногда в самый разгар валки леса в горах меня вдруг охватывало отчаяние. Я останавливался, глядел вниз на безлюдную равнину — хоть вой. Начинало казаться, будто небо и дикая равнина наступают на меня сверху и снизу и давят, давят, превращая в тонкий, жухлый листок. Ничего, как-нибудь справимся, думал я, подхватывал топор и пилу и, громко распевая, отправлялся дальше в горы. Мой голос тут же уносил ветер, и казалось, что я беззвучно открываю и закрываю рот.

Как-то вечером подул сильный ветер и сразу резко похолодало. Я подкинул охапку березовых дров в печурку. Какой-то звук заставил меня оглянуться. Я посмотрел на завешенную циновкой дверь и увидел пробивавшиеся сквозь просвет снежинки. Я вышел наружу. Там дико завывал ветер. Он сразу же кинул мне в лицо горсть снега. Снег напоминал мелкие осколки стекла. Ветер кружил мириады этих осколков, перемалывая в белую крупу, и эта крупа сотнями маленьких лезвий врезалась в кожу. Жуткая картина! Ветер то стихал, то вдруг обрушивался с такой силой, будто бил меня деревянными чурбаками. Я широко раскрыл рот, хватая воздух, и ветер тут же загнал мне в горло горсть снега, который холодной струйкой потек прямо в желудок. Кашляя и хрипя, я кинулся в темноту, быстро набрал охапку заготовленных мною заранее поленьев и, спотыкаясь на каждом шагу, вернулся в хижину. Ни лампы, ни керосина у нас не было, поэтому внутри царил тьма, освещаемая лишь отблесками горевшего в печурке огня.

— Вставай, вставай же! На улице снег, — крикнул я и, спотыкаясь в темноте то о кастрюлю, то о котел, понес к печурке дрова. Кажется, я случайно наступил и на жену. Она застонала и накричала на меня в сердцах, но тут же притихла и, беря у меня из охапки поленья, стала совать их в печь. Печурка, недовольно ворча, заглатывала через узкую дверцу дрова. Некоторое время дрова шипели, потом пламя ярко вспыхнуло, обжигая с поленьев березовую кору, и хижина наполнилась острым запахом смолы. Убедившись, что дрова разгорелись, я накинул на себя выданное мне зимнее пальто — из тех, что принадлежали бывшей Квантунской армии, — закутал сына в солдатское одеяло и усадил на колени. Ослабевший от недоедания Итиро свернулся у меня на коленях, словно дождевой червь, что-то пробормотал спросонок и снова уснул.

— Березовые дрова быстро прогорают, — сказала жена.

— Да, загораются они хорошо, но сгорают, как спички, — ответил я.

— Может, сразу подкинуть побольше?

— Не мешай! От женщины, не умеющей обращаться с огнем, один беспорядок в доме.

В ту ночь мы не сомкнув глаз поддерживали в печурке огонь, так что под конец и сама печурка и железная труба раскалились докрасна и просвечивали, словно папиросная бумага. Мы ворошили эти зловредные, как говорил Кумэда, березовые поленья, набивали ими доплна печку так, что в темноте, царившей в нашей лачуге, она светилась, как японский фонарик. И все же холод проникал сквозь заткнутые тряпьем щели пола и ледяными ножами врезался в наши зады и спины. Циновка и одеяло над входом вздувались от порывов ветра, пропуская внутрь снег. Ветер сотрясал нашу хижину. Казалось, будто в небе развязался огромный мешок с песком, который сыплется на нашу крышу. Среди грохота и завывания ветра уснуть было невозможно, и мы провели ночь, так и не сомкнув глаз.

С рассветом наступила тишина. Наша хижина, равнина, горы, русло реки — все вокруг покрывал голубовато-белый снег. Теперь уже нельзя было копать землю, ловить в реке рыбу, искать корни подбела, рыть ямы-западни. Небо то вспыхивало ослепительным блеском, то свинцовой тяжестью нависало над заснеженной землей. Иногда проносился порыв ветра, но в следующий миг все стихало, и снежинки, медленно кружа, беззвучно опускались на землю. Иногда начинало казаться, что снег падает не с неба на землю, а, наоборот, поднимается с земли в небо. Я высунул голову из лачуги и сразу почувствовал, будто ледяным широким ножом меня полоснули по шее, не пролив при этом ни капли крови. Я быстро огляделся вокруг и нырнул обратно в хижину.

— Надо топить не переставая, — сказал я жене.

Закутавшись в зимнее пальто, она лежала, свернувшись клубочком у печурки.

— Хочется спать, позволь мне поспать, — вяло пробормотала она и мгновенно уснула. Печурка дымила, поленья жалобно потрескивали. Я выскочил наружу, словно кинулся головой в пруд, и принес новую охапку дров.

Я уже упоминал, что календаря у меня не было, поэтому не могу точно сказать, когда выпал первый снег: то ли в ноябре, то ли в декабре. С тех пор снег шел ежедневно: то начиналась настоящая вьюга, то с неба медленно опускались мелкие снежинки. Нашу хижину вскоре завалило снегом, и каждое утро я брал ведро и мотыгу и откапывал вход, занесенный накануне ночью. Стоило отдалиться от хижины на несколько шагов, и уже нельзя было различить, где вход, где крыша, — перед глазами был один большой снежный ком. Когда я спустился к

реке, обратную дорогу мог найти лишь по собственным следам — других ориентиров не было. Скрылся под снегом и штабель бревен, которые я натаскал из леса на дрова. В дни, когда бушевала метель, рискованно стало ходить за водой к реке. До реки, может, и дойдешь, но обратно не вернешься — заблудишься. Все оказалось в точности, как говорил Кумэда: будто попадаешь в бутылку с молоком. В таком молочном тумане ни зги не видать уже за пять шагов. И слышны лишь вой ветра, скрип снега под ногами да собственное дыхание. Пробираясь в таком тумане можно было только на ощупь. Я попросил жену покопаться в ее тряпках и выбрать лоскутки самых ярких расцветок: красные, желтые, синие. Она сшила из них разноцветную ленту, которую я привязал к высокому шесту перед домом.

Каждый день начинался по заведенному порядку. Проснувшись утром, я первым делом высовывал руку из-под одеяла, ворошил огонь в печурке и подбрасывал несколько березовых поленьев. За ночь вода в ведре замерзала, и я ставил его на печурку, чтобы растопить лед. Умывшись, жена готовила картофельную похлебку, а я надевал зимнее пальто и шел пилить и колоть дрова. После завтрака я отправлялся к реке за водой, потом снова колол дрова. На все это уходило полдня. Часам к трем — так я предполагаю — уже начинало смеркаться. Я бросал пилу и топор, возвращался в лачугу и съедал картофельную похлебку. Потом поддерживал огонь в печурке, а жена при слабом свете пламени из открытой дверцы занималась шитьем. Итиро, забравшись под одеяло, играл с деревянной чуркой. Вскоре нас начинало клонить ко сну, и я, подкинув в печурку охапку дров, залезал под одеяло. Наутро — снова картофельная похлебка, печурка, колка дров, поход к реке за водой. Вечером снова похлебка, шитье, печурка, обмен короткими репликами с женой, сон. И так изо дня в день...

Иногда в ясную погоду, а то и в пургу приходилось идти в горы и валить лес, чтобы пополнить запас дров. Я убедился, что снег облегчает работу. Трудно, конечно, было приподнять спиленную лесину, которая, падая, глубоко уходила в снег. Зато тащить легче. Первой лесиной я уминал в снегу дорогу, по которой тащить остальные не составляло особого труда. Я решил еще более усовершенствовать дорогу, и вместе с женой мы стали таскать воду и поливать ее в морозные дни, рассчитывая, что за ночь вода замерзнет, крепко схватит снег и дорога станет как асфальтированная. Сначала вода уходила в снег, не оставляя следов. Потом кое-где снег начал смерзаться. Мы поливали водой промежутки между смерзшимися участками, и наконец от гор до самого дома протянулась чудесная ледяная дорога, по которой бревна скользили, словно сани. Зимой, безусловно, была исключена встреча с медведями. Насколько я знал, они в эту пору залезали в берлоги и погружались в зимнюю спячку. Но на всякий случай, да и для того, чтобы себя

подбодрить, занимаясь работой, я громко распевал разные песни. Наша печурка оказалась страшно прожорливой: сколько ни корми ее дровами, она преспокойно проглатывала их, превращая в огонь, дым и смолу. Поэтому запас дров приходилось все время пополнять.

Ежедневные походы к реке и в горы навели меня на мысль заняться несколько странными упражнениями: мы с женой начали тренироваться в ходьбе с закрытыми глазами. Здесь трудно было предугадать, когда начнется метель или появится молочный туман, — вот мы и тренировались, чтобы непогода не застала нас врасплох и мы смогли бы, хоть поблизости от дома, отыскать дорогу с закрытыми глазами. Всегда могла возникнуть необходимость отправиться по делам в город, но я не знал, как ориентироваться в пути. Некоторое время можно было следовать вдоль русла реки, но она вскоре сворачивала вправо, в противоположную от города сторону. Кругом была дикая равнина — ни дороги, ни тем более телеграфных столбов. В метель или в туман сразу запутаешься. Тем более если в пути тебя застанет ночь. На всякий случай мы стали приучать себя ходить прямо в одном направлении, невзирая на любую погоду. Для того чтобы выработать такую привычку, мы и стали тренироваться в ходьбе с закрытыми глазами — от дома к реке, от дома в сторону гор. Дело оказалось труднее, чем мы предполагали, и первые попытки окончились неудачей. В городе было бы проще: там можно ориентироваться по звукам, по препятствиям, лежащим на пути. Здесь же царили тишина и безлюдная снежная равнина. Закроешь глаза — и уже не разбираешь, вправо идешь или влево. Стоит оступиться — и проваливаешься в снег по пояс, а близ реки — даже по грудь.

Наблюдая издали друг за другом, мы вначале подсказывали направление:

— Вправо забрала.

— А ты вообще пошел в обратную сторону.

— Левее, левее тебе говорят, недотепа!..

Я попробовал усовершенствовать силки, как меня учил Кумэда, но ничего из этого не получилось. Я собрал все прежние силки, установленные в горах, отшифровал проволоку до блеска, потом прицепил к краям по тяжелому полену, чтобы заяц не смог утащить силок. Но так ни один зверек и не попался. В горах на свежем снегу я видел множество заячьих следов, но, как я ни старался устанавливать силки — менял места, подсыпал зерна кукурузы, — все было напрасно: зайцы обходили их стороной. Кумэда мне объяснял, что у барсука особый след: между четырех отпечатков лап — полоска, потому что он тащит брюхо по снегу. Но сколько я ни бродил по горам, такого следа ни разу не встретил.

Выволвленные в реке форель и бычки оказались для нас большим подспорьем, и мне захотелось раздобыть для еды и диких животных, но все попытки были напрасны. Должно быть,

звери чуяли, что мы хотим их съесть, и обходили силки стороной. Все они давно уже знали и сообщили в каждую нору, что здесь, в котловине, зажатой в полукольце гор, ветер разносит чужие запахи огня и грязи, которыми пропитались камни и земля.

Лишь один раз, когда я валил деревья в горах, вдалеке появилось животное. Черной тенью оно брело по гребню запорошенного снегом холма. Я напряг зрение, но так и не смог определить, была ли то лиса, дикая собака или барсук.

Я положил топор и заорал:

— Эй, эй, куда идешь?

Животное никак не отреагировало на мой окрик и, не убыстряя шага, скрылось из виду.

Вернувшись домой, я сказал жене:

— Только что видел чистый белок. Пытался поговорить с ним, а он отказался.

Жена не рассмеялась, а сердито пробормотала:

— Наверно, то был барсучок. Сейчас мороз — вот он и отправился с бутылочкой покупать сакэ<sup>1</sup>.

Морозы крепчали с каждым днем. У меня не было градусника, но и без него я чувствовал: намного ниже нуля! Вода в ведре к утру замерзала, как бы близко к печке я его ни ставил. Однажды утром я схватился за металлический чайник — и никак не мог отодрать руку. Вода, конечно, в нем промерзла до дна. Я вспомнил, как мне говорили, что лед разрывает даже железные котелки, если из них забыли вылить воду, и с тех пор я, как бы ни устал, обязательно перед сном ставил чайник с водой на печку, в которой все время поддерживал огонь. Со временем я научился, не просыпаясь, выпрастывать из-под одеяла руку и подбрасывать поленья в печь. И все же бороться с холодом, подступавшим из-под висевших над входом циновки и одеяла, было трудно. Иногда по утрам мы просыпались с ощущением, что ночью было особенно холодно. Глянешь на одеяло — а оно в снегу. Узкими, длинными белыми языками, расположение которых как бы указывало направление ветра, снег из-под двери проникал внутрь и ложился вдоль одеяла. Это напомнило мне довоенные ящики с маслом, усыпанные кристалликами льда. Когда я приподнимался со своего ложа, снежная пелена, покрывавшая одеяло, с хрустом распадалась и осыпалась на пол.

— Мы похожи на мороженую треску, замурованную в ящики, — сказал я.

— Только рыбьего жира из нас не выжмешь, — ответила жена.

Особенно больно мне было глядеть на сына. Мы, взрослые, работали, двигались, и наши движения превращались в огонь, тепло. Сыну же абсолютно нечем было заняться. Он не имел ни

---

<sup>1</sup> В Японии считают барсуков любителями спиртного и часто изображают с бутылочкой сакэ.

друзей, ни кошки, ни игрушек, ни книг. Солнце светило тускло, то и дело с неба сыпал снег, сумерки наступали рано. Утром ли, вечером — он лежал в нашей хижине под одеялом, держа в руке деревянную чурку, и хлопал глазенками. Когда мы с женой уходили работать, я поручал ему стеречь дом, носить дрова и следить за печкой, чтобы не потух огонь и не было пожара. Вечером я возвращался, таща лесину с гор, и видел, что мой Итиро стоит у хижины и бессмысленно глядит перед собой.

— Расскажи, чем занимался, пока меня не было? — спрашивал я.

— Играл.

— Что это ты вылепил? Снежную бабу?

— Нет. Нио-сама<sup>1</sup>.

Я с жалостью глядел на бесформенные, угловатые комья снега, поставленные один на другой у входа в хижину. Я заметил, что Итиро, выйдя ненадолго наружу, часто колотит палкой по снегу, потом возвращается, а спустя некоторое время снова выходит и той же палкой снова колотит по снегу. Потом, покачивая своей непомерно большой головой на тоненькой шее, безмолвно уходит в хижину. Наверно, он каждый день вот так бессмысленно колотит по снегу, подумал я.

Фосфоресцирующий молочный туман поднимается к вечеру со стороны реки, обволакивая холодом деревья, горы, небо. Все замирает. Ветер, негромко посвистывая, улетает ввысь. Все предметы теряют очертания, растворяются в тумане. Ощущение времени исчезает. Вокруг ни единой живой души — ни человека, ни зверя. Только снег, снег, снег. Снег и ветер. Я чувствую, будто заключен в одиночную камеру — огромную, безграничную, без дверей и замков! Бесчинствуют ли солдаты, демобилизованные из отрядов особого назначения, стреляет ли Тодзио себе в живот, отказывается ли застрелиться император, глупая или умная голова руководит нами, идет ли война или не идет?.. Разве от этого может что-то здесь перемениться?!

## Глава четвертая

### 1

Наступила весна, когда я выкинул камни из нашей лачуги. Хлопотное было с ними дело, но зимой они заменяли нам грелки с горячей водой. Я подбирал подходящие камни в русле реки, каждый вечер раскалял их на печурке, потом заворачивал в обрывки материи. Иногда камни раскалялись до того, что до них невозможно становилось дотронуться. Тогда я поливал их водой, чтобы немного охладить. Случалось, от воды камни

---

<sup>1</sup> Нио-сама — «стражи врат» — две статуи при входе в буддистский храм.

лопались с громким треском. От ежедневного нагревания и охлаждения камни обретали блеск и казались покрытыми лаком. Постепенно они теряли свою первоначальную угловатость, становились округлыми, гладкими. Моя кожа на руках и ногах как бы выполняла роль наждачной бумаги. После долгого употребления эти камни начинали напоминать хорошо ухоженную лысую голову без единого волоска. Однажды я побывал в доме крестьянина, решив проведать жившего у него поселенца. Так вот, в этом доме были камни, которыми пользовались для обогрева шестнадцать лет. Они уже полностью потеряли свою первоначальную форму и скорее походили на изделия из фарфора. За эти годы они столько впитали в себя жира и пота, что казалось, сожми их крепче пальцами — и из них закапают. Черные, красные, твердые или кажущиеся мягкими на ощупь — это были удивительные произведения природы и рук человеческих. Глядя на меня, крестьянин — владелец камней приподнялся со своего ложа у стены, дыра в которой была занавешена циновкой, чтобы внутрь не попадал снег, и, спросонок хлопая глазами, пробормотал:

— Никак еще один поселенец пожаловал.

С этими словами он отвернулся к стене и захрапел. Позже, когда мы все вместе сидели за столом и ели картошку, я обратил внимание на его лицо: оно все было испещрено глубокими, словно нанесенными ударами ножа, морщинами, а рот походил на небольшую, но бездонную дыру. Крестьянин ел с такой жадностью, что казалось: сколько ни кидай в его рот-дыру картофеля и кукурузы, он никогда не насытится.

Почесывая живот кривыми, как клещи, пальцами, он после долгого раздумья повторил старую-престарую крестьянскую шутку:

— Рис есть вредно. От него живот болит, потому что у каждой рисинки кончики острые.

Считая, что этим он выполнил миссию радушного хозяина, крестьянин ослабил на штанах ремень и тут же уснул.

Таким камням, как у этого крестьянина, любая непогода не страшна. Они до самой середины прокалились в поту и бедности. Такими же были и мои камни, пока длилась зима. Каждый вечер, укладываясь спать, я совал нагретые камни под одеяло, клал их между ног, на грудь, на живот. Постепенно от частого употребления они изменили цвет, обрели лоск, округлились. Меня это забавляло, тем более что в нашей лачуге ничего другого, чтобы позабавиться, не было. Наступила весна, растаял снег, и я выкинул камни за ненадобностью. Прошло несколько дней, и я с удивлением заметил, что эти камни снова стали шершавыми, потеряли свой блеск и превратились в обыкновенные булыжники. Эта метаморфоза произошла столь быстро, что я несколько раз протирал глаза, разглядывая их, пока окончательно не удостоверился: да, они снова ничем не отличаются от обыкновенных булыжников, которых полно валяется на речном



берегу Странная мысль пришла мне в голову: куда же исчезли все мои старания — целую зиму колол дрова, жег в печке, задыхался от дыма — и все впустую!

Как раз в ту пору когда я выкинул камни из лачуги остальные поселенцы, перезимовавшие у крестьян, один за другим стали появляться на своих участках. Как и я прошлой осенью, они привозили свои пожитки на телегах, поднимались вверх по течению реки и оседали на своей земле среди зарослей бамбука. Иногда они приезжали одни, иногда их сопровождал Кумэда. Так же, как и мне, он помогал им выжигать бамбук, строить жилища. Когда выдавалось свободное время, я тоже приходил к ним и объяснял, как закладывать фундамент, как восполнять нехватку в белках, ставить силки на зайцев, выкуривать из нор барсуков. Как только стаял снег, в нашу впадину прибыло пятнадцать семей, но участки были столь обширны, что человека на другом конце участка даже нельзя было разглядеть. И хотя сразу здесь обосновались почти шестьдесят человек, воздух был по-прежнему первозданно чист и прозрачен, по-прежнему насвистывал свою песню ветер и шумели заросли. Я поделился этими мыслями с Кумэдой. Он кивнул головой и сказал:

— Земли на Хоккайдо много, и люди не селятся близко друг к другу, не живут деревнями, как в остальной Японии.

Однажды я поднялся в горы, огляделся вокруг и убедился, что Кумэда прав: среди океана зарослей проглядывали прильнувшие к земле хибарки, похожие на перевернутые лодки. В отличие от остальной Японии здесь человек жил, не рассчитывая на близкое соседство, и не страдал из-за его отсутствия. Здесь он надеялся только на себя, на свои руки и ноги. А каково остальным — ему безразлично. Да и некогда ему было интересоваться другими: чуть зазеваешься, упустишь момент, а трава и заросли тут как тут — сразу поглотят плоды твоих трудов.

И все же условия, в каких мы находились, не позволяли нам действовать в одиночку, разобщенно. Мы должны были объединить свои усилия, чтобы проложить дорогу, прорыть сеть канав, нанести плодородную землю, вести переговоры с муниципальными властями. Кумэда, безусловно, со всей серьезностью относился к своим обязанностям, всегда готов был прийти на помощь, но он жил в городе, в пяти ри от нашего поселка, и к тому же должен был обрабатывать собственную землю, поэтому уповать исключительно на его поддержку было бы неразумно. К счастью, я еще прошлой осенью успел кое-как освоить свой участок и имел по сравнению с другими больше свободного времени. Вот я и взял на себя обязанность связного. Обошел все участки, где поселенцы уничтожали бурьян и строили жилища, и договорился о встрече, чтобы обсудить совместные планы на будущее. В моей хижине все бы не разместились, поэтому мы собрались под открытым небом, расстелили цинов-

ки, набрали в ведра речной воды, поставили алюминиевые кружки и тарелки с жареными бобами, купленными вскладчину, и приступили к обсуждению. Тем временем женщины принесли жаровни и, устроившись поблизости, рубили маленькими топориками тыкву для похлебки. Снег уже стаял, воздух был прозрачен и чист, солнце щедро освещало окружающие леса и горы, и казалось, будто мы сидим не на земле, а в прозрачных водах реки.

Собрались главным образом выходцы из Токио: врач, школьный учитель, чиновник налогового управления, кондитер, полицейский в отставке, владелец велосипедной мастерской и другие. Все были одеты в военную форму бывшей Квантунской армии, полученную по распределению в муниципалитете, и внешне ничем не отличались от демобилизованных солдат, которых теперь часто можно было увидеть в городе. На некоторых были меховые шапки, зимние пальто с длинными, до кончиков пальцев, рукавами, ботинки вдвое больших размеров или меховые полусапожки. Глядя на эту форму без знаков различия, на грязные и беспомощные лица, на тощие, урчащие от голода животы, я думал, не поселенцы здесь собрались, а остатки разгромленной армии.

— Разве можно разработать такую целину? — с беспокойством глядя на заросли бамбука, спросил врач, усаживаясь на циновку

— Ничего страшного, — ответил я. — Скосой, конечно, будет много мороки, а выжечь бурьян особого труда не представляет. Я ведь смог это сделать. Надо только прорубить защитные полосы, чтобы огонь не перекинулся на равнину и на лес. Установим очередь и будем помогать друг другу. А зола пойдет на удобрение.

Все разом повернулись ко мне, внимательно разглядывая мое телосложение и сравнивая со своим, и успокоенно вздохнули. Я глядел на их истощенные лица и не решался сказать, что почва здесь тяжелая и, может статься, их старания ни к чему не приведут — все равно что набирать воду в дырявую корзину. Да и сам я толком ничего еще не знал. В свое время узнают, а пока стоит ли их лишней раз беспокоить. Тем более что бежать сейчас отсюда некуда, да и работа предстоит не такая уж тяжелая. Я ведь справился! И четыре зимних месяца, плохо ли, хорошо, прожил в своей «молебне».

Главной проблемой сегодня была дорога. Если каждый кое-как сумеет построить жилище и обработать поле, то дорогу в одиночку не одолеть, здесь следовало навалиться всем вместе. Прежде всего надо было определить направление дороги и ее ширину. В долгие зимние вечера я не раз обдумывал это. Наша впадина окружена горами, как подковой. В центре ее протекает река. Участки разбросаны вдоль реки, и поселенцы будут, очевидно, строить дома поблизости от воды. Поэтому разумнее вести дорогу между домами и рекой параллельно ее руслу

Тогда дорога пройдет вдоль всего поселка. В одном учреждении я видел несколько фотографий деревни, жители которой занимались производством молока. Каждый крестьянин выставлял перед своим домом у дороги бидоны с надоенным молоком, а затем их отвозили на кооперативном транспорте на молокозавод. Когда-нибудь и мы начнем содержать коров, и это обстоятельство тоже говорило в пользу строительства дороги вдоль поселка. Следовало также решить, как вести дорогу от поселка до города. Но каждому поселенцу предстояло еще построить жилище, выжечь заросли бамбука, прорыть канавы, посеять. И получалось, что на дорогу не хватит ни времени, ни рабочих рук. Я решил прежде выслушать мнение остальных.

— Сначала надо построить дом и обработать поле, потом посеять, — сказал учитель. — Я переехал сюда несколько дней назад. Лишь сегодня закончил лачугу. Ходил к помощнику мэра, умоляя достать лес, а тот только бородку пощипывает и молчит. Пришлось продать часы и истратить все сбережения, чтобы по баснословной цене купить на черном рынке доски и гвозди. Да и с едой нелегко: вынужден отказаться от картошки и ограничиться кукурузой. Но я уже привык: у крестьян-старожилов работал как лошадь, а ел одну кукурузу, которой они кормят свиней и лошадей.

— Завтра, кажется, будет ясный день. Пожалуй, начну выжигать бурьян, — пробормотал владелец велосипедной мастерской.

— Дорога нужна, но с ней можно и повременить, — сказал оставшийся полицейский. — Что мы сейчас по ней возить будем? Ни молока, ни картошки, ни тыквы у нас пока нет.

— А если вдруг кто заболеет? — возразил кондитер.

— Ну, это не страшно, — вступил в разговор врач. — У меня была частная практика в Токио, пока в дом не попала бомба. Поэтому я и оказался здесь, в этом богом забытом месте. Теперь руками, ворошившими человеческое нутро, я вскапываю землю, а вместо скальпеля ворочаю мотыгой. И вот оказывается, кроме обработки собственной земли, придется этими же руками еще дорогу строить. Нет уж, увольте! Другое дело, если кто-либо из вас заболеет. Я готов осмотреть, определить болезнь и уж по крайней мере смогу посоветовать, класть ли на больное место горячее или холодное.

— Тыквенная похлебка готова, — сообщили женщины.

Мы сразу же прекратили споры и стали хлебать водянистый супчик. Я медленно ел и думал: может, кур развести?

Итак, с дорогой вопрос отложили, и до поры до времени приходилось добираться до города тем же путем: через заросли бамбука вдоль реки. Каждый день поселенцы трудились не покладая рук: жгли бурьян, поднимали целину. В горах теперь слышались крики людей, с треском падали деревья. Постепенно в мощной, простиравшейся до горизонта зеленой стене появились просветы. Ветер разносил дымные шлейфы, высоко в небо

поднимал обгорелые листья. Отощавшие поселенцы с налитыми кровью глазами, тяжело дыша, размахивали косами и мотыгами. Очищенная от бурьяна земля еще не прогрелась, и, когда солнце скрывалось за тучами, от нее веяло холодом. Но постепенно она все больше отходила и даже в пасмурный день уже дышала живительным теплом. Сразу из земли повывезало множество насекомых: майские жуки, божьи коровки, слепни, пчелы, гусеницы. Ужаленный слепнем врач, утирая пот с распухшего, красного лица и размахивая мотыгой, которую неумело держал в тонких, бледных руках, с восхищением повторял:

— Хороша земляца, раз в ней водится столько живности. И еще есть примета: много насекомых — год урожайный.

Но я думал иначе. Отправляясь в город для переговоров о продовольствии и семенах, я всякий раз проходил мимо полей, принадлежавших старожилам, и видел, что их земля отличается от нашей. Поднимаемые плугом пласты были плотные, влажные, отливали металлическим блеском. Я не заметил там ни камней, ни песка. Плуг врезался глубоко в землю, но и в глубине она была такая же. А у нас слой плодородной почвы был тощий — кожа да кости. Не только врач, но и отставной полицейский, владелец велосипедной мастерской, кондитер и школьный учитель, перебравшиеся недавно на свои участки, еще толком в земле не разбирались. Глядя на буйные заросли бамбука, они, наверно, считали: только на плодородной земле могут вырасти такие могучие растения. Пожалуй, они начнут думать по-иному, когда выжгут бамбук и увидят, что за почва у них под ногами. И все же окончательный ответ можно будет получить лишь после того, как Кумэда сообщит результаты проверки почвы, отправленной им в Асахикаву. А пока сколько ни раздумывай, ни гадай — все равно толком ничего не узнаешь. Я не терял надежды, но и не был настроен оптимистически. Никто из нас не представлял, какие всходы у семян, которые нам предстояло посеять, какой формы стебли и листья. Но мы этим еще не интересовались, а лишь мотыжили и мотыжили землю.

Кстати, пора было подумать о семенах. Рис, который нам выдали в муниципалитете, я закопал в снег и понемногу брал из этих запасов, чтобы варить жидкую кашу. К тому времени, когда снег растаял, кончился и рис. Съели мы и тыкву и кукурузу — до последнего зернышка. Разные заботы не покидали нас во время зимы, но в то пасмурное утро, когда я вытащил из-под снега последнюю горсть риса и разрезал последнюю тыкву, меня охватило настоящее отчаяние: словно кто-то ухватил меня за кишки и безжалостно их сжал.

Когда вокруг бушевала метель и работать было нельзя, я все дни проводил в лачуге: спал, ел, поддерживал огонь в печурке и снова залезал под одеяло. Выходил наружу лишь за дровами и справить нужду. Возвращаясь в лачугу, я оглядывался на оставленную мною на снегу жалкую кучку и думал: сейчас она,

правда в несколько странной форме, символизирует всю мою нынешнюю жизнь бедняка, ни разу не наевшегося досыта...

Запасы еды иссякли, и я зачастил в город, встречался с помощником мэра, заходил к поселенцам, устроившимся у местных крестьян, и всякий раз выпрашивал, как нищий подавание, то горсть кукурузы, то несколько картофелин. Но эти крохи шли на питание, не на семена.

— Как быть с семенами? Что посею весной? — время от времени обращалась ко мне жена.

Что я мог ей ответить? Я кутался в одеяло и раздраженно говорил:

— Помолчи. Как-нибудь обойдемся. Нужно будет — опять, как нищий, пойду побираться.

И все же мысли о семенах не давали мне покоя.

Пришла весна, растаял снег, сильнее стало пригревать солнышко, деревья и поля наливались живительными соками, по утрам над землей поднимался парок, но все это не радовало. С пустым желудком, присохшим к дрожащему от озноба позвоночнику, я отправился в город к помощнику мэра. Я потихоньку отворил дверь — лишь настолько, чтобы проскользнуть в щелочку, и, стесняясь своего попрошайничества, на полусогнутых ногах подошел к нему. Тот окинул меня презрительным взглядом и, насупив брови, спросил:

— Что? К весне аппетит разыгрался?

Нет, не буду злиться, прошу ему эту бестактность, сжав зубы, подумал я. Нерешительно приблизился к столу и стал объяснять, что на этот раз пришел не за едой, а с просьбой помочь с семенами. Помощник мэра, не удосужившись выслушать меня до конца, стал говорить, что, мол, у здешних крестьян иссякли все запасы, а еще понаехало множество демобилизованных, для них надо подыскивать участки, и ему даже передохнуть некогда, а в заключение добавил:

— Сказали бы спасибо за то, что поселили вас здесь, а вы вместо этого каждый день все с новыми просьбами: дай это, достань то! Мы и сами-то досыта не едим. Постыдились бы!

Кровь бросилась мне в голову, в ушах зазвенело, но я все же сдержался. Не следовало сейчас с ним ссориться, иначе ничего не получишь. Я снова начал ему объяснять, что пришел только за семенами, а на Хоккайдо не так уж мне хотелось ехать — нужда заставила. Я еще долго говорил, но помощник мэра, должно быть, не в первый раз все это слышал, и мои слова не произвели на него никакого впечатления. Иначе и быть не могло: какой бы он был чиновник, если бы шел навстречу всякой просьбе.

С тех пор я много раз еще приходил к помощнику мэра, беря себе в спутники то врача, то кондитера, но этот чиновник сразу же пускался в многословные объяснения и умело уходил от существа вопроса. Бывало, по дороге в город начинала от голода кружиться голова, темнело в глазах, и я часто останавли-

вался, чтобы прийти в себя. И все же снова шел в город, преодолевая казавшееся бесконечным расстояние в пять ри. Помимо всего, меня интересовало положение в городе, хотелось своими глазами поглядеть на царившие там хаос и неразбериху, почитать газеты, послушать радио. Но главной причиной все же были семена. Упустишь момент — и кончится срок сева. Встречался я и с Кумэдой, надеясь на его помощь. Но он и сам был занят на своем поле, да и рангом намного уступал помощнику мэра и не мог оказать нам поддержку. Если помощника сравнить с головой, то Кумэда был руками, исполнявшими волю головы, и не в его характере было стукнуть по этой голове, чтобы заставить ее пораскинуть мозгами. Поэтому даже когда нам удавалось затащить Кумэду к помощнику мэра, чтобы замолвить за нас словечко, эти попытки успеха не приносили. Наконец я понял, что только действуя сообща мы сможем чего-нибудь добиться. Ведь в семенах нуждался не только я, не только наш поселок, а все поселенцы, но я не представлял, как можно связаться с ними, разбросанными по бескрайним просторам Хоккайдо, куда даже почтальон не добирался. Время от времени я с некоторыми из них случайно встречался в муниципалитете, но каждый думал лишь о своем желудке! К тому же, не имея опыта в создании каких-либо кооперативов, я не знал даже, как к этому подступиться.

Однажды когда я, весь заляпанный грязью после дальней дороги, в очередной раз пришел в муниципалитет, там сидели помощник мэра и Кумэда. Завидев меня, Кумэда встал со своего места и двинулся мне навстречу. Не дав мне вымолвить и слова, он тихо сказал:

— Семена вам дадут. Кукурузу, тыкву и ячмень. Мешок есть? Тогда пойдем со мной — семена у меня дома.

Я было последовал за Кумэдой, потом поспешно вернулся к столу, за которым сидел помощник мэра, и, кланяясь в пояс, сказал:

— Премного благодарен, извините, что так часто вас тревожил своими просьбами.

— Ничего страшного. Главное — не падайте духом, — с улыбкой ответил он.

По дороге я стал расспрашивать Кумэду, откуда вдруг на нас свалилось такое счастье. Тот ответил, что и сам точно не знает, но неожиданно пришло распоряжение выдать поселенцам семена. Как всегда, он был немногословен. И все же после Настойчивых расспросов мне удалось выяснить следующее: один поселенец, съез за зиму все свои запасы, отправился к крестьянину-старожилу просить семена. Крестьянин был известный в округе селекционер, занимавшийся выращиванием новых сортов. Он даже заложил специальное опытное поле для скрещивания различных злаков. Человек он был удивительно добрый, отзывчивый и никогда никому не отказывал, о чем бы его ни просили. К тому же не брал денег. Он мог несколько дней кряду

возить на своей лошади хорошую землю для чужих участков, помогал рыть канавы. Не отказал он в просьбе и тому поселенцу и дал ему для посева ячмень. Тот насыпал мешок ячменя, принес к своей хижине и оставил у входа. Об этом прознала экономическая полиция. После длительного допроса поселенец назвал фамилию крестьянина, который дал ему ячмень. Того вызвали в прокуратуру и, как он ни пытался доказать, что поделился собственными семенами, его обвинили в продаже ячменя, скрытого от сдачи государству. Когда крестьянина ненадолго отпустили домой, он заперся, написал записку, что ни в чем не виноват, потом схватил топор, зарубил жену и детей, а себе вспорол живот ножом. Соседи, услышав душераздирающие крики, прибежали в его дом и взломали дверь. Их глазам открылась страшная картина: жена и дети уже были мертвы, а он, истекая кровью, катался от боли по полу.

— Ужасная история, — заключил свой рассказ Кумэда.

— Неужели это правда? — спросил я.

— Все это только слухи, но думаю, так и было на самом деле, — ответил Кумэда. — То ли этот крестьянин близко к сердцу принял обвинение в нарушении закона о поставках, то ли не мог стерпеть, что запятнали его честное имя... Но зачем ему понадобилось убивать всю семью? Ума не приложу.

«Как это можно, как это можно», — без конца повторял он, ходя вокруг одночашечных весов, на которых взвешивал мою долю семян. На прощанье Кумэда придвинулся ко мне вплотную и шепнул на ухо:

— Помощник мэра-то каков? Наверно, перепугался на смерть из-за этого случая — вот и решил поскорее раздать поселенцам семена, чтобы чего еще похуже не случилось.

В тот день я унес сколько мог семян в мешке из-под цемента, а за остатками пообещал зайти в ближайшие дни. Вернувшись в поселок, я обошел всех поселенцев и сообщил, что семена выделили и каждый должен пойти к Кумэде и получить их сам. Все, кто дремал в своих темных лачугах, разом проснулись, выскочили наружу, загомонили. Наутро поселенцы собрались с мешками у моей лачуги, стали расспрашивать, как удалось заполучить семена. Пришлось рассказать им то, что поведал мне Кумэда.

— Не понимаю, — пробормотал отставной полицейский, потом торопливо добавил: — Что-то здесь не так.

— Не следовало убивать детей, — после некоторого раздумья сказал врач. — Конечно, полиция на него надавила — вот кровь и бросилась ему в голову. Только зачем понадобилось и детей забирать с собой на тот свет? Нет, с этим я согласиться не могу. Никому не позволено убивать детей.

— Война кончилась, а тут на тебе... — подхватил учитель, насунив брови. Больше он ничего не сказал, лишь запустил пятерню в спутанные волосы, потом стал разглядывать серую грязь под ногтями.

Кондитер подождал, пока другие выскажутся, и нерешительно произнес:

— Каким бы вспльчивым да обидчивым человек ни был, своих детей убивать нельзя. Я так считаю.

Последним заговорил владелец велосипедной мастерской.

— Если человек решил умереть, ничто ему не помешает. Важно другое: не вспори этот крестьянин себе живот, никаких семян нам бы не дали. Этот подлец помощник мэра здорово, должно быть, струхнул: вдруг что еще случится, если будет и дальше медлить с семенами. Выходит, всякий раз, как нам понадобится что-то у него вытянуть, один из нас должен себя зарезать. Я в такие игры не играю: аппендикс мне уже вырезали, геморрой оперировали. Остальное мне пока нужно самому.

Я с удивлением подумал о том, что он высказал мысль, которая не давала мне покоя со вчерашнего дня.

Мы еще немножко пошумели, обсуждая этот случай, потом собрались и пошли к Кумэде за семенами.

На следующее утро я надумал сеять. Высыпав семена на бумажки, я стал отбирать нужные для посева и так увлекся, что не заметил, когда передо мной появился Кумэда. Я поблагодарил его за семена, но он лишь кивнул в ответ и спросил:

— Землю подготовили?

— Работа в самом разгаре. Все прямо молятся на вас, не представляют, что бы они без вас делали.

— Ничем особым я вам не помог.

— Не желаете ли испить воды?

— Спасибо, по дороге сюда попил из речки.

— У меня тоже из реки, так что вкус одинаковый. Присядьте, отдохните, пожалуйста.

— Благодарю, надо обойти участки.

Я занес семена в дом и последовал за Кумэдой. Обходя участки, Кумэда наблюдал за работой поселенцев, тактично поправляя тех, кто неумело обращался с мотыгой или косой. Кое-где еще оставались островки невыжженного бамбука, но грядки для сева уже были у всех подготовлены. С каждого участка Кумэда взял по щепотке земли, завернул в отдельные бумажки, на которых надписал имя владельца.

— Зачем это? — спросил я.

— Чтобы определить.

— Определить?

— Да, определить, какая почва. Если кислая, лакмусовая бумажка покраснеет. Сейчас выясним.

— Вы сами?

— Да.

— Но вы говорили, что отправили образцы почвы в Асахикаву.

— Отправил, но там не торопятся, и, боюсь, результатов вам придется ждать до седых волос. Вот я и решил сам проверить.



Мы вернулись в мою лачугу. Кумэда попросил алюминиевую миску, кинул в нее щепотку земли с моего поля, залил водой и несколько раз перемешал ее содержимое своим толстым, покрытым следами царапин пальцем. Потом он вытащил из кармана листок бумаги и бросил в миску. То же самое он проделал с землей, взятой у врача, кондитера, владельца велосипедной мастерской, отставного полицейского и остальных поселенцев, использовав для этого всю мою посуду. Листки были потрепанные, с приставшими к ним соломинками и крошками. Затем он сел, положил руки на колени и с выражением покорности на лице уставился на стоявшие перед ним посудыны.

— Ну как? — нетерпеливо спросил я.

— Придется немного подождать, — ответил он.

Я вышел из хижины, сходил к реке за водой, поправил поленицу и, выждав еще немного, зашел внутрь. Кумэда уже составил посуду горкой, пробормотал, что проверка окончена, и попросил вымыть миски. Я сходил к реке, перемыл все плошки, и, когда возвращался, навстречу вышел из лачуги Кумэда и сказал:

— Гляди!

Он поднес к моим глазам влажный листик бумаги, окрасившийся в бледно-розовый цвет, и еще раз повторил:

— Гляди! Эта земля не годится, и эта, и эта тоже. Вот эта земля взята с участка близ реки, но и она не годится. И та, что примыкает к горам, тоже. На такой земле сеять бесполезно.

— Скажите, земля не слишком хорошая или совсем никудышная? — еще надеясь на что-то, спросил я.

— Совсем никудышная! Так я и думал. Даже при такой простейшей проверке бумажка краснеет. Значит, земля плохая. Это — земля-людоед!

Он объяснил мне, что здешняя земля подобна корзине без дна или бочке с сакэ, у которой отсутствует затычка. Что в нее ни посеи, растения начнут желтеть и чахнуть еще до того, как завяжутся плоды. Выход только один: прорыть на участках канавы — тогда вода будет выносить из почвы вредные, ядовитые вещества — и раз в год привозить на поле плодородную землю. Чтобы освободиться от вредных веществ, понадобится не менее трех лет, так что на первый урожай можно рассчитывать лет через пять, заключил Кумэда.

С этими словами Кумэда ушел, сказав, что у него есть срочное дело. Наверно, не хотел перед всеми сказать горькие слова правды.

Надо бы собрать сейчас поселенцев, которые еще ничего не знают и изо всех сил мотыжат землю, подумал я, но вместо этого оставил семена снаружи, снял ботинки и залез под одеяло.

Вошла жена и с тревогой спросила:

— Что с тобой?

— Земля не годится, — не открывая глаз, пробормотал я.

Ни о чем больше не спрашивая, она вышла из лачуги.

Кумэда долго не приходил к нам после того, как проверил нашу землю и убедился в ее полной непригодности. Наверно, был занят работой на собственном поле. Без него все мы чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Но мы не сидели сложа руки в ожидании, когда он снова появится. Несмотря ни на что, мы все же занялись севом.

С нами, как говорится, поступили «наилучшим образом», сбаврив на Хоккайдо, как выбрасывают мусор в мусорный ящик. И даже не поинтересовались, есть ли у нас опыт работы в поле. Поэтому здесь и собралась такая странная компания: кондитер и владелец велосипедной мастерской, врач и школьный учитель. Большинство поселенцев уже научились разбираться в семенах, но еще не знали, какой формы будут выросшие из них ростки и стебли. Тем более они были в полном неведении, как сеять и как выращивать. И все же мы не могли спокойно спать в своих лачугах, глядя, как солнышко согревает пустую землю. Есть семена, есть земля — надо сеять! Мы снова перемотыжили землю, опять выбрали откуда-то вновь появившиеся камни и гальку, учась друг у друга, сделали грядки. Самое главное — двигаться. Когда тело в работе, забываешь об остальном. Хуже всего молча валяться в постели и с тоской думать о том, что тебя ожидает. Поэтому надо было заняться любой работой — лишь бы двигаться, не сидеть сложа руки. Каждый день мы выходили с мотыгами в поле, работали, обливаясь потом и подбадривая друг друга. Корчевали корни, выбирали камни и складывали их на межах. Женщины едва успевали таскать для нас чайники с речной водой. Поселенцы оживились еще и потому, что кончилась зима. Пережить дешнюю зиму с ее морозами и метелями было непросто. Поэтому, когда растаял снег, нас охватило радостное возбуждение, какого не понять жителям остальной Японии. Я и сам пережил зиму в своей лачуге и помню ощущение тревоги, беспомощности, безысходности, не покидавшее меня в зимние месяцы.

Посеяли мы семена, которые выдал нам муниципалитет: ячмень, кукурузу, овощи. Впоследствии я понял, что сеяли мы неумело: то, чего должно было хватить на целый тан, мы умудрялись посеять на одном сэ<sup>1</sup>. Я наблюдал потом, как сеяли здешние крестьяне: они медленно, но широко шагали по полю и, свободно взмахивая рукой, разбрасывали семена. Нам же, привыкшим к миниатюрным городским садикам, такой способ был непривычен. Мы старались сеять погуще, не учитывая обширности участка. Поэтому, не успев обойти и половину грядок, мы опустошили свои мешочки с семенами. И все же мы не испытывали сожаления. Просто нам, видимо, доставляло

---

<sup>1</sup> Сэ — 100 м<sup>2</sup>.

удовольствие кидать семена в теплую, влажную, созревшую для посева землю. Конечно, над нами могли посмеяться, потому что мы вели себя как несмышленные дети. Но ничего уж тут не поделаешь.

В том, что наша земля напоминает тонкую кожу с выпирающими из нее ребрами, можно было убедиться, походив по ней босиком. Но брошенные в нее семена дали всходы, и это вселило в нас радостную надежду. Поселенцы бродили по межам, исподволь поглядывая на соседское поле и сравнивая тамошние всходы со своими. Каждый день, даже не вылезая из своей лачуги, я через открытую дверь наблюдал, как кто-либо из поселенцев с выражением блаженства на лице смотрел на зеленые всходы. Я и сам выходил в поле, любуясь на вылезавшие из земли ростки, с которых не слетела еще покрывавшая семядоли коричневая кожица. Ростки бобов были зеленые, тоненькие, нежные и прозрачные, и казалось, по этим тонким, прозрачным росткам поднимались живительные соки, которые отдавала им изнемогавшая от жары земля. Пустые дотоле поля покрылись неровными, где густыми, где редкими, полосками зелени. И чудилось, будто землю заволокло тончайшим зеленым туманом.

Однако спустя некоторое время на полях все переменялось, ростки, давшие два листа, дальше перестали развиваться. Так было не только на моем поле. То же самое происходило на всех участках нашего поселка. Брошенные в землю семена проросли необычайно быстро, но потом их рост внезапно приостановился. Соки, шедшие из земли, застаивались в тонких стебельках растений, не находя выхода. Начала меняться сама окраска ростков, превращаясь из ярко-зеленой в желто-бурую. Тонкие прежде стебли странно раздулись, потеряли прозрачность, а спустя несколько дней разом поникли и сморщились, словно все жизненные соки покинули их. Не на шутку напугавшись, я выдернул один из стебельков из земли. Он сразу же распался, оставив на пальцах липкую, ослизлую массу. Увявшие стебли ложились на землю и через пару дней растворялись в ней без следа.

В эти дни, встречаясь, мы сетовали друг другу по поводу случившегося.

— Надо бы дождя! Может, прольется, — говорил кондитер.

— Ничего не получается, черт побери, а я-то мечтал о зелени, — ругался владелец велосипедной мастерской.

А доктор задумчиво бормотал:

— Да-а, скальпель и мотыга все же разные вещи.

Мне ничего не оставалось, как согласно кивать головой и горько усмехаться.

Наверно, Кумэда был прав, когда предупреждал, что земля не годится. Мы не понимали его манипуляций с мятыми листиками бумаги, рассуждений о кислой и щелочной почве. Нам было все равно, какой станет бумажка — синей или

красной, потому что мы не сознавали, чем это нам грозит. Но теперь мы окончательно убедились: в нашей почве есть ядовитые вещества! Тонкая кожица нашей земли пропитана ядом. Мы не знали, какого он цвета: желтый или красный? Ясно было одно: он просачивается между камнями и песком, поднимается из глубины и отравляет наши растения. Этим ядом были поражены земли нашего поселка, потому что на всех полях без исключения ростки пожелтели, поникли и превратились в липкую, серую массу.

По целым дням я теперь валялся в нашей лачуге, печально глядя сквозь открытую дверь на плывущие по небу облака. Жена прекрасно понимала мое состояние. Каждое утро она брала мотыгу и куда-то исчезала. За ней следовал Итиро, таща большой чайник с водой. Мне не хотелось их останавливать ни тем более смеяться над бессмысленностью действий жены. Все имевшиеся у меня семена были посеяны, в доме не осталось ни зернышка, да если бы кто и ссудил нам новые семена — все равно как ие, — проку на этой, похожей на корзину без дна земле не было бы. Сколько ни сей, всходы сгниют и исчезнут в земле без следа. Наши старания были напрасны. Наши надежды, ради которых мы пережили тяжелую зиму, развеялись как дым. А ведь из-за этих семян, которые нам выдал муниципалитет, поплатилась жизнью семья крестьянина. Мне показалась вдруг такой старомодной, такой бессмысленной причина, по которой тот крестьянин убил себя и своих близких: убил, поскольку не смог стерпеть оскорбления! И все же именно благодаря его поступку мы получили семена. Теперь, когда они бесследно исчезли, сгнули в этой ядовитой земле, невольно приходила мысль: ради чего этот крестьянин зарезал своих детей и жену, а себе вспорол живот? Здравомысленно рассуждая, никакой логической связи между тем, какие семена в какую почву сеять, и самоубийством этого человека не было. И все же когда я, беспечно валяясь на грязном полу нашей лачуги, иногда выглядывал наружу, у меня почему-то перед глазами всплывала одна и та же странная картина: крестьянин с топором на моем поле отрубает головы детям и жене, потом вспарывает себе живот и с искаженным от боли лицом катается по земле.

Когда все поняли, что ростки погибли и никаких надежд на урожай нет, после длительных хождений друг к другу и разговоров о том, как теперь быть, мы решили, поскольку опытного человека в этих делах среди нас нет, обратиться за советом к Кумэде. Возник и еще один вопрос, который одному Кумэде здесь, на месте решить не под силу: раз эта земля не годится, нельзя ли получить взамен другие участки? В условиях вербовки, с которыми нас ознакомили еще в Токио, был записан пункт, разрешающий замену участка. Это подтвердил и помощник мэра, хотя сначала всячески уваливал от ответа, не желая взваливать на себя дополнительную обузу. Поэтому имело смысл закинуть удочку насчет новых участков. Но прежде

всего надо было пригласить Кумэду. Связаться с Кумэдой отсюда, где не было ни телефона, ни света, куда даже почтальон не заглядывал, не представлялось возможным. А ждать, пока сам он заявится, — можно было прежде умереть от голода. Поэтому мы решили послать за ним кондитера. Кондитер отправился в город, и спустя неделю наконец пришел Кумэда.

Все поселенцы собрались на моем участке. День выдался ясный, но на душе у нас было пасмурно. Совет Кумэды прозвучал, как всегда, кратко, решительно и сурово: копайте канавы! Надо было прорыть два основных канала, а от них — отводные канавы на каждый участок. По этим канавам вода, вымыв из почвы вредные вещества, будет спускаться в реку. Иначе, подчеркнул Кумэда, все, что ни посеешь, сгниет. Но освободить почву от яда недостаточно, надо еще нанести плодородный слой новой земли, добавил он.

Выслушав различные мнения, мы пришли к выводу, что общими усилиями сумеем прорыть центральные каналы и отводные канавы. С новой землей было сложнее: во-первых, мы не знали, какого рода земля нужна и где ее взять; во-вторых, на чем везти — у нас не было ни лошадей, ни телег, ни грузовиков, ни прицепов, ни мотоциклов с коляской. В муниципалитете транспорт просить бесполезно. Никто не согласится возить землю, на которой ничего не заработаешь. Вот если бы заодно вывозить с участков на черный рынок овощи — это куда ни шло, но овощей у нас пока еще не было. Когда мы выложили свои соображения Кумэде, он насупил брови — видно, мы его озадачили.

Раз транспорта не было, мы решили пока завозом земли не заниматься, а рыть канавы. Но тут возник еще один вопрос: сколько времени потребуется на освобождение почвы от вредных веществ? Если месяц или два, то можно любыми средствами снова раздобыть семена и сразу же их посеять. Но даже таким несведущим людям, как мы, было понятно, что за такой короткий срок структура почвы радикально не изменится. Значит, канавы мы выроем, а потом будем сидеть сложа руки? Да и продовольствие кончается, и снова придется без конца ходить в город и кланяться ему в муниципалитете. Для того чтобы пользоваться черным рынком, у нас не было денег, а на обмен ничего не оставалось. В своем большинстве мы были погорельцами, а что удалось захватить с собой — часы, кимоно, — давно уже выменяли. Положение создавалось безвыходное. Об этом, перебивая друг друга, говорили кондитер и владелец велосипедной мастерской, врач и школьный учитель. Ишудавшие, грязные, с налитыми кровью глазами, с космами давно не стриженных волос, с урчащими от голода пустыми желудками, они кричали, перебивая друг друга, размахивали руками — и ничего уже нельзя было понять.

Кумэда сидел на расстеленной циновке — то почесывал ноги, то, уставившись в небо, жевал травинку, терпеливо ожидая.

когда улягутся страсти и они устанут от крика. Наконец все умолкли и Кумэда угрюмо сказал:

— Через полгода и даже через год после того, как будут прорыты каналы, яд из земли не выйдет. А наносить новую землю можно только раз в год, в крайнем случае — два. Так что земля станет плодородной через три, а то и через пять лет. Разговорами здесь не поможешь.

После слов Кумэды наступила настороженная тишина. Кумэда не спеша встал и пошел к реке, прихватив прислоненную к лачуге мотыгу.

— Поднимать целину везде нелегко. Погляжу, откуда рыть каналы. Идите за мной, — оглянувшись в нашу сторону, сказал он.

Нам ничего не оставалось, как последовать за Кумэдой.

Весь день Кумэда ходил по участкам, разглядывал поля, углублялся в заросли бамбука у реки, работал быстро и споро. Он указывал, откуда надо начинать основные каналы, где спускать воду обратно в реку, подробно объяснял, в каких местах рыть отводные каналы. Его советы, как всегда, были четкими и практичными. Мы следовали за ним, отмечали мотыгами направление канав, втыкали для ориентира ветки. К вечеру все наши участки были размечены и мы уже имели представление о том, как и где будет проложена вся сеть канав. Пока Кумэда находился среди нас, мы, как ни странно, забывали о бесчисленных булыжниках в земле, о поникших и пожелтевших ростках, работали быстро и уверенно. Но как ни старался Кумэда, проблемы оставались. Поэтому, решив дело с совместной работой по проводке канав, которую мы намеревались начать с завтрашнего дня, мы в то же время попросили его помочь с продовольствием и транспортом для перевозки плодородной земли и, самое главное, выяснить возможность замены участков. Мы готовы были бросить все и переехать на новые земли. Выслушав нашу просьбу, Кумэда нахмурился. Он сказал, что все подходящие земли уже распределены между поселенцами и вряд ли удастся получить хорошие участки. Если что и осталось, то либо болота, либо тяжелые глины или земли, покрытые вулканическим пеплом. На этих участках сменилось не одно поколение поселенцев, о чем свидетельствует множество межевых знаков с указанием фамилий бывших владельцев. Но никто на них подолгу не задерживался. Кроме того, муниципалитет был завален прошениями демобилизованных и эвакуированных из Маньчжурии, Китая, стран Южных морей и Южного Сахалина. Тем не менее Кумэда пообещал поговорить с помощником мэра.

— Скажите честно, есть хоть какая-нибудь надежда? — спросил я.

Кумэда задумался, поглядел на поле и ответил:

— Точно ничего обещать не могу. По-моему, везде одинаково. Здесь вы кое-что уже сделали, и многие с радостью

согласятся получить такие участки. Вам же на новом месте придется все начинать сзнова.

Слова Кумэды жестоки, но правдивы, решил я, глядя на его угрюмое лицо.

На следующий день мы приступили к рытью канав по направлениям, отмеченным воткнутыми ветками. Канавы пролегли по полям параллельно реке, пересекая каменные, песчаные и глинистые участки. Мы распределили работу в зависимости от участков: на каменные и глинистые направили тех, кто посильнее, а на песчаные — тех, кто не мог похвастать здоровьем. Мужчины рыли канавы, женщины уносили камни. Руководителя мы специально не выбирали, но по мере продвижения работ возникла необходимость в человеке, который бы учитывал вклад каждого, и мы решили возложить эти обязанности на школьного учителя. Тот рьяно взялся за дело, повязал себе голову хатимаки<sup>1</sup> и, неумело размахивая мотыгой, бегал от одной группы к другой, распоряжаясь работами.

Работали медленно, без энтузиазма. Пока Кумэда вместе с поселенцами обходил поля, все обретало смысл, создавало атмосферу спокойствия и уверенности. Стоило ему уйти, как работа начинала казаться нам бесцельной, напрасной. Кумэда обещал выяснить, не заложена ли оплата земляных работ в муниципальный бюджет, и если да, то, возможно, нам выплатят за рытье канав кое-какие деньги. О продовольствии он тоже согласился поговорить с помощником мэра. Кумэда был человеком неразговорчивым, но если уж что-то обещал, то заранее все выяснял досконально, как говорится, даже каменный мост простучивал, прежде чем сделать шаг. Поэтому его обещаниям можно было верить. Ему и верили, но не все от него зависело. По словам Кумэды, земля начнет плодоносить через три-пять лет. И поселенцев, само собой, беспокоило, как и на какие средства существовать все это время. Не засеять же без всякого смысла каждый год поле. И как пережить три, а то и пять зим без продовольствия? Выходит, снова вымалывать, словно нищим, еду в муниципалитете? Такие думы приводили всех в мрачное настроение. Поселенцы продолжали рыхлить тяжелыми мотыгами землю, не видя иного выхода, но все же не могли освободиться от мысли, что делают бесцельную работу. Она преследовала их каждодневно, ежечасно, и можно себе представить, сколь тяжело им было трудиться с утра до вечера, понимая бессмысленность своей работы. Каждый день они невольно задумывались над тем, что зря поддались уговорам правительства и приехали сюда. Где же эта прославленная «Украина Востока»? Куда девался рассыпчатый картофель и все прочие обещанные прелести Хоккайдо? Они развеялись как дым, оставив в наших душах лишь мрак разочарования. Работа

---

<sup>1</sup> Хатимаки — платок, обвязываемый жгутом вокруг головы, чтобы во время работы пот не стекал на глаза.

теперь не ладилась, не слышно было веселых песен и подбадривающих выкриков. Чуть поработав, люди садились отдыхать, отложив мотыги в сторону. Сидели, глядя перед собой налитыми кровью глазами, либо бессмысленно подбирали с земли и швыряли камни. Острый на язык владелец велосипедной мастерской то и дело отбрасывал мотыгу и разражался ругательствами:

— Дерьмо, настоящее дерьмо в чистом виде! На кой черт мы копаемся в этой дерьмовой земле — все равно толку не будет!

Само собой, его ругань разлагающе действовала на остальных, и руководивший работами школьный учитель вяло пытался его урезонить:

— Не надо так говорить! Вставай и подбери мотыгу. Не тебе одному тяжело, всем остальным тоже несладко приходится. Всем остальным тоже...

Но владелец велосипедной мастерской не ставил ни в грош его увещевания. Напротив, он смеялся в лицо учителю, демонстративно ложился прямо на землю и отдыхал.

Женщины приносили работавшим в поле мужчинам чайники с водой и котелки с похлебкой. Похлебка была такая водянистая, что мужчины, поболтав в котелке ложкой, не стесняясь других — тем более что похлебка у всех была одинаковая, — выплескивали содержимое котелков на землю.

Никакой дисциплины не соблюдалось. Почувствовав усталость, каждый отбрасывал в сторону мотыгу и, хотя остальные работали без отдыха, ложился вздремнуть либо отправлялся на реку освежиться. Были среди поселенцев и такие, кто прилежно трудился с утра до вечера. Вначале они еще реагировали на бездельников и лентяев, потом перестали обращать на них внимание и с мрачными лицами лишь автоматически копали, копали, копали. Пока люди двигались, они кое-как могли совладать с подступавшей к горлу тревогой. Только в этом они видели смысл нынешней работы.

С тех пор как Кумэда вернулся в город, от него не поступало никаких вестей, и все мы были в полном неведении, как решился вопрос с продовольствием и с оплатой земляных работ. Там, за зарослями бамбука, посверкивая солнечными бликами, текла река, шумела травами дикая равнина, посвистывал в небе ветер, и никому, по-видимому, не было дела до шестидесяти поселенцев, затерявшихся во впадине, опоясанной полукольцом гор. Умри мы голодной смертью — никто даже строчки не поместит об этом в газете, думалось мне.

И мы решили: хватит сидеть сложа руки, хватит валяться в своих лачугах, прислушиваясь к голодному урчанию в желудках, надо самим добиться в муниципалитете новых участков. Выбрав наиболее сообразительных, с хорошо подвешенным языком, мы отправили их рано поутру на переговоры с помощником мэра, освободив от рытья канав. Вернулись они поздно вечером



настолько уставшими — не просто за один день проделать по бездорожью двенадцать ри! — что едва добрались до своих лачуг и тут же свалились, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Я все же их потревожил. Сначала вежливо спросил, не слишком ли они устали, пошутил: не попалось ли дорогой что-нибудь необыкновенное — кошелек с золотом или яйца коршуна — и лишь после этого заинтересовался результатами их переговоров в муниципалитете. Поначалу создалось впечатление, что Кумэда был прав и никаких перспектив на замену участков нет. Принявший их помощник мэра попросил подождать, а сам куда-то отлучился, да так и не пришел. Тогда они обратились к самому мэру. Тот сидел красный как рак — должно быть, с похмелья, — пил чай и пошучивал: мол, на ваших землях естественных удобрений что волосков на меховой шубе, из-за этого ростки бобов, наверно, выросли толщиной с руку. Потом понес околесицу, будто токийцы большие франты — и дня без бани не могут обойтись, а вода после мытья такая питательная, что грех выливать ее в реку, вот и вам, приедем из Токио, прямой смысл принимать ванну прямо на участке и этой водой поливать землю... Нам стало ясно, что мэр принимал нас за дурачков и не собирался всерьез отнестись к нашей просьбе. Мы не поддались его шуточкам — не для того проделали столь долгий путь — и потребовали разговора на равных. Мэр расширепел, от его шутливового тона не осталось и следа. Он стал орать, что мы до конца жизни должны быть ему благодарны за оказанный нам на Хоккайдо прием. Дело шло к крупной ссоре (интересно поглядеть, чем бы она кончилась), но мы сразу смекнули, что ссориться сейчас ни к чему — только силы растратим, а цели не добьемся. Наши краснобаи немедленно изменили тон, стали жаловаться, что все всходы на полях погибли, что на нынешних землях ничего уродиться не может, и попросили выделить другие участки. Появившийся в этот момент помощник мэра усмехнулся, вытащил из ящика стола толстую пачку документов и сунул ее нам под нос. Это были прошения демобилизованных и эвакуированных из разных городов и префектур о предоставлении земельных участков.

Указывая на висевшую на стене карту, испещренную красными точками, он сказал:

— Глядите, все красным-красно. Здесь и для блохи не осталось места.

В словах помощника мэра была своя логика, но мы все же настаивали на нашей просьбе и, как договорились во время встречи с Кумэдой, заявили, что готовы отдать взамен свои участки, где уже проделана большая работа. Мы даже соглашались безвозмездно отдать с таким трудом построенные лачуги, хотя у нас не оставалось никаких средств на строительство новых жилищ: все — и деньги, и часы, и одежда — ушло на доски и гвозди для наших лачуг. Мы не становились в позу, не

плакались, а спокойно изложили мэру истинное положение вещей.

Спустя несколько дней наши представители снова встретились с помощником мэра, подробно рассказали ему о бесплодности нашей земли, о том, сколько сил мы затратили на рытье канав, но тем не менее мы согласны оставить все другим, если нам дадут новые участки. Помощник на этот раз был очень обходителен и пообещал что-нибудь подыскать. «Что-нибудь» нас не устраивало, и мы настойчиво потребовали, чтобы нам как можно скорее указали конкретные участки из тех земель, которые предусматривались для освоения. Мы даже выразили готовность на свои средства, не затрудняя муниципалитет, отправиться поглядеть на эти участки.

И что бы вы думали? Спустя неделю нам указали участки, которые мы можем осмотреть хоть завтра. Когда наши представители сообщили об этом, в поселке — давно уж такого не было! — воцарилась радостная атмосфера: люди смеялись, весело переговаривались друг с другом и даже распевали песни. Поскольку я кое-что смыслил в сельском хозяйстве, меня вместе с кондитером и бывшим шахтером решили отправить для осмотра новых участков. С нами хотел было поехать Кумэда, но в последний момент не смог из-за работы на собственном поле. Мы мало что смыслили в структуре почвы, рельефе местности и качестве воды, но по собственному опыту могли все же составить общее представление о пригодности участков, поэтому не было особой необходимости в том, чтобы нас кто-то специально сопровождал. Когда мы прибыли на участки, то сразу же убедились, что место это гиблое и нам абсолютно не подходит. Часть участков располагалась на болоте, другая — на землях, покрытых густым слоем вулканического пепла. Что касается болотистых земель, то они, как известно, считались плодородными, но здесь болото было буквально бездонное и поросло дремучими зарослями камыша. Для его освоения прежде всего нужно было проложить множество каналов, вырубить камыш и основательно осушить землю. Нашему поселку такая работа была не под силу. А сеять семена в землю, какая она есть, тоже было поздно — сезон кончался. Значит, и с севом пришлось бы ждать целый год. На участках, покрытых вулканическим пеплом, напротив, не было ни капли воды, да и вообще они для возделывания не годились. Две ночи мы провели у местного крестьянина в сарае у болота, расспрашивали старожилы и в конце концов решили вопрос о переезде отложить. По вечерам с болота поднимались полчища комаров, они лезли в глаза, уши, нос, рот, и не было от них никакого спасения. Более получаса на одном месте никто не выдерживал.

Мы даже не решились сообщить муниципалитету о результатах нашего обследования, вернулись прямо в поселок и стали снова рыть канавы. Именно в те дни поселенцы все чаще стали поговаривать о возвращении в Токио. Некоторые даже отпра-

вили родственникам письма, чтобы выяснить обстановку в столице. Да и без писем можно было догадаться, о чем думали люди, когда они бросали мотыги и, понутив голову, усаживались на межу. Некоторые не только думали, но и во всеуслышание заявляли о возвращении в Токио, и это неизбежно сказывалось на работе. Понятно еще, когда о возвращении говорили люди, у которых имелись в Токио жилье, родственники или место работы. Но из каждых десяти человек у восьми этого не было и в помине, иначе они не завербовались бы на Хоккайдо. И когда такие люди тоже заговаривали об отъезде, они это делали, должно быть, от скуки или же исключительно для красного словца. Воцарившаяся в нашем поселке атмосфера всеобщего разочарования способствовала возникновению даже авантюристических поступков. Один из них совершил владелец велосипедной мастерской. Дело началось с мелкого спора, в котором он оказался припертым к стенке. Спор вспыхнул по давно известному и проверенному опытом вопросу: способен ли человек выжить вне общества? Владелец мастерской утверждал, что способен, а когда его высмеяли, всерьез распалился и с одним из своих оппонентов заключил пари. На следующий день он ушел из поселка, взяв из дома лишь коробок спичек и пустой котелок. Все крайне встревожились и стали с пристрастием допрашивать жену, куда он подался. Та ответила: сказал, что на некоторое время уйдет в горы, пусть, мол, она ждет и о нем не беспокоится; ничего не взял, кроме спичек и котелка, и ушел в чем был одет; сказал еще, что в горах будет питаться кореньями подбела да змеиными яйцами. Мы спросили: не дала ли она ему в дорогу нож и немного риса? Она ответила, что муж захватил с собой только кухонный нож, а от риса, соли и прочего отказался, заявив, что это было бы нарушением условий заключенного им пари. Жена, испытывая стыд за поступок мужа, теперь брала мотыгу и вместо него ходила рыть канавы.

Никто не знает, на что способен человек, когда его крепко прижмет, подумал я.

Спустя десять дней владелец велосипедной мастерской вернулся. Он был весь в грязи, щеки обросли жесткой щетиной. Посчитав, что оппонент проиграл пари, он заставил его отдать ему одну тыкву. Жена владельца велосипедной мастерской потом жаловалась, что с возвращением мужа в их лачуге появился странный, неведомый запах.

### 3

Однажды в наш поселок заглянул бывший мастер по изготовлению циновок, с которым мы в свое время вместе отправились на Хоккайдо с вокзала Уэно. Здесь ему достался участок на севере, далеко в горах, куда он сразу же уехал. С тех пор за всю

зиму мы ни разу не встречались, да и некогда было — время и силы уходили на разработку целины.

Циновочник, раздвигая заросли, подошел со стороны реки к тому месту, где мы рыли очередную канаву.

— Как пережил зиму? — спросил кто-то из нас.

— Кое-как перемучился, трудноато пришлось, — ответил он.

— Нам здесь тоже досталось.

— Меня там чуть медведь не загрыз.

— Ты видел медведя?

— Если бы только видел...

— Ну и ну!

— Мне посчастливилось: должно быть, меня он оставил на закуску.

Услышав такое, все вылезли из канавы и окружили циновочника.

Судя по его рассказу, загнали его в самую глушь. В их местности все участки располагались на крутых склонах. Осенью прошлого года он начал строить жилище и одновременно подрабатывал, помогая крестьянину-старожилу в уборке урожая. Когда он увидел, как выкопанная картошка сама по себе покатилаь вниз по склону, ему стало не по себе. К счастью, у него на участке оказалось много леса — он и дом себе построил бревенчатый и приторговывал дровами. Нанимал у крестьян сани и отвозил дрова на продажу в город. За дрова хорошо платили, так что он был сыт, ел вдоволь тыкву и даже приобрел керосиновую лампу.

— Значит, вы жили при свете? — с завистью воскликнул я.

Циновочник замялся и смущенно сказал:

— Ну, лампа-то самая что ни на есть неказистая, да и от ежедневного потребления тыквы у меня руки и ноги пожелтели.

— Завидуем вам. У нас, к сожалению, столько тыквы не было, так что кожа осталась прежней.

Хотя циновочник, судя по всему, не голодал, на его долю выпало другое испытание: встреча с медведем. До меня доходили разные слухи о медведях, и, работая в поле, я на всякий случай пел песни, чтобы их отогнать, если они окажутся поблизости. Но повстречаться с медведем мне, к счастью, не довелось. А вот циновочник и его друзья столкнулись с медведем лицом к лицу. Поздней осенью занятые заготовкой дров в горах они даже не заметили его приближения. Вдруг один из мужчин с криком бросился бежать. Циновочник оглянулся и увидел, как прямо на него мчится черная глыба. Он бросил топор и побежал. Время было к вечеру, он потерял дорогу и оказался в зарослях бамбука на берегу реки. Он споткнулся и, падая, заметил, что медведь нагоняет бежавшего следом за ним поселенца. В следующую секунду раздался душераздирающий вопль. Циновочник замер среди зарослей, боясь шевельнуться. Медведь, видимо, настиг поселенца и стал

его пожирать. Чиновничек буквально рядом слышал сопение зверя, хруст перемалываемых костей.

— Тогда я впервые узнал, что медведь с живота начинает есть человека — там внутренности, самая мягкая часть. А я думал только об одном и повторял про себя: скорее уходи, скорее уходи! После того как медведь ушел, я целых два часа лежал в бурьяне не двигаясь — будто ноги и руки парализовало, — сказал он.

Заметив, какое впечатление произвел на нас его рассказ, чиновничек умолк и стал равнодушно перебирать пальцы на босых ногах.

— Да, гиблое место, — заключил он и умолк.

— Куда хуже! — поддержал его отставной полицейский. — А как поступили с тем, кого растерзал медведь?

— Похоронили, а вдову и детей отправили в Токио. Накололи дрова и продали их в городе, чтобы собрать им деньги на проезд. Я видел людей, попавших под трамвай или сгоревших от зажигательных бомб, но человек, растерзанный медведем, нечто особое: живот будто вытопан и все нутро перемешано с грязью...

Мы хотели о многом расспросить чиновничка и, расположившись вокруг него на берегу реки, пожевывая травинки, ковыряя в ушах и бросая в реку камушки, стали задавать ему вопросы. Рассказ чиновничка был невеселый. Его участок занимал крутой горный склон, и воду туда нельзя было подвести. Земля тоже не отличалась плодородием. Единственный плюс — лес на участке. Он пилил деревья, колол дрова, которые продавал в городе, и на эти деньги жил. Валить деревья было несложно, но как корчевать огромные пни? И все же он не решался отказаться от участка, хотя претендентов было хоть отбавляй: погорельцы, эвакуированные, демобилизованные. Каждый день прибывали поезда, переполненные жажущими поселиться на Хоккайдо. У чиновников муниципалитета голова шла кругом: одного пристроят, а за ним стоят еще десять просителей. Да и крестьяне-старожилы держат ухо востро: стоит поселенцу уехать, они тут же стараются прирезать к себе его участок.

— В муниципалитете на каждого вновь прибывшего ассигнована значительная сумма на разработку новых земель. Встретишь местного чиновника на улице — он сразу начинает жаловаться на трудности с устройством поселенцев, на перенаселенность Японии, а ведь ему из бюджета тоже кое-что сладенькое перепадает. Точно! Так что они не теряются, — заключил чиновничек.

Он поведал нам одну необыкновенную историю, которая, в общем-то, смахивала на правду. Однажды они отправились в муниципалитет просить денег на строительство домов, но им наотрез отказали. Тогда они решили подпоить нужного чиновника, но все же добиться своего. Легко сказать: подпоить! Гнать

самогон запрещалось законом, а на покупку сакэ на черном рынке не было денег. Тогда все отправились в лес, заготовили побольше дров, свезли их в город, а на полученные деньги купили на черном рынке две бутылки такого самогона, от которого глаза на лоб лезут. Потом отправили посыльного за чиновником. Когда тот приехал, его вышли встречать всем поселком — от малых детей до старух. Усадили его на почетное место и стали потчевать самогоном и осьминогами в маринаде, тоже купленными на черном рынке. Самогона было мало, поэтому остальные незаметно наливали себе в кружки обыкновенную воду. Дальше все шло своим чередом: песни, пляски, аплодисменты. Нелегко пить воду, а потом во все горло орать песни, но они прилежно исполнили «Гору Бандай в Айдзу», «Гинза-марш» и «Жизнь коротка — давай любить друг друга, крошка». Потом троекратным ура проводили чиновника домой. Однако, разглядывая вздувшиеся от воды животы поселенцев, он все же догадался, что перед ним просто разыгрывают спектакль: Несмотря на выпитое спиртное, он возвращался домой в подавленном настроении, а спустя неделю снова появился в горах и принес деньги. Он сказал, что здесь лишь десятая часть того, что они просят, но большего он раздобыть не смог. Все радостно загалдели и предложили еще раз «обмыть» такое событие, но чиновник замялся и прозрачно намекнул, что готов составить им компанию, когда поселенцы смогут пить спиртное покрепче.

Мы весело посмеялись над этой историей, а чиновничек сердито сказал:

— В общем, мы вели себя как бедные крестьяне-водохлебы в истинном смысле этого слова. Да так оно и есть на самом деле. — Чиновничек улыбался, но глаза на его осунувшемся лице были печальны.

Может быть, он несколько и приукрасил события, но его рассказ звучал правдоподобно. Их там, видно, крепко прижало, раз уважающие себя токийцы пошли на то, чтобы разыграть подобную сцену перед чиновником.

— Да, у вас там котелок в а р и т, — сказал кто-то, но эти слова не вызвали веселых улыбок на наших лицах. Однако чиновничек пришел в наш поселок не для того, чтобы поведать истории с медведем и попойкой. На то была иная причина. Рассказав о ситуации, сложившейся у них в горах, и выслушав кое-что о нашем житье-бытье, он принял торжественную позу и заговорил о главном:

— Нас, поселенцев, лишившихся жилищ из-за пожаров, вызванных зажигательными бомбами, и всех тех, кому после поражения в войне негде приклонить голову, бросили сюда, словно объедки из мусорного ящика, под благовидным предлогом «освоения новых земель». Другими словами, правительство воспользовалось тем же методом, какой применялся еще в эпоху Мэйдзи. Мы, как образно выразился ваш Кумэда, ползли вдоль

рек, словно вши по швам рубашки, и наконец обосновались там, где сейчас находимся. Но припасов у вас не осталось, и вы готовы сейчас хоть землю есть, да почва у вас такая кислая, что набьет оскомину. Говорят, будто даже на самой плохой земле можно выращивать гречиху, но у нас в горах, думаю, и гречиха вряд ли уродится. Поселку дали название, но почтальон по-прежнему сюда не ходит, врачей нет, школы нет. Табака не купишь. Мисо нет, так что, если захочется мисо, готовь его сам. Понадобится в город, тащись сквозь заросли шесть ри — и еще, не дай бог, с медведем повстречаешься. Когда живешь отдельно, не видишься с друзьями, особенно сильно начинаешь чувствовать одиночество. А ведь есть семьи, которые получили участки в еще более отдаленных местах. Представляете, как они перепугались, узнав о нападении на нас медведя. А там некого даже позвать на помощь. Вот они и сидят по домам и трясутся от страха. Короче говоря, все мы сейчас раздроблены, разобщены и потому делаем половину того, на что способны. Вот и пришла мне в голову мысль: надо скооперироваться. Объединив свои усилия, мы сумеем проще добывать необходимые средства, а также и семена. Сейчас каждый действует в одиночку, поэтому и муниципалитет от нас отмахивается, не принимает всерьез. Создав кооператив, мы всем миром будем защищать свои права. Вот я и пришел к вам сегодня, чтобы посоветоваться.

По мере того как циновочник говорил, он все более воодушевлялся, его сутулая спина распрямилась, унылое выражение исчезло с лица, глаза загорелись.

— Одну стрелу можно сломать, а целый пучок стрел переломить невозможно. Сколько ни пыжиться, в одиночку среди этих зарослей не выживешь. — Закончив свою речь, циновочник встал, демонстративно выпятил грудь и одним глотком осушил поднесенную кондитером кружку воды.

Циновочнику особенно незачем было становиться в позу — мы и так были согласны с его предложением, поскольку на собственной шкуре испытали, каково в одиночку обращаться в муниципалитет с просьбами о деньгах, семенах или о замене участков. Сколько раз приходилось нам совершать долгий путь до города, а в муниципалитете только и слышали: хорошо, постараемся все сделать наилучшим образом, в ближайшее время сообщим. Да так ни с чем и возвращались в поселок. В кооперативе все может быть по-иному. Не нужно будет каждому в отдельности ходить в город, теряя драгоценное время, исчезнет и вселяющая чувство одиночества разобщенность. Поселенцы перестанут трястись от страха в засыпанных снегом лачугах: в случае надобности всегда можно рассчитывать на помощь кооператива. Сколько ни говори, что надоело, мол, общаться с людьми, — а человек не может жить вдали от себе подобных. Вот и владелец велосипедной мастерской — убежал в горы с котелком и спичками, а все же через несколько дней вернулся в поселок. Мы не на пикник приехали сюда, поэтому

единственный путь — сплотиться, чтобы не тратить силы зря. Разве в Токио поступают иначе? Тоже собираются все вместе, устраивают демонстрации, организуют движение, требуя рис, да мало ли что еще. Времена одиноких волков ушли в прошлое.

Владелец велосипедной мастерской, кондитер, врач, учитель — каждый сказал несколько слов в пользу кооператива. Циновочник удовлетворенно, словно добившийся своего проповедник, кивал головой и всякий раз прикладывался к чайнику с водой. И тут послышался голос, прозвучавший диссонансом среди общего согласия:

— Лично мне эта идея не нравится. Не по душе — и все! Я на такую коммунистическую удочку не попадусь.

Кто это говорит, удивленно подумал я, и оглянулся. Несогласным оказался полицейский. Он сидел, скрестив ноги, чуть в стороне и, пожевывая травинку, подозрительно глядел на циновочника.

— Кому нужен этот кооператив? Никакого толку от него не будет. Я против, — добавил он.

Странно, ведь полицейский всегда был в первых рядах. Вот и канавы он рыл с рвением, какому позавидуешь, подумал я. Циновочник хотел было сказать полицейскому что-то резкое, но раздумал и, глядя ему прямо в глаза, вежливо спросил:

— Значит, вы считаете: объединяться в кооператив бессмысленно? Что иное можете вы предложить?

Полицейский продолжал жевать травинку и с кислым видом произнес:

— Ничего не предлагаю. Пусть будет все как есть.

— Какой же выход? — спросил циновочник.

— А никакого. Помирать придется, как бродяге под забором. Ничего иного не остается. Если человек умрет, обязательно все соберутся, придут и такие, кого ничем иным не удовлетворишь. Даже безвестный бродяга, умерев, становится известной личностью. Уж один-то полицейский обязательно займется взглянуть на труп. Вот и мы должны поступить так же. Один ли умрет, все ли умрем либо окажемся на грани смерти — правительство испугается и не сможет обойти такой случай молчанием. Правительство это беспокоит сильнее, чем любые наскоки вашего кооператива. Иначе они с притворными улыбками сделают вид, что бескорыстно помогают нам, а на деле будут держать в полуживом состоянии. Вот я и считаю: пора вылезть из теплой водички, где нам и умереть не дают и мало-мальски сносные условия для жизни не обеспечивают, и показать им, на что мы способны. Тогда станет ясно, кто плох, а кто хорош. И лучше всего это можно доказать собственной смертью.

Циновочник опустил голову и глубоко задумался, потом смущенно поглядел на полицейского и сказал:

— В ваших словах есть резон, безусловно, есть. Создав сейчас кооператив, мы сразу наши земли не улучшим. Не думаю, что и нынешнее правительство способно на это. И придется



нам по-прежнему влечить жалкое существование. Такая опасность, безусловно, есть.

Циновочник умолк и долго разглядывал мозоли на своих ладонях, затем хитровато поглядел на полицейского.

— Вы говорите в духе наших солдат-смертников. В то же время ваши слова напоминают идею Ганди: сопротивляться непотворением. Выходит, вы вроде бы Ганди из отряда смертников?

Полицейский, прищурившись, взглянул на циновочника.

— Думайте что хотите, — сердито сказал он и умолк.

Остальные тоже притихли, рассеянно глядя перед собой и пожевывая травинки. Так дело не пойдет, решил я. В том, что говорил полицейский, безусловно, был свой резон. Ведь и циновочник сказал: с помощью кооператива мы в один день нашим участкам плодородности не прибавим, да и нынешнее правительство неспособно улучшить эти земли. Чтобы создать здесь плодородную почву, потребуется три года — не меньше. Правда и то, что собственной смертью мы можем заставить правительство серьезно задуматься над нашим положением. Но и смерть тоже не выход. Минует острый момент, и правительство снова вернется к своей прежней политике — не даст нам умереть, но и сносных условий не обеспечит. Смерть обладает силой воздействия, лишь пока труп умершего перед глазами. Гораздо труднее собрать живых людей, столкнуть их с правительством, чтобы заставить последнее призадуматься. Именно этого оно больше всего страшится. Не исключено, что результат окажется один и тот же, будем ли мы сидеть сложа руки или действовать объединенными усилиями. И все же предполагать такое заранее — одно, а убедиться в этом после того, как были предприняты действия, — совсем другое. Вот почему я считал, что есть смысл объединиться в кооператив.

Когда я высказал свою точку зрения во всеуслышание, учитель и врач сразу со мной согласились. А кондитер задумчиво произнес:

— Не очень я в этом разбираюсь, но все же говорят: человек умирает, чтобы цвели цветы и зрели плоды.

Владелец велосипедной мастерской сплунул и пробормотал:

— Так, за здорово живешь человек не может пожертвовать своей жизнью.

— Верно, верно, — подтвердил циновочник. В его глазах еще сохранялось недавнее смущение, а энергичность, с какой он утверждал, что одну стрелу переломить можно, а пучок нельзя, куда-то испарилась.

Полицейский же упорно бубнил:

— Только смерть может что-то переменить.

Вот такие возникли разные мнения, и все же я поверил, что кооператив мы создадим.

Циновочник ушел, а мы снова занялись рытьем канав. В последующие дни во время работы то и дело вновь возникал

разговор о кооперативе — тем более что от нашего поселка надо было направить представителя на подготовительное совещание. Обеспечит ли кооператив разговор с правительством на равных? Действительно ли удастся благодаря ему получить деньги, семена, удобрения? Каким образом снять помещение для конторы и нанять служащих, необходимых для нормальной деятельности кооператива? Эти и многие другие вопросы были предметом ежедневного обсуждения. Но самым важным, на мой взгляд, было ощущение душевного подъема, охватившего поселенцев. До сих пор у нас появлялся один Кумэда, а в остальное время мы имели дело лишь с зарослями бамбука, кислыми землями да снежными сугробами. И вот теперь благодаря приходу циновочника мы вспомнили, что, кроме нас, есть еще наши соратники-поселенцы, и это ослабило испытываемое нами чувство одиночества и заброшенности. Что ни говори, это было радостное ощущение. Все вспоминали рассказ циновочника о том, как его чуть не сожрал медведь, как скатывался по крутому склону вырытый картофель, какие трудности были у них с водой, — и с новой энергией принимались за работу. Я глядел, как поселенцы весело взмахивали мотыгами, и не мог сдержать чувства презрительного сожаления. Похоже, человек нередко находит опору в жизни, когда знает, что есть люди, которым приходится еще хуже, чем ему. Не исключено, что и циновочник, вернувшись к себе, в мрачных красках изобразил нашу жизнь и тем самым внушил своим односельчанам чувство душевного спокойствия и удовлетворения. Я не осуждал ни наших поселенцев, ни циновочника. Главное — восстановить душевное равновесие, а ситуация была такова, что ради этого не следовало пренебрегать любой возможностью...

Вопрос о выборе представителя на подготовительное совещание решился несколько неожиданным образом. На следующий день после ухода циновочника, когда мы отдыхали в только что вырытой канаве и по очереди пили из чайника воду, владелец велосипедной мастерской вытер губы и, указывая пальцем в мою сторону, неожиданно сказал:

— Надо ехать тебе. Ты самый подходящий человек: образованный, сообразительный, и язык у тебя хорошо подвешен.

Все согласно закивали, но я поспешно встал и возразил:

— Я отказываюсь.

— Это почему? — спросил владелец велосипедной мастерской.

— Здесь нужен человек не столько образованный и сообразительный, сколько цепкий. От одной болтовни толку мало. Нужен такой, чтобы вцепился, как бульдог, и стоял на своем до конца.

— Тогда никто из нас не подойдет. Ни учитель, ни доктор. Все ведь выходцы из Токио, а токийцы народ хитрый, на рожон не полезут, — возразил владелец велосипедной мастерской.

— А как ты сам? — спросили у него.

— Уж я-то точно не гожусь. — Он втянул голову в плечи и даже попятился.

— Почему? При твоей выдержке и стойкости ты самая подходящая кандидатура.

— Нет, я не гожусь. Чуть что не так, я сразу сбегу в горы. Ведь уже было такое.

Все дружно расхохотались, а он покраснел — должно быть, вспомнил, как провел десять дней в горах, — и лишь сердито бормотал: «Со мною ничего не выйдет».

Тогда я предложил поехать полицейскому, рассчитывая, что за эти дни его отношение к кооперативу переменилось.

Полицейский ответил не сразу. Он вылез из канавы, выплюнул травинку, которую жевал, потом уселся на землю и, придав своему круглому, мясистому лицу серьезное выражение, медленно произнес:

— Я много думал над этим и все же по-прежнему считаю, что кооператив не нужен. Следует терпеливо ждать, и тогда правительство пойдет нам навстречу. А если оно будет уклоняться, все равно надо молчать до тех пор, пока оно не обеспечит нас всем необходимым. Надо молчать, пока наше молчание не проймает этих негодяев. Болтовней делу не поможешь.

— А правительству наплевать на наше молчание. Даже если мы все порем, оно спустя какое-то время снова начнет действовать, как прежде. Правительство боится не мертвых, а живых — тех, кто решительно отстаивает свои права. А на нашу смерть ему наплевать. Япония не та страна, где власти подобающе относятся к смерти человека.

— Так-то оно так! И если вы создадите кооператив и станете давить на правительство, я тоже в стороне не останусь, но я не верю, будто что-нибудь сдвинется с места: земля ведь останется та же. Вспомните: разве семена мы получили потому, что действовали совместно? Ничего подобного! Нам их выдали, когда крестьянин зарубил свою семью и покончил жизнь самоубийством. Вот чиновники и всполошились: как бы не случилось чего еще! И выделили нам семена. Я и говорю: когда человек умирает, это чрезвычайное событие и спокойно к нему относиться не будут.

Учитель и врач попытались было уговорить полицейского, но тот твердо стоял на своем и решительно отказался ехать на совещание. Он выплюнул изо рта очередную травинку, подхватил лопату и молча отправился рыть канаву. Убедившись в бесплодности наших усилий, мы смущенно умолкли.

— Чего болтать понапрасну? Его не убедить, — пробормотал владелец велосипедной мастерской, глядя вслед полицейскому. — Пожалуй, надо ехать тебе — больше никому, — заключил он, ткнув в мою сторону пальцем.

Остальные опять согласно закивали. Так решился вопрос о представителе нашего поселка на подготовительном совещании,

и, закинув на плечи мотыги, мы отправились рыть канавы, потому что никакой другой работы у нас не было.

## Глава пятая

### 1

Я уже упоминал, как устроил на реке запруду и наловил форели и бычков. До меня, видно, здесь никто не ловил рыбу, поэтому не составляло труда поймать даже пугливую форель. Вяленая рыба оказалась для нас большим подспорьем. Мы всю зиму ели ее, понемногу добавляя к обычной пище, и я в душе испытывал искреннее чувство благодарности к наивной форели, которая так легко давалась в руки. Однажды я повез несколько рыбешек в город, чтобы попытаться счастья на черном рынке близ станции, и продал их по баснословной цене. Там в наскоро построенных бараках и лачугах продавали еду и разнообразные предметы первой необходимости. На этом импровизированном рынке всегда былолюдно. По примеру других я расстелил на земле газету и выложил на нее рыбу. Ко мне сразу же подлетел средних лет мужчина — по виду демобилизованный — и, не торгуясь, купил всю рыбу. Сунув деньги в карман, я стал бродить по черному рынку. Одни продавали гвозди, другие — соль, третьи — одежду. Я остановился перед женщиной, которая держала корзину с цыплятами, и приценился. Спустя несколько дней, я наловил еще форели, снова продал рыбу в городе, а на вырученные деньги купил цыплят, а также курицу, решив, что цыплятам с ней будет безопаснее. Кроме того, я надеялся, что курица будет нести яйца. Когда жена разглядела в моей корзине курицу с цыплятами, она чуть не сошла с ума от радости. Жена вообще безумно любила всякую живность, и даже в Токио, невзирая на бомбежки и полуголодное существование, со слезами на глазах подкармливала мышат. Она сама наколола дров, сложила из них курятник, выстелила его травой и начала ухаживать за выводком. Однажды вечером жена пожаловалась, что курица ведет себя как настоящая эгоистка. Обычно она бродит вместе с цыплятами, но стоит в небе показаться сарычу, как курица бросает цыплят и мгновенно скрывается в курятнике. Цыплята в страхе разбегаются кто куда, и тут-то их и настигает сарыч. Курица сразу чувствовала появление сарыча. Она поднимала голову, начинала дрожать и кудахтать, потом стремглав бросалась к курятнику. Жена очень переживала, когда сарыч уносил в когтях очередного цыпленка, и всячески поносила этого хищника.

— А ты подстереги его, — посоветовал я.

— Разве его заметишь? Его только курица чувствует. Она узнает сарыча, как бы высоко он ни парил в небе, и сразу начинает

голосить. Но это же дура, эгоистка! Сама скрывается, а цыплят бросает на произвол судьбы.

— Все же странно, что ты не успеваешь его заметить. Ведь прежде, чем выбрать цель, сарыч делает круги в небе. Как коршун, к примеру.

— Куда там! Однажды я услышала, как тревожно закудахта-ла курица, и сразу выскочила наружу. Погода была ясная, но, сколько я ни вглядывалась, ничего в небе не увидела. Я походила немного перед домом, но сарыч, наверно, улетел, потому что курица — вся еще взъерошенная — боязливо вышла из курятника. Сарыч такой быстрый — в миг исчез!

— Значит, не оставил ни следа, ни тени?

— Ничего смешного в этом нет. Просто обидно. Будь ружье, я бы его подстрелила. Купи хоть духовое.

— Ты попробуй поставить пугало.

— В Токио я никогда не видела сарычей. Может, в зоопарке Уэно они есть...

Разговаривая, я чувствовал, как начинают тяжелесть веки, а руки и ноги будто растворяются, впитываясь в деревянное ложе. Я погружался в сон, крыша над хижиной исчезала, открывая бескрайнее небо, в засыпающем мозгу всплывала неясная мысль: да, именно ради этого мгновения я в поте лица трудился весь день.

Спустя неделю после прихода циновочника я отправился в поселок, расположенный по другую сторону нашей котловины. Там собрались представители поселенцев, в разное время прибывших на Хоккайдо. Одни, как и я, выехали сюда накануне поражения в войне, другие приехали уже после войны. Собрались и демобилизованные, и вернувшиеся в Японию из дальних стран. Для совещания сняли Общественный дом, расположенный в небольшом городке недалеко от поселка. В зале с потолка свисала единственная лампочка, едва освещавшая помещение. Мы расположились на старых, сильно потрепанных циночках. Здесь были интеллигенты с белыми лицами и тощими затылками, и мускулистые выходцы из рабочих, и недавние солдаты, которых можно было узнать по узкой белой полоске на лбу, оставленной военной фуражкой, и узкогрудые, близорукие, сутулые личности, видимо чиновники, — об их прошлом можно было только догадываться. Рослые и хилые, могучие и слабосильные, краснощекие и с бледными отечными лицами — все они, заговаривая друг с другом, жаловались на судьбу. Глядя на них, я с особой ясностью понял, что правительство без всякого разбора старается освободиться от лишних людей, загоняя их в этот медвежий угол. Был здесь и циновочник.

Из разговоров и выступлений я понял, что все поселенцы находятся примерно в одинаковых условиях. В один голос они сетовали на отсутствие денег и семян, на бесплодность полученных ими участков. Те, кому дали равнинные участки, жаловались на то, что земля у них не родит, а они потратили столько

сил, чтобы выкорчевать бамбук и выбрать камни. Они и рады бы рыть канавы, чтобы вывести вредные вещества из почвы, но кто их снабдит продовольствием, пока они будут этим заниматься, и когда в этом случае сеять? И получается: канавы-то выроют, а урожая все равно не будет. На что тогда жить? Те, кому достались гористые участки, казались более здоровыми и упитанными благодаря продаже леса, которого пока еще было достаточно на участках, но что они будут делать, когда лес кончится? К тому же у них были свои трудности: нужно корчевать пни, оставшиеся от спиленных деревьев, а быков и лошадей, с помощью которых можно было бы это сделать, нет; отсутствовала вода, и подвести ее представлялось крайне сложным, да и от воды мало толку, если земля тощая. С чего бы ни начинался разговор, он сводился к одному и тому же: земли плохие, денег нет, семян нет. Я глядел на выступавших под одиноко висевшей лампочкой людей и думал: это сама Япония вопиет к справедливости.

Но сколько ни говори, ни выставляй на всеобщее обозрение свои беды, толку от этого мало. В конце концов все стали склоняться к тому, чтобы в первую очередь создать кооператив, прекратить посылку на переговоры отдельных краснобаев и уже от имени кооператива организованно обратиться в правительство.

— И что же получится? В нынешние времена кабинеты министров будут то и дело сменять друг друга, и поддержку мы сможем найти только в компартии или у социалистов. Хорошо, если коммунисты или социалисты придут к власти, а если нет, с нами никто и разговаривать не станет. Покажут на дверь — и в с е , — послышался из темноты чей-то голос. И сразу же посыпались возражения.

— С какой стати мы со своим кооперативом должны обращаться к коммунистам?

— Дурак! А знаешь ли ты хоть одну стоящую партию, кроме коммунистической?!

— Прекратите, прекратите! Бросьте наконец спорить.

— А я за Конгресс производственных профсоюзов. Лучше всего вступить в Крестьянский союз при Конгрессе. Другого пути нет, если здраво подходить к делу.

— Не то! Надо вести двойную игру, действовать по-хитрому. Сегодня присоединимся к одним, а увидим, что они теряют влияние, перекинемся к другим. Именно так! Голоса-то наши им вот как нужны! Все придут к нам с поклоном, будут просить, чтобы во время выборов мы за них голосовали, а мы сначала приглядимся, а потом отдадим голоса за тех, на кого по-настоящему можно рассчитывать.

— Дерьмо!

— Продажная шкура!

Я прислушивался к раздававшимся во тьме голосам и с удивлением думал: как можно так громко орать, если питаешься

одной лишь жидкой похлебкой. Откуда только силы берутся? Я не разбирался в политических партиях, поэтому лишь молча слушал выступавших. После многочасовой дискуссии кто-то сказал: не будем склоняться к поддержке той или иной партии и выберем только таких людей, которые честно отнесутся к нуждам кооператива. Большинство согласилось с этим предложением, и его внесли в резолюцию. У меня тоже возражений не было.

Когда утихли споры по этому вопросу, возник новый: чем в первую очередь заняться кооперативу? Снова началась шумиха. Одни предлагали требовать ассигнования на строительство жилищ, другие — на удобрения, третьи — на рабочий скот. В конце концов остановились на том, чтобы добиваться денег из государственной казны на продовольствие и транспортировку плодородной земли на поля. Кроме того, все сошлись на том, что без дороги не обойтись. Договорились, что каждый поселок будет строить дорогу сам, а кооператив потребует от местных муниципалитетов поденной оплаты за работу.

В тот день циновочник развил на редкость бурную деятельность. Он отвечал за повестку дня и требовал, чтобы каждый желающий выступить обращался к нему лично; если споры становились чересчур жаркими, успокаивал спорящих — в общем, трудился в поте лица. В разгар прений один из представителей задал вопрос:

— Я полностью согласен с поденной оплатой для жителей поселков, которые будут строить дорогу. Но, откровенно говоря, получается, как если бы мы строили для себя дом да еще требовали за это деньги. Разве не так?

— Именно так. Мы у себя будем строить дорогу, а правительство оплатит нашу работу. Ясно?

Задававший вопрос мужчина смутился и, переминаясь с ноги на ногу, сказал:

— Я, собственно, не возражаю, но... мы привыкли, что такие работы выполняются бесплатно, ну, как трудовая повинность. И вроде бы неловко получать за это деньги.

Циновочник отрицательно качнул головой и решительно заявил:

— Не согласен. Это наше законное право. Рано или поздно правительство должно провести дороги в каждом поселке, а мы беремся сделать их сами, своими силами. Так чего же тут странного, если мы потребуем у правительства деньги за эту работу? На то оно и правительство — денежки у него имеются. Пусть только попробует нам отказать. Не те времена!

В тот же день была принята программа дальнейшей деятельности кооператива. Вкратце она сводилась к следующему: отделениям кооператива в каждом поселке требовать у своих муниципалитетов ассигнования средств на нужды поселенцев, торопить их с исполнением данных обещаний; довести до

сведения всех жителей поселков, что члены кооператива отчисляют из своих заработков, если таковые будут, десять процентов на кооперативные нужды; правлению кооператива добиваться у правительства денежных ссуд, с тем чтобы в свою очередь ссужать деньги его членам под низкий процент; кооператив будет приобретать, давать в долг и распределять семена, удобрения, сельскохозяйственный инвентарь и рабочий скот; правлению добиваться выполнения всех пунктов условий вербовки поселенцев, которые были утверждены правительством.

Совещание окончилось, но особого воодушевления его участники не ощутили — настолько все были задавлены своими повседневными заботами. И все же оно вселило в них некоторую уверенность: теперь не каждый в отдельности, а все вместе они смогут добиваться своего у правительства.

Мы разъехались по своим поселкам и опять начались наши хождения в муниципалитет. Я теперь бывал там вместе с циновочником — наши поселки находились в подчинении одного и того же муниципалитета. У него всегда был привязан к поясу мешочек с фуражной кукурузой, которую скармливали лошадям. Грызя кукурузные зерна, мы пересекали оживленно торгующий черный рынок и входили в здание муниципалитета, где постоянно толпились просители. Один за другим подходили они к столу помощника мэра, жаловались на свою судьбу, говорили: если откажут в помощи, им остается наложить на себя руки — другого выхода нет, потому что ни риса, ни ячменя уже давно не выдавали, и семьи их пухнут от голода. Некоторые просили саженцы для обновления лесных посадок — из-за хищнических порубок во время войны на многих горных участках леса были сведены до последнего дерева. Демобилизованные обращались с просьбами о выделении участков, поскольку им негде приклонить голову. Грязные, обросшие, злые — они приходили, громко стуча солдатскими ботинками, и требовали то, о чем напоминали им урчащие от голода желудки. Помощник мэра выслушивал их, сидя за столом с полузакрытыми глазами, и со стороны трудно было понять, слушает ли он их вообще. Правда, временами он согласно кивал головой, как бы давая понять, что доводы их убедительны. В полдень он вытаскивал из одного ящика стола алюминиевую коробочку с рисом и маринованной редькой, из другого — палочки для еды, кончики которых сначала облизывал, затем опускал сначала в чашку с жиденьким зеленым чаем, потом в маленькую баночку с солью, после чего начинал оглаживать ими рис, как штукатур оглаживает мастерком цемент. Вслед за этим он отщипывал палочками кусочек рисового месива, точным движением кидал его в рот и зажмуривал глаза.

— Все понял, — приоткрыв глаза, говорил он очередному посетителю, который, переминаясь с ноги на ногу, стоял перед ним во время этой процедуры. — Давайте сюда ваши бумаги,



посоветуюсь с начальством, один я ничего не решаю. В свое время получите ответ

С этими словами помощник мэра засовывал протянутые ему бумаги в ящик с надписью «нерешенные вопросы» и снова начинал оглаживать палочками остатки риса.

Вот при каких обстоятельствах мы с циновочником раз в два-три дня приходили к помощнику мэра и вдальблывали ему в голову одно и то же: земля у нас кислая и ничего не родит, на дренажные работы требуется не менее трех лет, продовольствие кончилось, взрослые и дети ловят в реке мальков, чтобы не умереть от голода. Мы готовы строить дорогу, но обещайте нам поденную плату — это единственный выход из создавшегося положения. Мы настолько красочно описывали картину наших бед, что у самих на глазах появлялись слезы. Но помощника мэра, видимо, уже ничем нельзя было пронять. Он почесывал голову, разглядывал свои грязные ногти, безразлично кивал, но решить что-либо отказывался. Однажды циновочник, не в силах больше сдержаться, заорал на него:

— Да знаете ли вы, что все мы подохнем, если такое положение не изменится? Действительно подохнем это не шутка! Все настолько ослабели от голода, что не хватает сил даже пойти воровать. Подохнем от голода в этом бурьяне. Поглядим тогда, как вы будете преспокойно жрать свой рис с редькой. — Глаза циновочника налились кровью, на лбу вздулись вены.

Помощник мэра, ни слова не говоря, положил на стол палочки для еды, опустил подбородок на грудь и, прикрыв глаза, долго молчал. Потом тяжело вздохнул, покачал головой и пробормотал:

— Это не от меня зависит. Я один ничего не решаю.

Вначале, когда мы пытались доказать ему свою правоту, этот непробиваемый тупица говорил, что страшно занят, у него нет свободной минуты, даже чтобы поесть, что ему хватает забот, помимо проблемы освоения новых земель. Потом он изменил тактику и стал объяснять, что трудно не только поселенцам, но и всему японскому народу, поэтому не к лицу, мол, вам при таких обстоятельствах обращаться с всевозможными требованиями. Тогда мы с циновочником, сменяя друг друга, втолковывали помощнику мэра, что не собираемся отсюда бежать, а хотим превратить эту бесплодную, похожую на старое ведро без дна землю в цветущие поля, а это, безусловно, поднимет и его престиж и авторитет. Помощник сбавлял тон и начинал плакаться, что ассигнований в бюджете не предусмотрено, что приказа сверху нет и к тому же могут обидеться другие просители. Мы в свою очередь тоже плакались и, с тоской глядя в лицо помощнику, твердили о невыносимости нашего положения, с каждым разом добавляя все более чувствительные подробности, чтобы его разжалобить. В общем, это было жалкое зрелище, от которого противно становилось на душе. Мы с

циновочником были выходцами из Токио, а токийцы, как известно, не способны опираться на логику, поэтому мы воздействовали на помощника мэра мелкими, но убедительными подробностями, вроде того: а знаете ли вы, какво прожить в занесенной снегом хижине, когда у тебя на четыре дня одна тыква? А вы пробовали есть лебеду, мокричник или дикий лук?

В конце концов мы довели помощника мэра до белого каления, после чего, еще издали завидев нас, он убежал, не желая вступать в разговор. Однажды нам все же удалось припереть его к стенке, но он лишь развел руками и сокрушенно пробормотал:

— Это от меня не зависит. Одному мне это не решить.

— Хорошо, значит, вы этот вопрос решить не способны. — Глазациновочника загорелись — видно, он что-то придумал. — В таком случае мы поедем в отделение префектуры в Асахикаву. Если там согласятся с нашей просьбой, вы откроете сейф и выдадите нам деньги, не так ли? Поверьте, мы станем глядеть на вас, как на спасителя нашего, посадим на почетное место в токонома<sup>1</sup> и будем молиться на вас, как на божество в синтоистском храме. Мы отправимся к вашему начальству в Асахикаву и расскажем о нашем бедственном положении. Уверен, там нас поймут, там к нам всегда относились благожелательно.

При этих словах помощник мэра неожиданно навострил уши. Выражение его глаз переменилось, и, чтобы мы не заметили этого, он тут же прикрыл их веками. Не пытаются ли его запугать ссылками на начальство, подумал он и осторожно заметил:

— Вам никто не запрещает поехать в Асахикаву и «надавить» (с некоторых пор помощник мэра стал употреблять наши же словечки) на местное отделение, но, полагаю, это вам ничего не даст.

— Почему?

— Да потому, что над ним есть управление префектуры всего Хоккайдо, а над тем стоит еще министерство земли и леса в Токио, но и это не все. Само министерство денег вам выдать не вправе — оно должно обратиться в министерство финансов. Так что вам придется, как рыбе, идущей в реку на нерест, подниматься все выше и выше — до министра финансов, а то и до самого премьер-министра...

— И пойдем! Подумаешь — испугали! Министр финансов, министр земли и леса! Да если понадобится, мы до кого хочешь дойдем. Хоть раз, но доведем это дело до конца.

Может, потому что разговор принял несколько неожиданный оборот, помощник мэра вдруг с пафосом истинного патриота заявил:

— Верно! Кто-то должен сделать это. Так оставлять дело нельзя.

---

<sup>1</sup> Токонома — стенная ниша в японском доме.

Поздно ночью, когда мы чуть ли не на ощупь возвращались домой, раздвигая заросли бамбука, я спросил у циновочника, что будем делать. Тот ненадолго задумался и тихо, но со злостью сказал:

— Придется действовать, иного пути нет.

Некоторое время мы молча продолжали путь.

— Даже в Токио поедем? — спросил я.

— Если понадобится, и в Токио.

— И в министерство земли и леса?

— Да.

— Значит, и с министром встретимся?

— И до министра доберемся. Столкнемся лоб в лоб. А если и тогда ничего не выйдет, заберу семью и вернусь в Токио. Умирать с голоду здесь не собираюсь.

— В Токио есть где устроиться?

Циновочник не ответил.

За последнее время он сильно переменялся. Когда циновочник впервые пришел в наш поселок агитировать за кооператив, он проявил нерешительность в столкновении с бывшим полицейским. Теперь же в тяжких спорах и перебранках с этой бесчувственной куклой — помощником мэра он закалился, обрел уверенность в своей правоте. Иногда я нарушал обещание и отказывался вместе с ним идти в муниципалитет — и работы было много, да и, честно говоря, не хотелось напрасну тащиться шесть ри. Циновочник тогда отправлялся один. Осунувшийся, с потускневшим взглядом, в засаленной военной форме он упорно шел в очередной бой с помощником мэра. В эти минуты он чем-то напоминал загнанного в угол и потому отчаянно сопротивляющегося старенького зверька, потерявшего почти все силы и зубы. На обратном пути он заходил ко мне в лачугу, рассказывал о встрече с помощником мэра и снова уходил в ночную тьму, не имея при себе даже фонаря. Я глядел ему вслед и думал: откуда берется столько упорства у этого человека, забывшего, когда он в последний раз ел досыта?

Иногда он приносил брошюры о профсоюзном движении. Вытаскивая их из кармана, всегда говорил:

— Трудно мне читать. Привык иметь дело с циновками, а вот разбираться в иероглифах да в полевых работах не научился.

Газет никто из нас не выписывал, но циновочник, похоже, подбирал старые газеты на черном рынке и читал их.

Бывало, идем мы по дороге в город, а он вдруг остановится и говорит:

— По мнению компартии, не сегодня, так завтра произойдет революция и правительство будет свергнуто. Может, и правда?.. — И оглядывает зачарованным взглядом дикую равнину и небо над ней. — Тогда уж попритихнут эти негодяи в

муниципалитете. Я считаю: все равно, какое будет правительство, лишь бы едой обеспечило. Все эти чинуши похожи на летучих мышей. Во время войны на собраниях соседских ассоциаций они всех призывали самоотверженно отдаться служению родине. Война окончилась, и снова те же люди важно восседают на ответственных креслах. Я даже тех, кто торгует на черном рынке, считаю больше людьми, чем этих чинуш. Они хоть сами трудятся и рискуют собственной шкурой...

— И все же дерьмовая жизнь у чиновников. С утра до вечера только и делают, что ставят печати, — вздохнул я.

— Дерьмовая жизнь — хорошо сказано! А что с ними будет, когда произойдет революция?

— Наверно, и после революции понадобятся люди, ставящие на бумаги печати. Только, может, настроение, с каким они их ставят, будет другое. Иначе, как это ни печально, все останется по-прежнему.

— Ничего, мы их заставим обращаться с нами повежливее, иначе к стенке — и точка!

Чиновничок, видимо, вспомнил безразличное лицо помощника мэра. Он наклонился, с силой выдернул несколько травинок, сунул их в рот, но сразу же стал отплевываться.

— Черт побери, здесь, должно быть, корова прошла.

— Откуда ты взял?

— Трава мокрая и пахнет мочой. — Он отшвырнул попавший под ногу камень и, резко наклонившись вперед, двинулся дальше...

Судя по всему, надо было действовать так, как предлагал чиновничок.

После подготовительного совещания его участники возвратились в свои поселки и приступили к переговорам со своими муниципалитетами. Но результаты были неутешительные. Может быть, чиновники разных муниципалитетов не работали в тесном контакте, но одни говорили, будто расходы по поденной оплате дорожных работ включены в ассигнования на освоение новых земель, другие утверждали обратное. Тем не менее все сходились на том, что такие ассигнования будут. Таким образом, появилась, хотя и не вполне определенная, надежда на денежную помощь, но, когда мы требовали как можно скорее выделить средства, муниципальные чиновники мгновенно превращались в глиняных истуканов и ничего добиться от них было нельзя — сразу давал себя знать тот самый неистребимый «дух бюрократизма». Один заявлял, что нет еще соответствующих указаний сверху, другой — что бюджет на нынешний год полностью исчерпан, третий, которому надоели наши домогательства, лишь монотонно повторял: «Да, понимаю, но ничем помочь не могу». Приходилось выслушивать и реплики со стороны крестьян-старожил, которые приходили в муниципалитет просить удобрения или семена и краем уха слышали о наших просьбах. Слишком цацкаются с нынешними поселенцами, говорили они.

Наверно, старожилы опасались, как бы новые поселенцы не урвали для себя то, что положено им, а кроме того, им не нравилось наше поведение: мол, сами они всего добились своими руками, собственным трудом, а эти новенькие в первую очередь пускают в ход язык — давай им деньги из фонда содействия процветанию сельского хозяйства, средства на строительство домов, плати за строительство дороги — в общем, задаваки, столличные штучки, которые слишком много о себе возомнили. Правда, этих старожиллов можно отчасти понять: ведь их вынудили приехать сюда тяжкие обстоятельства — великое землетрясение в Канто, мировая экономическая депрессия, кризис в сельском хозяйстве, и им был чужд дух освоения новых земель, выражавшийся в лозунге: «Юноши, пусть вас воодушевляет великая цель!» Может, у них не было никакого желания осваивать эти земли — нужда заставила. Вот они и жили здесь, раскаляя камни и кладя их под одеяло, чтобы кое-как согреться в зимнюю пору. Но разве не те же причины вынудили и нас поселиться здесь? Причем им в ту пору еще достались лучшие земли, на которых можно было рассчитывать на хороший урожай. Так что они оказались в более выгодном положении. И, на мой взгляд, недостойно, не по-мужски первым освоителям здешних диких равнин бросать мелочный упрек новым поселенцам, оказавшимся здесь в силу тех же обстоятельств, по которым они и сами приехали на Хоккайдо. А если покопаться и в прошлом местных чиновников, то окажется, что их отцы или деды в свое время тоже осваивали здешние земли и нынешние муниципальные служащие в детстве на себе испытали тяготы поселенцев — освоителей новых земель. А теперь, сколько ни пытайся объяснить им ситуацию, они не могут, да и не хотят помочь нам. Все же мы решили обратиться в отделение префектуры в Асахикаве, а если там ничего не получится, поехать в Саппоро в префектуральное управление Хоккайдо.

Еще на подготовительном совещании чиновочник взял слово и, поблескивая своими мышинными глазками, предложил:

— Зачем ездить в Асахикаву и в Саппоро? И тут, и там нам ответят: ассигнований нет, поэтому денег вам выдать не можем. Не лучше ли отправиться прямо в Токио к главному начальству? Соберем на дорогу кто сколько может — и в путь. На мой взгляд, это самый реальный выход.

Чиновочник говорил громко, с энтузиазмом, но его в тот момент не поддержали. Для всех слишком недостижимой казалась встреча с министром земли и леса, а расстояние до Токио слишком далеким.

— Во всем есть свой порядок, — говорили одни.

— Не следует сразу лезть в самые верха, минуя отделение префектуры и саму префектуру Хоккайдо — это может только навредить, — поддержали их другие.

Итак, решили сначала ехать в Асахикаву. В моей памяти

сохранилось, как полтора года назад по дороге сюда поезд остановился на станции, и нам пришлось ночевать под открытым небом прямо на платформе. Помнится, там было много блох, которые всю ночь не давали покоя, и я удивлялся, откуда могут быть блохи на бетонной платформе. Но то был не сам Асахикава, а станция. Когда переполненные поселенцы открытые товарные вагоны, тоскливо лязгая в тишине буферами, двинулись дальше, я подумал: наверно, глухой городишко, скучно в нем было бы жить. Но и это воспоминание стерлось после того, как нам пришлось пережить зиму среди снежных сугробов.

Когда мы теперь приехали в Асахикаву, город показался нам шумным, ярким, но в чем-то ущербным, будто страдающим неизлечимой болезнью. Нас, жителей поселков, разбросанных среди безлюдной равнины, поразили толпы людей, слонявшихся на черном рынке, и многочисленные торговцы, которые, стоя впритирку друг к другу, продавали гвозди, кастрюли, солдатские ботинки, военные кители, шаровары, жареные рисовые лепешки, рис с кари, рисовую похлебку, рыбу — все, что душе угодно. Одни прямо на земле расстилали циновки и выкладывали на них свой товар, другие продавали еду в наскоро выстроенных лачугах, между которыми бродили демобилизованные, погорельцы, эвакуированные. Они, по-видимому, были в той самой одежде, какая оказалась на них в момент демобилизации, пожара или эвакуации. Стальные каски, обмотки, шаровары, поношенные пиджаки. Грязные, усталые, изможденные лица. Здесь земля пропиталась запахами огня, рыбы, мочи, жареной кукурузы, разнообразного пролитого варева. В ушах звенели громкие голоса торговцев, наперебой предлагавших свой товар. Я обратил внимание на девочку, которая, помешивая черпаком желтоватый соус кари с луком и кусочками мяса, бурливший в огромном котле, визгливо, будто бранясь, пригласила откусать рис с кари. Сбоку от нее были разложены миски и пиалы с горками белого риса. Посверкивая нахальными кошачьими глазами, девочка на умопомрачительном тохокском диалекте выкрикивала: «Дурак, кто не попробует это замечательное блюдо!» «Эй ты, съешь рис с кари — сразу станешь здоровым как бык, жену порадует!» Ее выкрики больше походили на ругательства. Демобилизованные и погорельцы, у которых в кармане свистел ветер, останавливались около этой девчонки, глотали слюну, молча вдыхали поднимавшийся из котла аромат и нехотя отходили в сторону, урча голодными желудками. Она помешивала черпаком в котле и одновременно бросала в бидон из-под керосина полученные от покупателей деньги. Заляпанный кари и зернышками риса бидон был уже переполнен, и она время от времени небрежно приминала кулаком вылезавшие купюры, не переставая при этом наполнять миски рисом и поливать его кари. Голый по пояс мужчина средних лет в коротких сапогах, какие выдавали летному составу, должно

быть ее отец, непрерывно резал мясо и лук, то и дело утирая слезившиеся глаза.

С каждым посещением черный рынок все более казался мне средоточием алчности, но в то же время тамошняя кутерьма, обилие товаров и снеди невольно притягивали к себе. Когда на станцию прибывал очередной поезд, демобилизованные, которых еще в пути предупреждали о здешнем черном рынке, выскакивали из вагонов, мчались туда и прямо на земле раскладывали шерстяные одеяла, ботинки, котелки с табаком. Их задирали местные спекулянты, поскольку появление солдат нарушало их монополию, завязывались драки, кровянились лица, выплевывались выбитые зубы... Вокруг собирались зеваки, среди них бродили старухи, продавая куски хлеба. Шустрые перекупщики покупали у них куски, разламывали пополам и снова продавали. Куда ни глянь, голодные глаза, алчные взгляды, брань, вопли. Там, где лишь недавно был пустырь с одиноким приземистым зданием почты, будто ударили волшебным жезлом о землю, и оттуда, из темных глубин, выскочили бесчисленные сонмы оборотней, таща на себе бидоны с керосином, переносные печурки, солдатские ботинки, и пустырь сразу наполнился людским гомоном и запахами разнообразной снеди. Проходя между этих своеобразных торговых рядов, я вдруг ощутил одиночество, свою непричастность к всеобщему ажиотажу, царившему на черном рынке.

— Разве кто-нибудь в этом кошмарном городе прислушается к нашим нуждам? — поделился я своими сомнениями с циновочником.

Тот не ответил. Затаив дыхание, он переводил зачарованный взгляд с одного товара на другой и бормотал:

— Вот это да! Черт поberi, вот, оказывается, где есть все, что человеку нужно.

Мы остановились в доме приятеля циновочника на окраине города. Каждый день начинался у нас с хождений по различным отделам — из сельскохозяйственного в отдел освоения новых земель, оттуда — в общий отдел. Мы встречались и с рядовыми чиновниками, и с начальством. Когда наступал вечер, мы, побродив по черному рынку, отправлялись к себе на окраину. Тишина дома и бедность приютившей нас семьи представлялись разительным контрастом черному рынку. Хозяин дома погиб на войне где-то в странах Южных морей, оставив на руках у сорокалетней вдовы двоих детей. Семья добывала себе на пропитание продажей вещей, которых в доме почти не осталось.

Вдова продала даже мебель и жила теперь среди голых, обшарпанных стен. Циновки на полу давно не обновлялись, по вечерам часто прекращалась подача электроэнергии, а свечи стоили на черном рынке недоступно дорого, поэтому все ложились спать с наступлением темноты. Вдова, видимо, страдала дистрофией, кожа на исхудалом лице казалась восковой, с

нездоровым серым оттенком на щеках. Она неслышно бродила по дому, заходя то в одну, то в другую комнату, ее движения были мягкие, осторожные, говорила она мало, видимо, экономила силы. На нее было больно глядеть. Несмотря на юный возраст детей — самое время играть и шалить, — в доме всегда царила мертвящая тишина, пахло кисловатым запахом уборной. Иногда мы случайно сталкивались с вдовой в коридоре. Она вымученно улыбалась, и на ее бледно-серых щеках собирались морщинки. Женщина сразу отворачивалась и глядела сквозь окно в сад. И сад, и сам дом, казалось, все время были погружены в сумерки. Создавалось впечатление, будто заглядываешь в старый, с помутневшими стеклами аквариум. Вдова часами, сложив на коленях руки, в одиночестве сидела либо, подложив под бок подушку, лежала в одной из комнат. Когда я случайно открывал дверь, она не спешила встать навстречу, а лишь задумчиво поднимала на меня глаза и смущенно улыбалась. Мне представилось, как однажды она возьмет детей за руки, покинет этот дом и уйдет куда глаза глядят. А потом где-нибудь на железнодорожных путях или в пруду обнаружат три трупа, и газеты даже единой строкой не упомянут о случившемся...

В асахикавском отделении префектуры нам ничего не удалось добиться. Здесь все происходило так же, как в муниципалитете нашего городка, — только масштабы иные. Наш муниципалитет просители посещали поодиночке, здесь же каждый представлял целый профсоюз или иную организацию: кооператив лесорубов, ассоциацию демобилизованных, профсоюз скотоводов и множество других. Приглядевшись к посетителям, я убедился, что у них тоже усталые, изможденные лица, грязная, потрепанная одежда. В общем, обычные люди — такие же, как мы. Правда, они вели себя более решительно, действовали не так наивно, как мы у себя в городке, угодливо не кланялись, не пугались, когда им давали отпор. Но и чиновники здесь были опытнее — такие прохвосты, тертые калачи, каких не проведешь.

Когда мы пришли в отдел освоения новых земель, тамошний чиновник то и дело хватался за телефонную трубку, назначал встречи, выходил из комнаты и в конечном счете не выслушал и сотой доли того, что мы ему говорили. Мы поинтересовались: когда можно зайти, чтобы спокойно поведать ему о наших просьбах? Чиновник сразу же сказал: приходите завтра. Но назавтра было то же самое. Чиновничок вышел из себя и заорал:

— Чего вы крутите нам головы?! Да знаете ли вы, что, если не будет помощи, весь наш поселок к концу месяца подохнет от голода? Подохнет — я не шучу! Продовольствия нет, семян нет, те семена, которые мы посеяли, не дали всходов, наш инструктор сказал, что на урожай можно рассчитывать в лучшем случае через три года...



— А мелиоративные работы провели? — прервал его чиновник.

— Делаем, вернее, собираемся делать. Прорыли канавы, выжгли бамбук, золу и собственное дерьмо используем на полях. Но что толку? Минеральные удобрения нам обещали — их нет! Много чего обещали, но эти обещания похожи на отдаленные раскаты грома на краю неба: загромыхает, а прислушаешься — снова тишина.

— К сожалению, заводы по производству удобрений большей частью были разрушены во время войны. Правда, в газетах недавно сообщали, что вскоре по всей стране они возобновят работу.

— Мы больше года не читали газет — в наши поселки почтальон не заходит. Да что там газеты! У нас даже колодцев нет.

— Вот как? — Чиновник окинул нас сочувственным взглядом. Казалось, вот-вот из его коровьих, сонных глаз закапают слезы. Наконец-то его проняло, подумали мы. Чиновник подошел к столику, на котором громоздилась груда бумаг, долго их ворошил, что-то отыскивая. — Нашел, вот она! — радостно воскликнул он, вытаскивая какую-то бумажку.

Наверно, касается нашего дела, решили мы, приподнимаясь со стульев. Чиновник сначала пробежал ее глазами, потом торжественно передал нам. Чиновничок схватил бумажку, прочитал и разочарованно протянул мне. Это была вырезка из газеты, в которой сообщалось о возобновлении работы на заводе, производящем удобрения. Заметка заканчивалась словами: «Итак, первые признаки жизни на заводе воодушевили нас. Они вселяют надежду на расцвет сельского хозяйства Японии в недалеком будущем».

Ну и старая лиса! До чего же хитер! Он во всех подробностях знает наши нужды — ведь каждый день порог его кабинета обивают просители. Понимает, что нам наплевать на содержание статейки, а все же тратит время на поиски этого клочка, будто хочет отыскать жемчужину в песчаных дюнах. Ищет, хотя сам не верит в то, что там написано, и знает, что это нас абсолютно не утешит. Воспользовавшись минутой, когда чиновника вызвали по телефону в другую комнату, я шепнул чиновничку:

— Тянет время, негодяй!

— У него мы ничего не добьемся. Это все равно, что черпать воду дырявой корзиной, — зло ответил чиновничек.

Три дня мы ходили из одного отдела в другой, спускались по лестницам, поднимались по лестницам, из коридора в приемную, из приемной в коридор, требовали, ругались, стояли в очередях просителей, встречаясь в уборной, жаловались и сочувствовали друг другу, страдали от несварения желудка, без конца жуя фуражную кукурузу, которая шла на корм лошадям, но так ничего и не смогли добиться. У чиновников на все был

готовый ответ и оправдание: знаем, без семян не обойтись, но сейчас их нет, постараемся достать и тогда обязательно выдадим; верно, без химических удобрений не обойтись, в них нуждаются не только вы, но и старожилы, и мы должны здесь подходить по-государственному: от кого быстрее будет отдача — от старожилов или от новых поселенцев? Конечно, от старожилов! Поэтому удобрения надо дать в первую очередь им, а вы уж пока потерпите; понимаем, для мелиоративных работ нужно завезти плодородную землю, но для того, чтобы ее где-то взять и доставить на поля поселенцев, нужен транспорт, а у нас нет не только грузовиков, но и мотоциклов с коляской, поэтому постарайтесь в каждом поселке пока обходиться собственными средствами; безусловно, поселок без дороги — все равно что сердце без кровеносных сосудов, дороги нужно срочно строить, и, конечно же, поденная оплата за это — прямая обязанность муниципалитета, но соответствующего приказа до сих пор из префектуры не поступило, поэтому наберитесь терпения и ждите, пока префектура не договорится с начальством в Токио. Деньги на строительство жилищ? Этот вопрос изучается, и учтите, сейчас сюда со всей страны едут демобилизованные и эвакуированные, желающие получить землю. Наверно, нам придется и в ваш поселок направить несколько десятков человек, вы уж позаботьтесь о них, окажите помощь на первых порах; помогайте друг другу, учитесь друг у друга и общими силами трудитесь на благо родины, осваивая новые земли — ведь после того, как Япония утратила свои заморские территории, наша единственная надежда — Хоккайдо, и поднимать здесь сельское хозяйство — это и великая честь, и большая ответственность; сам министр земли и леса сейчас активно занялся этой проблемой, поэтому следует ожидать, что правительство со своей стороны будет оказывать всестороннюю помощь...

Все эти доводы повторил нам вечером на третий день пребывания в Асахикаве начальник отдела освоения новых земель. Выслушав его, чиновник молча поклонился, поблагодарил за обстоятельное разъяснение, потом поднял на него изрезанное морщинами лицо и спросил:

— Министр в самом деле интересуется освоением целины на Хоккайдо?

— Конечно... Теперь, когда мы остались без заморских территорий, все, вся страна, всеми силами...

Не дослушав до конца очередную тираду начальника, чиновник медленно поднялся со стула, еще раз низко поклонился и, дернув меня за рукав, пошел прочь.

Мы сразу же отправились на станцию, примостились на подножке вагона и вернулись в поселок.

Чтобы не упустить ни одной возможности, мы побывали и в хоккайдоской префектуре в Саппоро, но вернулись ни с чем и сразу же начали готовиться к поездке в Токио. Положение поселенцев во всех районах Хоккайдо находилось на грани катастрофы, поэтому не могло быть и речи о сборе денег для отправки делегации в Токио. Муниципалитет тоже не спешил с запрошенной нами ссудой из страхового фонда. Поэтому некоторые даже продали на черном рынке собственные вещи, чтобы собрать деньги на билет. Когда я рассказал жителям нашего поселка о положении, в котором оказалась делегация, все сразу же согласились помочь и на следующий день отправились в горы валить лес на дрова, чтобы продать их на черном рынке и на полученные деньги отправить нашего делегата в Токио. С особым пониманием к нашей просьбе отнеслись владелец велосипедной мастерской, врач, кондитер и школьный учитель. Каждый день в течение недели они, захватив топоры и пилы, с раннего утра отправлялись в горы. Полицейский же первое время отсиживался в своей лачуге, снова и снова повторяя, что единственный выход — всем умереть («если умрем — соберутся люди»), что правительство само поймет необходимость помощи, а до этого незначительно обращаться с прошениями — он, мол, не какой-нибудь нищий- Попрошайка, чтобы унижаться до просьб. Когда же остальные уходили в горы, он потихоньку выползал из своей лачуги и отправлялся рыть канавы. Но на третий день он захватил топор и пошел вместе со всеми валить лес.

— Похоже, ты стал сознательным, — в шутку заметил кто-то.

Полицейский, не удостоив его ответом, продолжал работать. Он и вообще-то не принадлежал к числу разговорчивых. С угрюмым выражением лица он остервенело размахивал топором, чуть не теряя сознание от голода, и время от времени бормотал себе под нос:

— Слово «просение» составлено из двух иероглифов: «просить» и «умолять». Выходит, наше прошение означает: «извините, пожалуйста, помогите нам остаться в живых». Черт подери, почему надо, склонив голову, просить разрешения оставаться в живых?

Высказавшись таким манером, полицейский отбрасывал топор, минутку передыхал, о чем-то задумавшись, и снова брался за работу. Кстати, к каждому делу он относился серьезней, чем кто-либо другой, и выполнял его с завидной тщательностью. Однажды, желая выяснить, отчего он, бывший полицейский, с таким упорством поносит правительство, я попытался расспросить его о прошлом, но полицейский сделал вид, что не понял, и показал мне спину. Больше я к нему с расспросами не приставал. Здесь, на целинных землях Хоккайдо, было немало людей, не любивших распространяться о своем прошлом.

Циновочник у себя в поселке тоже организовал продажу

дров для сбора денег на дорогу до Токио, и мы, встречаясь на черном рынке, часто обсуждали наши планы. Главная цель — «надавить» на самого министра земли и леса. Если же с ним встретиться не удастся, тогда с заместителем министра, с начальником секретариата, с начальником отдела освоения новых земель на худой конец — короче говоря, с любым чиновником министерства, который мог бы заставить префектуру Хоккайдо открыть сейф и выдать деньги. Причем следовало иметь в виду, что здание министерства — это не лачуга в зарослях бамбука, там есть швейцар, там чиновники, для которых самое главное — «порядок», «формальности», «престиж», «документы с печатью» — без этого они и пальцем не шевельнут.

— Какой план действий следует в связи с этим принять? — спросил я у чиновочника.

— Будем действовать решительно и до конца, — ответил он, подбирая из тарелки остатки риса с кари, купленного на черном рынке. — Пойдем мы, например, к министру или к его заместителю, а нам скажут: у него совещание. Мы тогда сядем в коридоре перед дверью и будем ждать. Тогда нам скажут; он уезжает ненадолго в парламент. А мы — вслед за ним! Он — в комнату отдыха, мы — за ним. Короче, ни на минуту не выпускать его из поля зрения.

— Это мне ясно, но в парламент или в министерство так просто не попадешь. Требуются разные формальности.

— Требуются! Обязательно требуются! Недавно я слышал: чтобы войти в здание парламента, нужен значок. Без него не пропустят.

— А где его можно достать?

— По просьбе любого члена парламента его можно получить. Надо пойти к депутату от Хоккайдо, наобещать ему, что, мол, устроишь встречу с министром, тогда все голоса избирателей-поселенцев будут твои. Он обрадуется и, конечно, поможет.

— А если попросить помощи у социалистов или у компартии?

— Все равно, у кого просить. Сейчас все перемешались — и правые, и левые. Обращаться за поддержкой к одной политической партии? Неизвестно, когда ее может постигнуть крах. Такие уж времена настали. А если эта партия потерпит поражение, в накладе останемся в первую очередь мы. К тому же, сколько бы политика ни менялась, это не превратит в один день наши дикие равнины в плодородные поля. Но это разговор между нами, и в открытую не следует говорить, что мы держим нос по ветру.

— Не слишком ли самонадеянно мы себя ведем? Сначала будем за одних, потом за других... Не получится ли в конце концов, что и те, и другие отвернутся от нас?

— А разве кто-нибудь по-настоящему к нам относится хорошо? Каждый старается извлечь свою выгоду — и только. —

Циновочник повернулся к лежавшему перед ним штабелю дров и, обращаясь к прохожим, зазывным голосом закричал: — Эй, подходи! Смотрите, какие прекрасные дрова, а горят как! Загораются от одного ревнивого взгляда жены — ни спичек, ни бумаги не требуется. Покупайте дрова!..

Рекомендательное письмо от депутата парламента раздобыли поселенцы из соседнего поселка, а мы с циновочником занимались продажей дров, ловлей форели и еще копали дикий картофель в горах. Через несколько дней набралась нужная сумма денег, и мы отправились в путь. Как мы ни отказывались, провожать нас вышел весь поселок. Один лишь полицейский остался в своей лачуге. Правда, все вскоре проголодались и с полдороги вернулись домой. На всякий случай я прихватил с собой мешочек жареной кукурузы. Циновочник — не знаю, что пришло ему в голову, — завязал в платок несколько камней, которые мы в зимнюю пору раскаляли на печурке и клали под одеяло, чтобы согреться. Он бережно, словно драгоценность, нес сквозь толпу узелок с камнями и, когда мы сели в вагон, осторожно положил его на полку. Поезд тронулся, циновочник сел в проходе, но время от времени с беспокойством поглядывал на полку.

— Что ты с ними будешь делать? — спросил я, кивая на узелок.

— Ничего особенного. Просто так привык к этим камням, что не могу с ними расстаться, — отшутился циновочник.

Многие из делегатов жили в отдаленных горных районах Хоккайдо, и заранее договориться с ними об общем плане действий не представлялось возможным. Поэтому решили встретиться на вокзале в Саппоро и там держать совет. Не было оговорено и точное место встречи, но, когда мы подошли к выходу на перрон, там на столбе уже висело объявление. Кто-то углем на клочке газеты предусмотрительно написал: «Делегация поселенцев собирается здесь».

Вокруг столба на полу, словно туши тунцов, лежали мужчины. Некоторых я сразу узнал — они участвовали в подготовительном совещании, но большинство видел впервые. Усталые, грязные — они неохотно вступали в разговор. От них разительно отличались два-три человека — видимо, демобилизованные нынешней весной и сразу попавшие на целинные земли. Должно быть, солдатские пайки были достаточно обильны, потому что их загорелые лица лоснились, да и голоса еще не потеряли звонкость. Не то что поселенцы, приехавшие на Хоккайдо вместе со мной и циновочником. Пережитая зима высосала из них все соки, кожа на лицах высохла и стала похожа на пергамент, они двигались осторожно, неторопливо, отвечали на вопросы односложно:

— Что и говорить, пришлось нам здесь хлебнуть горя.

— Еще неизвестно, что нас ждет впереди.

Некоторые, лежа на полу, тихо переговаривались. Я прислу-

шался. Оказывается, они вспоминали былую жизнь в Токио.

— Помнишь, какая густая была похлебка? А если сбобрить ее сахаром и морской капустой — пальчики оближешь.

— Я однажды на спор съел восемнадцать вареных яиц — аж глаза на лоб полезли, потом целую неделю все тело горело. Да-а, то времечко уже не вернется...

Мы опустили наши узелки на пол, поздоровались с ранее прибывшими и отправились подышать свежим воздухом.

— Поглядел я на этих делегатов... Впечатление нерадостное, — сказала.

— Да, не бойцы, — пробормотал циновочник, мрачно разглядывая что-то в безоблачном небе. — Но ничего. Как говорится, и сухие деревья, когда их много в горах, создают пейзаж. Мы отрядим для переговоров двух-трех, на кого можно положиться, а остальные будут глядеть в оба, чтобы «наш противник» не улизнул. Всякому найдется дело, — заключил циновочник, но в его словах я не почувствовал уверенности.

Ночью мы выломали доски, которыми были забиты окна одного из вагонов поезда, направлявшегося в Хакодате, и пробрались внутрь. Вагон был до отказа набит людьми, горы вещей чуть не упирались в потолок. Когда состав въезжал в тоннель, едкий запах гари примешивался к запаху пота и немых тел и удушливым туманом нависал над людьми. Но мы к этому привыкли давно: то же самое было и на пароходке, когда мы плыли на Хоккайдо, и в поезде на линии Тохоку, когда мы выезжали из Аомори. Само собой, свободных мест в вагоне не было, и мы кое-как разместились на полу, скрючившись, словно креветки, среди мешков, рюкзаков и корзин. На каждой станции люди с боем брали вагон, ругались, толкались, пускали в ход кулаки. Когда проезжали в горах крутой поворот, кто-то из пассажиров, медленно пережевывая хлеб со сладким картофелем, сказал:

— Опять, наверно, человек сорвался с буфера.

— Неужели срываются? — удивился я.

— Срываются, — спокойно ответил мужчина, похожий на торговца с черного рынка. — Из-за недоедания — силенок-то нет!

Старуха, сидевшая рядом, усиленно закивала головой, не переставая быстро жевать вареный картофель. Никто не проявлял и капли сочувствия — будто не человек погиб, а камень сорвался. Я вышел в туалет и через окошко увидел людей с посиневшими от ветра и холода лицами, примостившихся на подножках. А поезд мчался вперед, громыхал буферами, вздрагивал на стыках, и никому не было дела до этих несчастных. Когда состав отправлялся с очередной станции, людей на платформе становилось меньше, хотя в вагон никто не протискивался — они влезали на подножки, на буфера, нередко сталкивая тех, кто был там раньше...

Наконец наш долгий путь окончился, и, озираясь по сторонам, я вышел на платформу токийского вокзала Уэно. Откуда-

то, едва держась на ногах, появился циновочник. Мы потеряли друг друга на станции Аомори. Он опустился прямо на платформу, понурил голову и закрыл глаза.

— Что с тобой? — спросил я.

— Не спал с самого Саппоро. Привычка — не могу уснуть на новом месте. К тому же беспокоился, как бы не стянули с полки вот этот узел. — Тяжко кряхтя и вздыхая, он с трудом встал и, прижимая к себе узел с камнями, пошел туда, где собралась делегация.

Было бы удобней остановиться всем вместе в одной из дешевых гостиниц в районе Уэно или Асакуса и оттуда отправляться в министерство земли и леса или в парламент, но Токио в ту пору напоминал выжженную равнину и о гостинице можно было только мечтать.

Мы миновали подземный переход вокзала Уэно, провонявший резким запахом туалета. Откуда-то сочилась вода, какие-то люди — то ли бродяги, то ли погорельцы — лежали прямо на грязном полу. Казалось, мы попали в огромную, давно не чищенную конюшню. Наша делегация насчитывала двадцать человек. В своем большинстве это были выходцы из Токио. Они возбужденно разглядывали и не узнавали знакомые места, и, хотя страшно устали, в их глазах вспыхнул огонек, исчезло безразличие, которое я читал на их лицах в Саппоро. Мы вышли на площадь перед станцией и, миновав черный рынок, собрались на пустыре. После недолгого обсуждения было решено, что каждый отправится к своим друзьям или знакомым, прихватит с собой по два-три человека из тех, кому негде остановиться на ночлег. Договорились, что каждое утро делегация в установленное время будет собираться то ли у министерства земли и леса, то ли на площади перед парламентом — и действовать коллективно; ни в коем случае не разобщаться; приходить к месту сбора точно в назначенный час, во время встреч с начальством не мешать ненужными репликами и выступлениями переговорам, которые будут вести руководители делегации.

Учитывая напористость и организаторские способности циновочника, все единодушно выбрали его заместителем главы делегации и поручили предпринять возможные шаги для встречи с министром. Циновочник встал, посверкивая своими мышиными глазками, оглядел присутствующих, затем бросил взгляд на шумевший позади нас черный рынок и сказал:

— Итак, мы наконец добрались до Токио, чтобы встретиться с теми, по воле кого оказались на диких землях далекого Хоккайдо. Призываю всех подтянуться и проявлять упорство и непримиримость в достижении нашей цели. Император Мэйдзи когда-то сказал: «Чтобы достичь успеха в любом деле, надо действовать, не будешь действовать — ничего не получится. Не получается оттого, что человек бездействует». Надо объединить

наши силы и действовать решительно — тогда никакие препятствия нам не страшны. Нам, неимущим, терять нечего!

Мне показалось несколько странным, что циновничник, призывая «надавить» на правительство, привел фразу, сказанную императором, но она оказалась исключительно к месту и была встречена дружным смехом и аплодисментами.

— Правильно!

— Так мы и поступим!

— Давай, давай!

Воодушевленный этими криками одобрения циновничник улыбнулся и заключил свою речь следующими словами:

— Меня, недостойного, лишь чудом не зарыз медведь. Поэтому я могу считать себя дважды рожденным. Даю слово не пощадить своих сил для достижения цели, ради которой мы сюда прибыли. Всё!

Мы понимали, что вручить прошение и добиться его выполнения будет непросто, но не подозревали, сколь трудным это окажется на самом деле. Главная сложность заключалась в том, что таких просителей, как мы, в Токио собралось много, слишком много. Наши препирательства в Асахикаве и Саппоро казались здесь детским лепетом. Люди, закаленные бесконечными спорами с муниципальными чиновниками, приехали сюда со всех уголков Японии. И непросто было растолкать эту пропахшую потом и наседавшую со всех сторон с выпученными глазами толпу, чтобы прорваться к начальству и выбить положенные деньги. Мало того, когда на следующий день по приезду в Токио мы отправились в министерство земли и леса, у здания министерства собрались сотни демонстрантов, над головами которых раскачивались красные флаги и плакаты. На плакатах не указывалось, от имени каких организаций выступают демонстранты, откуда они прибыли. На них было только два слова: «Требуем риса!»

Увидев огромную толпу с развевающимися стягами, циновничник побледнел.

— Черт побери, нас обошли! — пробормотал он.

Демонстрантам в поношенных солдатских кителях и шароварах не было конца. Они шли, подбадривая себя криками «вассё, вассё». Нам с великим трудом удалось прорваться сквозь их колонну в министерство. Войдя внутрь, мы увидели, что у каждой двери толпятся делегации. Они тоже пришли с красными флагами и плакатами. На головах — скрученные из полотенец повязки. На изготовленных из циновок транспарантах тушью выведены слова: «Мы не хотим умирать с голоду!» Трудно было понять, откуда эти делегации — с Кюсю или Хоккайдо, кто они — крестьяне или лесорубы? Направив своих представителей на переговоры, они стояли у дверей кабинетов и ждали результатов. Наверно, ждали давно, потому что многие, прислонив транспаранты к стене, улеглись прямо на полу и спали.



— Вот как надо действовать, — сердито пробурчал чиновник и застонал от досады.

Среди этого столпотворения я заметил нескольких здоровенных молодчиков в летной форме и коротких сапогах с развевающимися белыми шелковыми кашне — наверно, солдаты из штурмовых отрядов, недавно демобилизованные и прибывшие сюда прямо с аэродрома. Громко стуча сапогами, они врываются в кабинеты, орали на чиновников, грозя расправой, если те сейчас же не исполнят их требования. Неожиданно раздался душераздирающий вопль: дверь одного из кабинетов распахнулась и из нее выскочил с побледневшим лицом чиновник, прижимая к груди какие-то бумаги.

— Эй, ты нас здесь с голоду уморить хочешь? — заорал выбежавший за ним вслед здоровенный мужчина.

Чиновник испуганно поглядел на него и закричал:

— Пустите, я никуда не убегаю. — А сам краем глаза старался отыскать дверь.

Из одного кабинета доносились крики, в другом послышалось падение чего-то тяжелого, потом наступила тишина. Из-за многочисленных дверей слышны были оправдывающиеся, угрожающие, раздраженные, умоляющие голоса. От пронзительных криков и ругани звенели стекла. А за окнами то нарастал, то ослабевал гул демонстрации.

Мы обошли столько кабинетов, встречались со столькими людьми, что в голове была сплошная мешанина, и никто из нас к концу дня не мог вспомнить, где, с кем и о чем мы говорили. Запомнились лишь отдельные эпизоды. Мы попросили встречи с начальником отдела освоения новых земель, но нам ответили, что он вышел и вернется лишь через два часа. Чтобы не терять времени, мы обратились в министерский отдел планирования. Нас выслушали, сказали, что наша просьба понятна, и предложили прийти на следующий день. Мы вернулись в отдел освоения, но нам сказали, что начальник уже пришел, но его вызвали на срочное совещание. Тогда мы потребовали встречи с начальником управления. Нам ответили, что он в командировке, инспектирует осваиваемые земли в Суsono близ горы Фудзи. На следующий день мы с самого утра установили дежурство у кабинета начальника отдела планирования. Наконец он пришел и пригласил нас к себе. Нерешительно, запинаясь, помогая себе жестами, мы рассказали ему о перипетиях нашей жизни на Хоккайдо. Со страдальческой гримасой он выслушал нас, потом сказал: «В Японии сейчас всем тяжело, потерпите и вы». Чиновничок расшвырнул, развязав свой узел и с размаху кинул камни на стол. «Вот, — заорал он, — как мы согреваемся: спим в обнимку с раскаленными камнями, едим корм, который дают лошадям, да и тот подошел к концу, все грозит, что покончат жизнь самоубийством, если не получат продовольствие». Начальник тоскливо поглядел на камни, сказал, что завтра соберет совещание и попытается принять меры. Чиновничок собрал со

стола камни, и мы ушли. На следующее утро мы дежурили у зала заседаний. Вскоре к нам подошел чиновник и пригласил к начальнику отдела освоения новых земель. Прихлебывая чай, он спросил, по какому мы пришли делу. Мы ответили: нужны деньги на поденную оплату дорожных работ, ссуды на строительство жилищ, нужны удобрения, семена, лошади, плуги, телеги. Тот ответил, что сейчас всем трудно, что надо вынести невыносимое, стерпеть нестерпимое. Чиновничок заорал, что мы пришли сюда не для того, чтобы выслушивать всякий вздор, что поселенцы на грани голодной смерти, что зимой все мы спим в обнимку с камнями, чтобы согреться. И вывалил на стол свои булжники. Начальника это нисколько не испугало. Прихлебывая чай, он безразлично разглядывал камни, потом пробормотал что-то насчет тяжелого времени, которое всем надо перетерпеть. Тут нам сообщили, что совещание в отделе планирования закончилось, и мы, прервав разговор на полуслове, помчались к залу заседаний, поймали начальника и спросили, как решился наш вопрос. Тот ответил, что, к сожалению, нашу просьбу не рассматривали, поскольку надо было срочно решать проблему земель близ горы Асо, покрытых вулканическим пеплом. Мы поинтересовались, когда будет рассмотрен наш вопрос. Он ответил: точно сейчас не могу сказать, но вас своевременно известят...

Однажды вечером мы с чиновничком прогуливались в районе Нагаты близ здания парламента. Друг из темноты послышался женский крик. Мы остановились и прислушались. Крик доносился со стороны развалин, заросших бурьяном в человеческий рост. Крик повторился дважды и замер. Последний раз он прозвучал глухо и закончился стоном. По-видимому, на женщину напали и стали ее душить. В той стороне царил крошечная тьма и лишь бурьян сухо шелестел, распространяя вокруг запах горечи и земли.

— Задушили, — сказал чиновничок.

— Похоже на то, — ответила я.

— Ну и нравы теперь в Токио.

— Да, надо быть поосторожней.

Мы еще немного постояли, вглядываясь в темноту, и пошли дальше. На следующее утро, вспоминая об этом случае, я укорял себя за равнодушие, но в те дни наши мысли были заняты исключительно собственными заботами, и в них не оставалось места для чужого несчастья. Мы бегали из одного кабинета в другой и среди толпившихся в министерстве людей чувствовали себя одинокими, никому не нужными. Снова и снова, как в зимнюю пору на Хоккайдо, казалось нам, будто некая безжалостная рука хватала нас за внутренности и норовила их вырвать и выставить на всеобщее обозрение.

Однажды распространился слух, что министр земли и леса вернулся в Токио из инспекционной поездки и сегодня будет на заседании одной чрезвычайной комиссии в парламенте. Я

сообщил об этом циновочнику, но тот, оказывается, уже все знал, ходил к депутату от Хоккайдо и выпросил у него двадцать значков для посещения парламента. Мы нацепили значки и выслушали план, предложенный циновочником:

— Значит, так. Когда появится министр, кто-нибудь из нас подходит к нему, останавливает и приводит в ближайшую комнату. Если с ним будут сопровождающие, их надо окружить и оттеснить. От министра не отходить ни на шаг. Оставшись с ним наедине, мы расскажем о нашем прошении и заставим подписать. Если он заладит, что, мол, надо переговорить с заместителем или кем-либо еще, мы ему скажем, чтобы вызвал нужных людей сюда. Не выпускать министра ни под каким видом, пока не подпишет ассигнования на наши нужды. А я ему суну под нос вот это. — Циновочник приподнял увесистый узел с камнями.

В здание парламента нас пропустили беспрепятственно. Коридоры были устланы коврами, но и здесь, так же как в министерстве, бродили группы просителей, которые толклись у дверей кабинетов и залов, где заседали многочисленные комиссии. Просители, правда, вели себя скромнее, не слышалось криков и ругани, и мы не заметили изготовленных из циновок транспарантов с лозунгами «Мы не хотим умирать с голоду!».

Мы осмотрели подходы к залу, где заседала комиссия с участием министра. Поблизости от него была узкая лестница. Мы спустились по ней и этажом ниже рядом с лестничной площадкой обнаружили небольшую пустовавшую комнату. Она не была заперта. Незаметно от охраны мы вошли внутрь. На столе стояла полная окурков пепельница, вокруг стола — несколько кресел. Я доложил обо всем циновочнику, и мы тут же обсудили план действий. Он посоветовал не скапливаться в коридоре: пусть каждый бродит, как турист, разглядывает потолок, любуется коврами и ждет сигнала. Мне было поручено находиться поблизости от зала, где шло заседание, и не упустить момент, когда откроется дверь.

Судя по фотографиям из газет, у министра было волевое, несколько заплывшее жиром лицо. Когда отворилась дверь и министр вышел в коридор, слабо освещенный несколькими бра, он оказался чрезвычайно низкорослым мужчиной с набрякшими мешками под глазами и упрямо сжатыми толстыми губами. Под приподнятыми, словно у маски, изображающей преступника, бровями я увидел безразличные, рыбы глаза. Министра сопровождал секретарь. Он шествовал спокойно, не подозревая, что его ждет. На наше счастье секретарь неожиданно повернул обратно к залу заседаний — должно быть, забыл какие-то документы. Мы не замедлили воспользоваться этой минутой. Циновочник подал знак, и я тут же подскочил к министру, крепко схватил его за руку и заставил пройти несколько шагов в нужном нам направлении. Министр опешил. Наконец он остановился и, вперив в меня налившиеся кровью глаза, закричал:

— Эй, рехнулся, что ли? Куда ты меня тащишь?

— Не беспокойтесь, мы ничего плохого вам не сделаем. Только выслушайте нас — это не займет много времени.

— Ну-ка, отпусти меня! Отпусти, говорят! Ты коммунист, что ли?

— Нет, не коммунист. Я поселенец, приехал с Хоккайдо. Нам надо поговорить.

Из зала вышел секретарь. Он что-то кричал мне, но я был настолько возбужден, что ничего не понял. Тем временем члены нашей делегации, бродившие по коридору, быстро подошли и, смущенно посмеиваясь, окружили меня и министра плотным кольцом, и мы целой толпой двинулись к обнаруженной нами комнате. Министр что-то кричал, тяжело дыша и обливаясь потом, но мы заставили его замолчать и все вместе спустились на этаж ниже. На лестничной площадке нас ожидал циночник. Ударом ноги он отворил комнату, пропустил туда министра и вошел следом, помахивая узлом с камнями.

## Заключительная глава

Накануне ко мне заглянул Длинный и предупредил, что есть работа и потребуется моя помощь. На следующий день я прихватил топорик и направился к его дому. Длинный жил в горах, на самом краю нашего поселка. Там уже дожидались Лапша и Сверчок. В руках у них поблескивали пила и узкий, острый как бритва нож. Длинный повел нас на задний двор, отвязал от кола огромную свинью йоркширской породы и потащил ее в сарай.

Длинный приехал сюда с Южного Сахалина. Свое прозвище он получил за чуть ли не двухметровый рост. Лапша прежде жил на острове Кюсю, работал землекопом. Он был страстным игроком в маджонг и особенно радовался, когда ему удавалось выиграть кость, на которой изображен орнамент, напоминавший фарфоровую миску для лапши. Поэтому-то его и прозвали «Лапша». О прошлом Сверчка ничего не было известно, а сам он не любил о нем распространяться. Свое прозвище он получил за ленивый и беззаботный характер. Когда нечего было есть, он мог спустить все свои вещи до исподнего. Если кончались дрова, он выламывал половицы и пускал их на топливо. Это был щедушный мужчина, не способный выполнить как следует никакую работу, которую ему поручали. Лишь в карточной игре он проявлял недюжинный талант и столь искусно манипулировал руками, что никто не мог уличить его в жульничестве.

Лапша и Сверчок связали свинье ноги, дернули за конец веревки и повалили ее на бок. Работа была привычная, все трудились слаженно, не произнося ни слова. Затем оба сели на свинью верхом, прижимая ее к земле. Свинья сопротивлялась

изо всех сил, ее глазки налились кровью и злобно сверкали. Резким ударом топора Длинный рассек свинье голову. Она судорожно дернулась и замерла. Затем ее подвесили к потолочной балке головой вниз. Длинный вспорол свинье живот и содрал шкуру. Лапша подскочил, обеими руками подхватил вываливающиеся внутренности и кинул их в ведро, которое я тут же вынес наружу. Сверчок взял пилу и отделил голову от туловища. С трудом сдерживая рвоту, я вышел наружу и вдохнул свежего воздуха. Затем началась разделка. Небольшой кусок получил и я за работу и отнес домой. Провозились мы почти три часа.

Длинный был человеком могучего телосложения, его мощный торс, казалось, был вырублен из целого ствола сосны, длинные руки со здоровенными кистями тяжело свисали чуть ли не до колен. У него были толстая шея, квадратный подбородок и крупные белые зубы. Говорил он медленно и неохотно. Когда его о чем-то спрашивали, он пугливо озирался, нерешительно покачивал головой и отвечал:

— Ничего не знаю, не пойму, о чем речь.

Длинный не принимал участия в обсуждении различных вопросов, никогда не шутил, чурался всяких бумаг. Но то, что он умел, исполнял безукоризненно. Просили ли его помочь в строительстве дома или наколоть дрова, вспахать или проборонить поле — он все делал отменно и быстро, не тратя ни минуты даром. Но зато без угрызений совести сдирал с заказчика столько, сколько считал нужным, независимо от того, был ли тот зажиточным или бедным, сытым или голодным, здоровым или немощным. Он никогда заранее не требовал оплаты. Молча, никого не спрашивая, он забирал свою долю и уходил домой. Если его просили заколоть свинью, он никогда не отказывался, причем разделывал ее лучше любого мясника, но за работу обязательно брал голову. Зная эту его привычку, один заказчик, рассчитывая оставить голову себе, предложил ему деньги. Длинный подумал и сказал:

— Хорошо. Приведи свинью.

Деньги он взял, но, когда доставил разделанную свинью заказчику, головы среди мяса не оказалось. Он не изменил своей привычке и голову оставил себе, хотя и получил деньги. Он сам устанавливал таксу за каждую работу: заколоть свинью — голову, наколоть дрова — за каждые двадцать полен одно себе, за каждые пять бревен — одно. Он твердо придерживался этой таксы, независимо от того, платили ли ему еще и деньги или нет. Трудно сказать, из чего он исходил, устанавливая подобную плату за каждую работу, но, когда я видел, как он стоит с топором в руке рядом с горой наколотых дров, мне почему-то начинало казаться, что такса его справедлива. Когда он с женой приехал сюда с Сахалина, никакого имущества, кроме мотыги, у него не было. Он походил по нашему поселку, присматривая там и сям работу повыгодней. Глядь, уже и дом построил.

Честно говоря, я позавидовал, с какой быстротой ему все это удалось. Он был выходцем из семьи бедного крестьянина в префектуре Акита. В молодые годы завербовался на Сахалин, приехал туда опять-таки с одной мотыгой, а через несколько лет, когда женился, уже имел участок хорошей земли и трех коров. Тут как раз Япония потерпела поражение в войне, все его хозяйство пошло прахом, и он эвакуировался на Хоккайдо, чтобы все начать сызнова. Пребывание в Аките, на Сахалине или на Хоккайдо абсолютно не наложило на него какого-либо характерного для этих районов отпечатка. Он вообще казался человеком, лишенным национальной принадлежности. Разбуди его неожиданно в Аките и перенеси в пустыню Сахару — он и там, не испытывая особых затруднений, поднимется с песка, пойдет по пустыне, отыщет воду и растения и, как ни в чем не бывало, начнет жить. Смерть от голода ему абсолютно не грозила — он мог приспособиться к любым условиям. Никакой враг ему не был страшен, но и слабосильным друзьям он не делал поблажки.

Длинный отличался необычным характером. Говорить он не любил, шуток, оправданий и всяческих каламбуров не принимал, да и сам ими не пользовался, кулаками свою правоту не доказывал. Поэтому я решил, что его рассказ о жизни на Сахалине правдив и не приукрашен. По его словам, сразу же после поражения в войне японская жандармерия на Сахалине, опасаясь мести со стороны тамошних корейцев за жестокое с ними обращение, отдала приказ об уничтожении всех корейцев и призвала японцев расстреливать их или уничтожать любыми иными способами. Но вскоре русская армия начала продвижение на юг, и японцы обратились в бегство. Увидев это, корейцы, пылая мстью, в свою очередь начали нападать на японцев и уничтожать их. Японцы в чем были одеты, без запасов продовольствия бросились на юг в горы, спасаясь от корейцев. Были среди отступавших японцев и такие, кто по дороге умирал от голода, от болезней или кончал жизнь самоубийством. Ослабевших бросали: помочь им — значит самим погибнуть, считали они. Некоторые родители сбрасывали своих детей со скал, младенцев оставляли на дороге, привязав к шее бутылочки с молоком. Многие из них погибли от голода, хотя в бутылочках еще оставалось молоко. Однажды ночью беженец забрел в одном из поселков в японский дом. Электричества не было, поэтому он на ощупь залез под одеяло и уснул. Проснувшись наутро, он обнаружил лежавшую рядом с ним мертвую старуху. Некоторые японцы, опасаясь, что толпу, идущую по дороге, легче обнаружить, укрылись в горах. Многих из них, как говорят, загрызли медведи...

Обо всем этом Длинный, отвечая на наши вопросы, нехотя рассказывал, сидя на траве у реки. Его жена — такая же здоровая, крепко сбитая, как он с а м , — сидела рядом и мыла мотыгу.

— Многие старики и дети умерли, — заключил свой рассказ Длинный, рассеянно глядя перед собой.

Я все хотел у него узнать — где он был в это время, и однажды, уловив момент, спросил:

— А ты сам исполнил приказ жандармов?

— У меня было охотничье ружье, — нехотя пробормотал он после некоторого раздумья.

— А что стало с вашим ребенком? — спросил я.

Длинный глянул на меня, словно обжег взглядом. Еще секунда, и он бросится на меня с кулаками, подумал я. Но он отвернулся, долго глядел сузившимися темно-коричневыми зрачками на игравшие на воде солнечные блики, потом тем же тоном, каким вел свой рассказ, произнес:

— Наш ребенок...

— Не надо, — перебила его жена. Ее голос прозвучал резко, как пощечина. Щеки покраснели, темные глаза вспыхнули. Она была похожа на медведицу, приготовившуюся прыгнуть на добычу. Длинный отвернулся, сорвал травинку, пожевал ее и снова стал глядеть на реку, играя желваками на скулах. Жена внимательно поглядела на Длинного и, видимо, убедившись, что опасность миновала, опять занялась мытьем мотыги. На ее лице появилось выражение спокойствия, и трудно было поверить, что минуту назад она столь резко одернула мужа. Мне показалось, что в тот миг перед ее глазами мелькнула страшная картина. Видимо, Длинному и его жене многое пришлось пережить, и в свое время они находились на той грани, когда исчезают различия между человеком и животным.

Землекоп с Кюсю по прозвищу Лапша долго добирался до Хоккайдо, пересаживаясь с железнодорожной линии Санъёдо на Токайдо, а оттуда — на Тохоку. Он обосновался на северной окраине нашего поселка, но кислая почва не давала урожая, семена в ней не прорастали, землю, которую он с колоссальными трудностями натаскал на свое поле, во время страшного ливня унесло в реку. Правительство отказалось выдать ссуду, лошадей и скота у него тоже не было. Лапша не знал, к чему применить здесь свою могучую силу, и в конце концов скис. Он перестал работать в поле и нанялся валить лес для бумажной фабрики. Жене обещал, что заработанные деньги пойдут весной на приобретение семян, удобрений и инвентаря, но, когда наступила весна, он вернулся в свою лачугу с помятым лицом и без гроша в кармане: весь заработок проиграл в карты.

Сверчок не рассказывал о своем прошлом, поэтому мы так ничего и не узнали о его профессии и по какому стечению обстоятельств он оказался на Хоккайдо. Ясно было одно: крестьянским трудом он никогда в жизни не занимался. Он был худощав, узкоплеч, руки маленькие с тонкими, длинными пальцами, не привыкшие к физической работе. Он беспрестанно жаловался, всегда был чем-то недоволен. Любил ни к месту отпускать скабрзные шуточки и обижался, если они не вызыва-

ли дружного смеха. Целые дни Сверчок проводил в своей лачуге. Его участок зарос бурьяном, валявшаяся без применения мотыга покрылась ржавчиной. Однажды, проходя мимо, я мельком заглянул в его лачугу. Сверчок сидел, словно птица в гнезде, среди всякого тряпья и рваных одеял. Казалось, будто он так сидит, не меняя положения, еще с прошлой недели и только зыркает вокруг глазами. Он был фантастически ленив: положи перед входом в его лачугу закуску с выпивкой на сантиметр дальше, чем может дотянуться его рука, он не станет ее доставать. По вечерам он выползал из своей хижины, босиком слонялся по поселку, заходил то к одному, то к другому, надоедал своими бесконечными рассказами, играл в три листика и, выиграв одну или две тыквы, возвращался домой. Понятно, при таких обстоятельствах жена его была одета в тряпье, просвечивавшее словно лист сушеной морской капусты. Дров на зиму Сверчок не заготавливал, предпочитая воровать их по чужим сараям. Когда это не удавалось, он топил половицами или выламывал и жег дверь от лачуги. В последнем случае наутро они с женой, дрожа от холода, просыпались в сугробах снега, надутого за ночь. Однажды жители нашего поселка из сочувствия к его жене собрали для Сверчка деньги, предложив ему заняться торговлей вразнос. Но ничего из этого не вышло. Побродив по поселку, предлагая свой товар, он проголодался и съел все приготовленные для продажи тэмпура<sup>1</sup>, крабы и печеные рыбные палочки. Ему снова собрали деньги, на которые он купил на черном рынке всякой снеди на продажу, но пока возвращался в поселок — а путь длинный, шесть р и , — он все съел по дороге, временами спускаясь к реке, чтобы запить съеденное водой. Спустя месяц он бросил торговлю и снова залег в своей лачуге.

Однажды во время игры в карты он вдруг сложил пальцы щепотью и, обращаясь к нам, спросил:

— Видите?

— Ничего не видно, — ответили мы.

— Не может быть! Неужели не видите?

— Да ничего у тебя нет в руке!

— Есть, валет! Только он прозрачный.

С этими словами Сверчок раздвинул пальцы и на пол упала карта — в самом деле, валет! Но мы могли поклясться, что в руке у него ничего не было. Потом он будто погладил пальцами пол, и карта мгновенно исчезла. Похоже, у этого человека кончики пальцев жили собственной жизнью.

— Видите? — снова спросил он.

— Нет.

— Да видно же. Просто вы оупели от работы. Хватит, не стоит перед такими тупицами демонстрировать высокое искусство. — Сверчок зевнул, бросил карты и улегся на пол. Я глядел

---

<sup>1</sup> Ломтики рыбы или овощей, зажаренные в тесте.



на его узкую, хилую спину, на тонкую шею и думал: этот человек надолго здесь не задержится...

Сейчас через наш поселок проложена отличная дорога. Она протянулась на все шесть ри до самого города, поскольку новые поселенцы заняли по обе стороны всю землю, которая прежде считалась совершенно непригодной для сельского хозяйства. По дороге теперь можно проехать на телеге и на мотоцикле с коляской, а если понадобится, то и на автобусе, и на самосвале. Обширные джунгли низкорослого бамбука уже вырублены и превратились в поля. Магистральные каналы протянулись от реки к участкам, по ним течет чистая, прозрачная вода. Многочисленные каналы, по которым проложены трубы, пересекают поля во всех направлениях. Летом — на велосипедах, зимой — на лыжах приезжают к нашим домам почталбоны. Бродячие торговцы, которых прежде можно было увидеть только в городе, стали завсегдатаями нашего поселка и торгуют вразнос самыми несусветными товарами. Теперь о нашем «поселке», который действительно стал поселком, знают во всей округе.

Но из тех поселенцев, кто приехал с нами вместе, здесь остались лишь я и бывший полицейский. Нет среди нас врача и школьного учителя, кондитера и владельца велосипедной мастерской. Все они покинули целинные земли Хоккайдо. Правда, после них появились новые люди — Длинный, Лапша, Сверчок и другие, получившие с помощью местного муниципалитета участки земли. Здесь поселились эвакуированные из Китая, Сахалина, Тайваня, с островов Южных морей, получили землю демобилизованные, погорельцы и те, кто после поражения в войне не смог устроить свою жизнь в городе. Но многие из них тоже уехали. Каждый из поселенцев успел, будучи на Хоккайдо, вложить малую толику своего труда в рытье канав, строительство каналов и дороги, в мелиорацию участков. Благодаря их общим усилиям поселок стал таким, каков он есть.

Наша операция по захвату в парламенте министра земли и леса закончилась успешно. Мы стали у двери в комнату близ лестничной площадки и никого не впускали внутрь. Тем временем другая группа с циновочником во главе вплотную окружила министра, не давая ему сбежать. Циновочник взял в руки документ об условиях вербовки, полученный нами перед отъездом на Хоккайдо в токийском муниципалитете, громко зачитал его пункт за пунктом и заявил, что все обещания, указанные в нем, живы от начала до конца и ни одно из них не было выполнено. Потом он высыпал из узла пресловутые камни на пол, рассказав, как мы обогрелись в зимнюю пору.

— Какое нахальство! Как вы себя ведете! Должно быть, вы коммунисты! — возмущенно завопил министр.

— При чем тут нахальство? — прикрикнул на него циновочник и к. — Прежде чем говорить, выбирайте слова! Учтите, времена изменились. Мы не коммунисты, а если ими и станем, это вас не

касается. Это наше право. И что, собственно, меняет существо дела, даже если бы мы были коммунистами? Мы пришли сюда, потому что нам нечего есть, потому что не сегодня, так завтра наши товарищи могут умереть от голода. И тогда вся ответственность падет на вас.

Министр перестал ортаться и потянулся за сигаретой. Ему услужливо поднесли огня. Внезапно зазвонил телефон. Опередив поднявшегося было к аппарату министра, чиновочник схватил трубку, спросил, кто и по какому делу его просит, сказал: «Слушаюсь, через некоторое время министр с вами встретится... Обязательно ему передам», и повесил трубку. Три часа чиновочник спорил с министром, уговаривал, грозил, умолял, требовал. Наконец министр сдался и попросил позвать своего заместителя.

— Хватит, довольно! Я все понял, завтра созову совещания и е, — взмолился он.

Но чиновочника не так просто было провести. Он стал сызнова рассказывать о всех мытарствах, которые испытали поселенцы, начиная с посадки в поезд на станции Уэно и вплоть до последних дней, после чего министр завопил:

— Все! Согласен! Подпишу! — В его глазах можно было прочесть ненависть, усталость и бессилие. Он тяжело поднялся со стула, велел пригласить секретаря и своего заместителя с документами. Чиновочник настолько устал, что не мог больше произнести ни слова. Он сидел, понутив голову, и время от времени облизывал пересохшие губы. Министр подписал бумагу о чрезвычайных ассигнованиях, поставил печать и пошел к двери. Чиновочник молча поглядел ему вслед. Я дернул его за рукав. Он очнулся и, механически переставляя непослушные ноги, двинулся вон из комнаты.

Благодаря успеху нашего петиционного движения поселенцы смогли свободнее вздохнуть, поскольку были ассигнованы деньги на поденную оплату дорожных работ. Когда мы вернулись на Хоккайдо, наш поселок был на грани краха, и префектура Хоккайдо, как и местные муниципалитеты, сразу же приняла срочные меры по выплате авансов. После того как мы добились решения вопроса министром, местные власти перестали чинить нам препятствия и отделяться пустыми посулами. Правда, мы опасались, что здешние чиновники будут недовольны нашим непосредственным обращением к высшим властям, поскольку это могло повредить их авторитету, но ничего подобного не случилось. Везде нам говорили: «Молодцы, здорово провернули вы это дело. Поймите, наша работа непростая и не всегда можно своего добиться сразу». Теперь они с необыкновенной быстротой решали все вопросы. Я глядел на этих чиновников и думал: «Эх вы, жалкие винтики! Чуть заело резьбу и появилась ржавчина, вы уже готовы хладнокровно бросить на произвол судьбы человека!»

Не знаю, каково было положение в других поселках, но в

нашем семена по-прежнему не давали всходов, и мы, отложив полевые работы, решили в первую очередь заняться прокладкой дороги. За каждый день работы платили наличными, и многие выходили на строительство целыми семьями. Это не замедлило сказаться на общем благосостоянии, и, хотя поля оставались заброшенными, многие поселенцы превратили свои лачуги-«молельни» в кладовки, в свою очередь кладовки — в сараи для скота, построили новые дома с настоящими крышами и стенами. Все старались не слишком торопиться, рассчитывая, что, чем медленнее будет строиться дорога, тем больше они получат денег, поскольку оплата поденная, но не тут-то было! Муниципальные власти, которые прежде не баловали нас вниманием, как только начались дорожные работы, приставили к нам такого опытного, искушенного во всех тонкостях прораба, которого вокруг пальца не обведешь. Так или иначе, у поселенцев завелись денежки, на которые они могли теперь купить семена, удобрения, инвентарь и перестроить свои лачуги. Правда, кое-кто по-прежнему оставался в полуразвалившихся «молельнях». Поселок наш раскинулся широко, но людей в нем проживало не так уж много, и жизнь каждого была у всех на виду. Вот почему мы обратили внимание, что кондитер и владелец велосипедной мастерской, которые не покладая рук трудились на строительстве дороги и получили от муниципалитета немалые деньги, не приобретали ни семян, ни удобрений и не обновляли свои жилища.

В одно из воскресений, когда накал дорожных работ несколько спал и я с утра занялся колкой дров, издали появился владелец велосипедной мастерской. Он медленно брел по дороге с женой и ребенком, таща на себе домашний скарб. Пару дней назад, когда мы играли в карты у доктора, он и словом не обмолвился, что намеревается покинуть поселок.

— Эй, куда это ты собрался, не на черный ли рынок? — окликнул его я.

— Нет, мы уезжаем, — ответил он, смущенно улыбаясь.

— Уезжаете? В Токио?

— В Токио. Больше податься некуда. Какой смысл оставаться здесь, если земля не родит. Продал я землю — по пачке сигарет «Пис» за тан.

— Шутить?

— Нисколько, — ответил владелец велосипедной мастерской и зло сплюнул.

— Неужели продал свою землю?

— Продал. И землю и хибарку — оптом! Один из жадных старожиллов купил. Торговался еще, просил скинуть. В общем,говорились по пачке «Писа» за тан.

— Неужели всего за пачку сигарет? — У меня комок подступил к горлу.

Владелец велосипедной мастерской сконфуженно поглядел на меня и тихо сказал:

— Прости, не поминай лихом.

Потом отвернулся, схватил за руку ребенка и пошел прочь. Жена, понурившись, постояла секунду, поспешно вынула из ведра тыкву, положила к моим ногам и, подхватив ведро, побежала догонять мужа. Не оглядываясь, они вышли из поселка и двинулись вдоль реки. Я отбросил топор, вернулся в дом и залез под одеяло.

Бегство владельца велосипедной мастерской и особенно продажа им своего участка по пачке сигарет за тан сильно подействовали на остальных жителей поселка. Они долго не могли успокоиться, обсуждая его поступок. А спустя месяц сбежал кондитер. Однажды, взяв с собой ребенка, он вышел из своей лачуги и, сказав, что пойдет в город, ушел, да так и не вернулся. Совершенно обезумев, жена помчалась в город, обошла черный рынок, станцию, искала беглеца по всем уголкам и вернулась ни с чем. Когда мы стали ее расспрашивать, выяснилось, что последнее время он был в подавленном состоянии, дома большей частью молчал, а накануне своего бегства пришел со строительства дороги и до поздней ночи колот дрова. Мы убеждали жену, что вряд ли он уйдет далеко: с ним ведь ребенок, да и скарб весь остался дома. Но ни у кого не было сил, чтобы броситься за ним в погоню. Мы сообщили о его исчезновении в полицию, но найти кондитера так и не удалось. Мы собрали кое-какие деньги, продали участок и наколотые кондитером дрова, купили жене билет и посадили в поезд. Она, по-видимому, рехнулась от горя, и, пока мы провожали ее до вокзала, всю дорогу молчала. Она села у окна и, прильнув к стеклу, тонким голосом кричала: «Мама, мама!» По щекам ее катились слезы. Невыносимо было слышать и этот голос, и то, что эта сорокалетняя женщина призывала свою покойную мать. Что с ней теперь будет, кто из мужчин позарится на эту разом постаревшую, лишившуюся разума женщину, с состраданием думал я. Мы повесили ей на шею дощечку, на которой написали, что она больна, и просили помочь ей добраться до Токио. Билет тоже прилепили к дощечке.

Последние несколько лет подобных случаев было множество, и поселенцы, встретившись на дороге, после приветствий и обычных фраз о погоде обязательно обменивались слухами о новых происшествиях. Рассказывали, будто один из поселенцев нашел на черном рынке кошелек с деньгами и сразу решил покинуть поселок. В тот же день он продал участок, лачугу, росшие на его земле деревья за один то<sup>1</sup> риса и отправился в горы валить лес для бумажной фабрики. Больше его в поселке не видели. Другой поселенец сошел с ума. Он неожиданно бросил работу в поле, оставил мотыгу на меже, вернулся в свою лачугу, где спал ребенок, схватил его, бросил в соседнее болото, а сам повесился. Были и комические случаи. Один юноша,

---

<sup>1</sup> Один то — 18 литров.

третий сын крестьянина-старожила, женился и, решив отделиться от отцовского хозяйства, взял целинный участок в горном районе. Отец выделил ему корову. Участок находился далеко в горах, и сын не мог ежедневно возить молоко на продажу в город, а корова оказалась хорошей и давала много молока. Время было летнее, молоко скисало быстро, и пришлось новоселу варить всю пищу на молоке, умываться молоком, и все же оно еще оставалось. Тогда он стал сливать молоко в большую бочку, которая стояла в бане, и заставлял жену, словно принцессу, принимать молочные ванны. Вскоре и он, и его жена до тошноты пропахли молоком, и юноша, не выдержав, вернул корову отцу. Был случай с другим парнем, который лишь с натяжкой можно причислить к комическим. Он получил участок в долине, славившейся обилием снега даже на Хоккайдо. Заработав немного денег, юноша купил лошадь и все лето и осень работал на своем поле как одержимый. Когда наступила зима, он отправился в город Асахикаву подыскивать себе невесту. Однако девушки в то время не слишком охотно выходили замуж за поселенцев, а уж о городских девицах и говорить нечего. После долгих поисков ему все же удалось уломать одну, и, хотя ему советовали подождать до весны, он сразу же повел ее к себе. Наступил самый разгар зимы, но парню, по-видимому, было невмоготу. В зимнее время к его участку даже на санях не пробраться, и они шли пешком, проваливаясь в снег чуть ли не по пояс. Девица совершенно выбилась из сил и помрачнела. Но впереди ее ожидало более тяжелое испытание. Когда они добрались до места, юноша не узнал свою хижину: из снега торчал лишь голый каркас. Оказывается, лошадь, которую он оставил у дома, проголодалась в его отсутствие и сжевала с крыши всю солому. На следующее утро юноша отвел невесту обратно в город.

Летом того года, когда сбежали из поселка владелец велосипедной мастерской и кондитер, мы занялись перевозкой земли, чтобы насыпать на поле плодородный слой. К тому времени мы вырыли магистральные каналы и канавы на участках, и вода, видимо, уже вымыла из почвы ядовитые вещества. Теперь следовало, как говорится, нарастить на скелет мясо. С помощью Кумэды мне удалось раздобыть у одного крестьянина-старожила телегу и небольшой двухколесный прицеп, и мы с женой каждый день отправлялись за два ри копать хорошую землю, которую привозили на участок и ровным слоем разбрасывали по всему полю. Кумэда уже закончил срочные работы в своем хозяйстве и пришел нам помогать. Работал он на совесть, мы тоже подтянулись, беря с него пример.

Когда сделали небольшую передышку, я и полицейский спросили у Кумэды:

— Значит, на следующий год можно рассчитывать на урожай? Землю натаскали, да и удобрili ее пеплом и человеческим дерьмом.

— М-да, — пробормотал Кумэда, задумчиво склонив голову, — с научной точки зрения на этой земле ни хрена не вырастет...

Все лето ушло на перевозку плодородной земли, но результаты нашего труда, вложенные деньги и силы пошли прахом за один вечер. Обрушившийся в сентябре на остров Хонсю тайфун неожиданно изменил направление и задел Хоккайдо. Один лишь тайфун — это бы еще не страшно, тем более что валить в нашем поселке особенно нечего. Но он сопровождался ужасным ливнем, река вышла из берегов, каналы и канавы переполнились водой, которая затем хлынула на поля. За лачуги мы не беспокоились, поскольку построили их на высоком месте, а вот поля... На следующий день после бури, когда мы повывезали из своих жилищ, нашим глазам предстала безрадостная картина: поля превратились в озера, по которым гуляла волна. Мы безмолвно стояли с женой на меже и думали об одном: пропали наши труды. По всему плодородному слою, который мы нанесли летом, будто прошлась огромная коса. Его унесло в реку, обнажив гальку и булыжники, которые влажно блестели на солнце, словно их только сегодня откололи от горы и они скатились сюда, на участок.

Ливень натворил бед не только в нашем поселке, но и на всей территории Хоккайдо. Он нанес серьезный ущерб городам и деревням, пастбищам, хозяйствам старожилов, но особенно сильно пострадали поселенцы. Им и прежде нелегко приходилось, теперь же их хозяйства оказались на грани полного краха. В ряде районов поля залило водой, снесло жилища, разрушило каналы, размыло канавы. Я побывал по делам в городе и узнал, что многие поселенцы потеряли всякую надежду восстановить свои поля и уезжают. Некоторые сбегают, даже не спустив воду с полей, превратившихся в топкие болота. Свою землю они сбывали по дешевке — один тан за пачку сигарет. Вслед за владельцем велосипедной мастерской и кондитером из нашего поселка уехали школьный учитель и врач.

Мне хотелось узнать, куда деваются поселенцы, покидающие Хоккайдо. Никто из уехавших из нашего поселка так и не сообщил нам, где он собирается обосноваться. В большинстве своем они были выходцами из Токио и, видимо, туда намеревались вернуться, но я понимал, что и в Токио им негде приклонить голову. Именно поэтому они в свое время завербовались на Хоккайдо. Отчего же они бегут отсюда в никуда, удивлялся я. Когда школьный учитель и врач сообщили, что покидают поселок, я не пытался их удерживать. Но все же поинтересовался, куда они уезжают.

Врач с виноватым видом извинялся, что бросает меня, после того как я специально ездил в Токио, заставил министра земли и леса оказать помощь поселенцам, вот и дорога наконец проведена... Жалко расставаться, но другого выхода, мол, у него нет.

— Сумеете ли вы прожить в Токио? — спросил я.

— Устроюсь как-нибудь. У меня все же есть специальность, — грустно ответил врач.

А учитель промолчал, не желая, видимо, распространяться на эту тему.

Мне ничего не известно о том, что стало с учителем и врачом, как они устроились. Никто из покинувших поселок не прислал даже весточки о себе. Один городской житель рассказывал мне, будто на черном рынке в Хакодате видел похожего на владельца велосипедной мастерской человека, который пытался всучить прохожему под видом сигарет пустые коробки, но, точно ли то был он, утверждать не может. Даже такой нестигаемый борец, как циновочник, стал замкнутым, неразговорчивым. Я случайно встретился с ним на черном рынке и удивился, насколько он постарел: бледный, в лице ни кровинки, сгорбившись, он бродил среди толпы. Он подошел к той самой девице, которая торговала рисом с кари, и долго глядел на бурлившее в котле варево, а когда та потребовала, чтобы он не торчал перед глазами, циновочник лишь виновато улыбнулся и пошел прочь, даже не наорав на нее. Теперь он почти безвылазно сидел в своей лачуге и кое-как обрабатывал поле на кругом склоне горы. Я заговорил с ним о нашей поездке в Токио, пытаюсь разбередить его душу, оживить его деятельную натуру, но он, понутив голову, лишь пробормотал в ответ что-то неопределенное, потом замолчал и рассеянно уставился в небо. Все как-то пали духом — даже Лапша и Сверчок. Лишь полицейский, когда бывал под хмельком, вдруг, будто вспомнив что-то, начинал топтаться среди снега и бормотать:

— ...Умереть, все должны умереть. Если умрут, обязательно соберутся люди...

Голос у него был осипший, но не чувствовалось в нем ни былой силы, ни настойчивости. Эти откровенные, жестокие слова соответствовали нашей жизни среди дикой природы, но, когда шаги полицейского затихали вдали, мне начинало казаться, несмотря на свирепость его бормотания, будто не взрослый человек это говорит, а ребенок, кланчущий сладкое.

Здесь кругом лишь каменистая земля да время, в движении которого сменяются времена года.

Я не намерен умирать, но и не могу сказать, что живу.

В будущем году попытаюсь, пожалуй, посадить немного картошки.

# Токио как он есть



## ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ — ХАНАМИТИ<sup>1</sup>, УСТАЛАННАЯ ДЕНЬГАМИ

Десятого июля с десяти часов утра в общественном здании «Бункё кокайдо», расположенном близ парка Горакуэн, происходили выборы председателя либерально-демократической партии. Протерев заспанные глаза, я отправился поглядеть на это действо.

Фракция Хаято Икэды собралась в столовой парка, фракция Сато и Фудзиямы — в гостинице «Принс-отель» в Акасака, и я решил вначале посетить «Принс-отель», затем столовую в Горакуэн, а потом уже отправиться в «Бункё кокайдо». В парке Горакуэн члены фракции Икэды, напившись кока-колы и пива, были в приподнятом настроении. Я подошел к дежурному и спросил, сколько собралось человек. Тот ответил: двести сорок пять, короче говоря, большинство, и победа фракции обеспечена. В «Принс-отеле», где заседала фракция Сато — Фудзиямы, на аналогичный вопрос мне отказались ответить, мотивируя тем, что обнародование числа участников может иметь нежелательные последствия.

Здание «Бункё кокайдо» было переполнено. Помимо коррес-

---

<sup>1</sup> Ханамити — дорога цветов — помост для актеров, выходящих на сцену через зрительный зал.



пондентов радио, телевидения, газет и журналов, первый и второй этажи заполнили приехавшие из провинции родственники депутатов от либерально-демократической партии, а также многочисленные зеваки.

Места для прессы были отведены в первом ряду обоих ярусов, мне предоставили кресло во втором ярусе. Учитывая близорукость и заранее зная, что буду сидеть высоко, я запасся сильным биноклем, который мне любезно предоставили в редакции. Слухи о том, что на подкуп голосов затрачено от двух до трех миллиардов иен, также подогревали мой интерес. Поблизости от меня сидел писатель Сётаро Ясуока, которого один еженедельник попросил написать репортаж о выборах председателя либерально-демократической партии. Завидев у меня бинокль, он сразу же попросил одолжить его на минутку и стал оглядывать зал.

— Хорошо видно? — спросил я.

— Отменно. Полезную штуку ты прихватил. Вижу, подготовился.

— Здесь как на бегах. Без бинокля не обойтись.

— Приобщаемся к современной технике.

Тем временем началась церемония. Был исполнен государственный гимн, затем избрали председательствующего для ведения конференции и его заместителя, выслушали отчетный доклад и приветствие председателя партии. Все шло гладко, без сучка и задоринки, будто крутилась новенькая шестерня, только что вытащенная из банки со смазочным маслом. В приветствии, произнесенном громким, отчетливым голосом, были все самые правильные и красивые слова, какие только можно отыскать: независимость, справедливые выборы, модернизация, выполнение всех обещаний, прекращение роста цен на товары, стабилизация жизни народа, согласие и порядок внутри партии и многое, многое другое. Кажется, Гитлер провозгласил, что в большой жи есть нечто такое, что заставляет людей в нее поверить. «Воистину, речь политического деятеля напоминает ритмический шум, странным образом воздействующий на психику слушателя», — пробормотал Ясуока. Примерно с середины приветственной речи он начал ухмыляться, потом не выдержал и захохотал в полный голос. Позже, когда мы пили пиво, он все повторял: «Политика — это искусство внушения, именно внушения!»

Церемония закончилась сравнительно быстро, и началось главное действо, стоившее три миллиарда иен. На сцену внесли кабины и начали в алфавитном порядке приглашать для голосования членов палаты советников и палаты депутатов, делегатов конференции.

Получив пустой бюллетень, каждый из них заходил в кабину, поворачивался спиной к залу, вписывал чью-то фамилию, сгибал бюллетень вдвое, засовывал в ящик и чинно уходил на правую сторону сцены. Я навел бинокль на ящик,

сфокусировал на бюллетень, но ничего не смог разобрать.

Никто не колебался, не задерживаясь лишнее время в кабине, быстро вписывал фамилию, опускал бюллетень в ящик и уступал место следующему. Каждая вдвое согнутая бумажка стоила два, три, пять, а то и все десять миллионов иен — пожалуй, самый высокий гонорар в мире! Положим, если бы меня купили за два миллиона иен, то, впиши я в бюллетень фамилию Хаято Икэды или Эйсаку Сато — любая из этих двух фамилий состоит из четырех иероглифов, — каждый вписанный иероглиф стоил бы пятьсот тысяч иен. Даже если бы я вписал Айтиро Фудзияму, фамилия которого состоит из пяти иероглифов, на каждый иероглиф пришлось бы четыреста тысяч. Не мудрено, что делегаты голосовали быстро, уверенно, не задерживаясь в кабине лишней минуты.

Я сравнил эти суммы со своими собственными гонорарами, и мне стало так тоскливо, так муторно на душе, что тут же захотелось уйти домой, залезть в постель и со стыда с головой укрыться одеялом. В свое время Рёкуу Сайто<sup>1</sup> говорил: «Надо помнить, что у писателя одно лишь перо, а палочек для еды две». Но никакие слова, никакие цитаты не могли исправить испорченное настроение. Я подумал о том, что совершаю неслыханную глупость, когда пишу за жалкие, по сравнению с умянутыми суммами, гроши. От этих мыслей мои мозги размягчились, рука отяжелела, перо стало неподъемным, испарились остроумие, воображение и злость. Поэтому пусть простит меня читатель за то, что из-под пера вышли сухие, жалкие строки. Сейчас я словно пиво без пены, словно утка с переломанными ногами, словно обвисшие груди старухи...

Наступил момент вскрытия ящика с бюллетенями.

На столе маленькая горка бумажек стоимостью от двух до трех миллиардов иен.

Несколько человек с круглыми головами поднялись на сцену, разделили бумажки на несколько кучек и приступили к подсчету. Я навел бинокль на их руки. Движения их были точные, быстрые, привычные — словно они всю жизнь подсчитывали не клочки бумаги, а деньги. Время от времени кто-нибудь поплеывал на пальцы, чтобы легче было считать. Их кривые ноги растопырились в разные стороны, зато руки двигались, я бы сказал, даже красиво — настолько точно, привычно и уверенно они касались бумажек.

Внезапно тучный мужчина с красным от прилива крови лицом оторвался от бумажек и высоко поднял руку. Я поспешно сфокусировал бинокль на висевшей у него на груди ленточке и прочитал фамилию — звучную, как у героя эстрадных рассказов: «Сэйдзюро Арабунэ». Он был из фракции Икэды. Мужчина

---

<sup>1</sup> Рёкуу Сайто (1867—1904) — известный японский писатель-сатирик.

показал два пальца, потом четыре, потом опять два и крикнул: «Банзай!» Это означало, что за Хаято Икэду подано двести сорок два голоса — большинство! Фоторепортеры вскочили с мест, защелкали фотоаппараты, засверкали вспышки.

— Победа!

— Иначе не могло быть!

— Победил Икэда!

— Победил, победил!

После того как Икэда грубоватым голосом произнес короткую речь, Сато и Фудзияма поднялись на сцену и пожали руку вновь избранному председателю. В кружке окуляров бинокля я увидел, как Сато обменялся с Икэдой рукопожатием и что-то ему сказал. Наверное, «поздравляю». Фудзияма приветствовал его с широкой улыбкой на лице. Ходят слухи, что для Фудзиямы занятие политикой своего рода хобби. После одного случая мне тоже так показалось. Однажды, когда фракция Икэды устроила сборище в одном из зданий в районе Хиракава, я заглянул в отель «Нью Джапан», где располагался штаб Фудзиямы. Меня встретил лениво развалившийся в кресле секретарь. В это время скупка голосов была в самом разгаре, и, судя по всему, белый носовой платок Фудзиямы тоже слегка загрязнился.

— А где ваш босс? — спросил я секретаря, предполагая, что Фудзияма отправился кого-то уговаривать либо давать взятку.

— Пошел разучивать народные песни, — тихо ответил секретарь.

Провожаемые аплодисментами, Фудзияма и Сато сошли с трибуны. Борьба прекратилась, огни погасли. Танец денег окончился. Наступило время постирать носовые платки, чтобы они снова выглядели белоснежными. Боссов ожидают исполнительницы игры на сямисэна и ночной клуб «Ренуар». Прислушиваясь к звукам сямисэна, напоминавшим шелест дождика, ударяющего в крышу, они не спеша обдумывают «независимую линию национальной внешней политики».

Последний месяц наборщики в типографиях крупнейших газет в Токио каждый день набирают одни и те же слова для первых страниц газет, где помещаются статьи политического характера, и для колонок светской политической хроники. Позевывая, набирают иероглифы, из которых складываются фамилии Икэда, Фудзияма, слова «отряд», «фракция», «группировка». К ним азбукой добавляются прилагательные: «улыбающийся», «активный», «подозрительный». Ежедневно газеты пестрят глаголами «закреплять», «загонять», «теснить». Начинаешь думать, будто идут Олимпийские игры по вольной борьбе или дзюдо.

Читатель узнаёт из газет, какая фракция или группировка усилилась, какая ослабила свое влияние: «Фракция «морских котиков» спешно закрепляет за собой голоса»; «фракция «цикад» начала теснить своих противников» и так далее и тому

подобное. Но из этих фраз читатель совершенно не способен понять, почему «морские коттики» усилились, а «цикады» теснят противников. На эти вопросы газеты никаких конкретных ответов не дают.

Каждое утро эпитеты и ярлыки в отношении фракций и группировок меняются. Из этого читатель делает вывод: «Так-так, значит, накануне вечером что-то произошло!» А что произошло — он не знает и узнать из газет не может. Причем аналогичный метод применяется во всех газетах без исключения: солидные, полные уверенности слова при абсолютной неясности, неопределенности содержания. Этот разрыв, противоречие между словами и сутью с каждым днем становится все более разительным.

Утверждают, будто в демократических странах Запада признается «свобода информации» и «свобода критики». Япония принадлежит к странам типа западной либеральной демократии. Но в информации о выборах руководителя, который явится вершителем наших судеб, мы не узнаем ничего, кроме нескольких спортивных терминов, употребляемых в дзюдо и вольной борьбе. Остается одно: тяжело вздохнуть среди липкого тумана ничего не значащих слов.

Какая может быть критика, если нам ни о чем не сообщают? И можем ли мы серьезно размышлять о чем-то полезном для нашей родины, если лишены возможности критиковать? У нас в Японии нет свободы информации об истинных действиях властей предрержащих и, следовательно, отсутствует действительная свобода критики. В Америке еще иногда проявляется нечто вроде «свободы информации», «свободы критики», некое подобие предсмертных судорог огромного животного. У нас же в Японии, особенно в последний месяц, я не наблюдал ни того ни другого.

В нашей стране существует полная свобода информации о том, что на морском побережье в Нумадзу появилась морская черепаха с метровым панцирем, а мелкий чиновник министерства торговли и промышленности присвоил двадцать пять тысяч иен. Но не жди информации, когда речь идет о двух или трех миллиардах иен, которые используются руководящими деятелями правительства в борьбе фракций. При этом денежные суммы скрытно перемещаются из рук в руки, и с них даже не взимаются положенные налоги с пожертвований. Нас пичкают лишь спортивными терминами. Поэтому народу остается либо уповать на силу сомнительного воображения, либо проявлять полное безразличие.

Мы — демократическая страна, признающая свободу идей и политических партий. Либерально-демократическая партия не является единственной политической партией. И мы привыкли с безразличием относиться к тому, представитель какой фракции — «морских котиков» или «цикад» — станет ее председателем. Но эта партия благодаря голосованию народа, осуществля-

емому на основе свободного волеизъявления, проводит в парламент наибольшее число депутатов, и обстановка в партии, таким образом, непосредственно отражается на обстановке в кабинете министров, на положении в правительстве и государстве. Если «морской котик» оказывается во главе партии, то и мы все волей-неволей становимся похотливыми, как морские котики, а если председателем партии становится сторонник «цикад», то и мы все с наступлением ночи вынуждены скрытно ползать повсюду, посверкивая цикадскими глазами. Выходит, вопрос о том, кто станет председателем этой партии, касается лично каждого из нас, и нам следует глядеть в оба и, послушив палец, проверять направление ветра. Вот и автора мобилизовали для этих целей, вынуждая его ломать свою дырявую, как морская губка, голову.

Автор потратил неделю, а то и все десять дней на хождение то в парламентский пресс-клуб, то в пресс-клуб при официальной резиденции премьер-министра, встречался с осведомленными людьми, посещал штаб-квартиры различных фракций. Когда становилось известно, что «морские котики» собрались в восточной части города, он спешил туда. Если в западных районах слышалось стрекотанье «цикад», он шел к «цикадам». Прежде он обычно просматривал в газетах лишь заголовки да зарубежные сообщения, а теперь читал их от корки до корки и, обнаружив намеки на некие новые замыслы, мчался на то или иное собрание.

Ему не всегда удавалось побывать непосредственно на месте, где происходила борьба фракций, и тогда он не мог дать репортаж «с места событий», и суть борьбы ускользала из рук, словно мокрое мыло. В этих случаях он, недовольно ворча, поздно вечером возвращался домой, валился без сил на постель и засыпал, тревожно храпя во сне. Временами ему казалось, будто золотая рыбка у него на крючке, но в последний момент ей удавалось ускользнуть...

Внутри либерально-демократической партии существуют разные фракции — Икэды, Коно, Кавасимы, Мики, Сато, Фудзиямы, Киси, Фукуды, Исии и других. Когда приближаются выборы председателя партии, Икэда прибирает к рукам целиком фракции Коно, Кавасимы, Мики и ныне покойного Оно. Один весьма осведомленный человек назвал это «методом траления рыбы». В ответ антиикэдовская фракция Сато—Фудзиямы использует метод «одиночной» ловли — уговаривает и берет на крючок рядовых членов, которые не попали в сеть траулера. Кроме того, в сетях оказываются и те, кто настроен против Икэды. Сато и Фудзияма оставляют их там, зная, что в нужный момент они проголосуют за фракцию Сато—Фудзиямы. А до тех пор этот «отряд лазутчиков» как ни в чем не бывало ест и пьет за счет фракции Икэды, бормоча: «Весьма признателен», «Премного благодарен».

— Поскольку голосование тайное, голосующий может впи-

сать в бюллетень любую фамилию? — спросил я у весьма осведомленного человека.

— Вполне, — подтвердил он.

— Не исключено, что и люди из «отряда лазутчиков» могут нарушить данное слово и перекинуться на сторону противника?

— Верно. Там есть немало молодчиков, способных выполнять роль шпионов-двойников. Они тянут деньги и с Сато и с Икэды.

— Это рядовые члены партии?

— Видимо, рядовые.

— Ну, а сами-то боссы — Коно, Кавасима, Мики, — как правило, в нужный момент присоединяются к фракции Икэды, но, судя по всему, между собой они тоже ведут закулисную борьбу за теплые местечки, посты и привилегии. Не так ли?

— Вы правы. Их в первую очередь интересуют личные выгоды, и ради этого они готовы выступить в поддержку и Икэды и Сато.

— Значит, вполне можно предположить, что Коно, Кавасима, Мики и другие, поддерживая словами и действиями фракцию Икэды, в решающий момент выборов могут по внезапному побуждению проголосовать за Сато и Фудзияму?

— Это не исключено, совершенно не исключено. Тем более при тайном голосовании они способны выкинуть любой фортель. Рядовые члены все время находятся под наблюдением, и их подозрительное поведение проще заметить. Боссы же считаются вне подозрений, поэтому никто не следит за тем, какие фамилии они вписывают своими шариковыми ручками в бюллетени.

— Вот как?

— Когда человек становится боссом, он получает выгоды от любой фракции, на чью бы сторону ни переметнулся, — настолько велики его сила и влияние. Отсюда возможность самых невообразимых зигзагов.

Этот весьма осведомленный человек сообщил мне также, что на последние выборы председателя партии фракция затратили от двух до трех миллиардов иен.

— Наличными? — спросил я.

— Конечно, наличными. Сейчас в мире нет большей силы, чем наличные деньги.

— Они приносят деньги в чемоданчиках?

— Чаще всего в фурсики. Несколько лет назад их заворачивали в обыкновенную газетную бумагу, а теперь в оберточную или в фурсики.

— Вручают деньги сами боссы?

— По-разному бывает: и сами боссы, и их секретари, или жены, или любовницы. Иногда приносят деньги доверенные функционеры фракции.

Как правило, для вручения взяток используется некий ресторан в Акасаке, Цукидзи или Янагибаси. Деньги вручают

потихоньку, предварительно удалив из отдельного кабинета, где происходит пиршество, официантов. Обычно в ресторане, где босс вручает взятку, у него имеется любовница, которая по желанию босса присутствует при передаче денег.

— Позвонишь ей в ресторан попозже и спросишь: «Ну как там босс, все прошло успешно?» И она без всякого смущения отвечает: «Идиотизм! Он дал три миллиона такому негодю и еще униженно кланялся при этом», — рассказывал весьма осведомленный человек.

Мало того! Супруги боссов отправляются к женам рядовых членов, стараются привлечь их на свою сторону, приглашают в гости. Все это напоминает некое состязание, в которое вовлечены боссы и рядовые, мужчины и женщины. Настоящий танец денег стоимостью три миллиарда иен! Таков, по-видимому, истинный характер «выборов председателя». Но поскольку никому из нас не удается присутствовать на месте действия или заполучить вещественные доказательства, фразы, рисующие подобную закулисную деятельность, мы всегда вынуждены начинать словами «говорят, что...» «передают, будто...». Причем такая информация о взятках, передаваемая на ушко, подается на первых полосах газет в форме округлых фраз вроде: «Последние несколько дней «морские котики» усиленно занимались закреплением голосов».

Фракции, клики, теплые места, посты, денежные взятки, привлечение сторонников, закулисные действия — все это существовало в разных странах во все времена. Распространено мнение, будто в политике есть лозунги и есть истинные намерения, которые не совпадают друг с другом, но мне бы не хотелось нынешние смутные времена в Японии объяснять лишь неизбежным злом, присущим всему человечеству. Следуя подобной аргументации, я уподобился бы Эразму, который бежал, испугавшись чумы, и вынужден был бы положительно оценивать возвышенность, чистоту, объективность, уравновешенность, прискорбность и глубокую проницательность таких рассуждений. Но лично я их не приемлю. Столь стерильную чистоту и безразличную холодность можно сохранить, если, не снисходя до высмеивания и ругательств, говорить, стоя на заоблачной вершине, об этих толстошеих «морских котиках» и «цикадах» как о неизбежном зле, которое всего лишь незаметный, преходящий штришок в извечной среде земного обитания! И как красиво об этом можно написать!

В конечном счете фракции Икэды, Сато, Фудзиямы практически ничем не отличаются друг от друга, как и их белоснежные носовые платки. Между ними нет Логически обоснованных политических разногласий. «Искривления в политике высоких темпов развития!», «Политика, основанная на неверии в человека!», «Независимая национальная внешняя политика!» Единственный раз громко прозвучали трубы — и стихли! Да и могли ли они продолжать трубить? Не следует брать в руки трубу,

когда заранее известно, что не хватит дыхания. Но... сначала были деньги. Поэтому люди мечутся. Ларчик открывается просто. Икэду и Сато лишь заставляли метаться и бегать. Они лишь марионетки в театре теней. Не будь денег, они бы не суетились. А курс нашей страны определяют только те, кто дал им деньги. И если не заметить этого маленького «секрета», напоминающего откровенный грабёж среди бела дня, все остальные рассуждения и споры сведутся лишь к бессмысленному труду наборщиков.

Мне ничего не удалось узнать. Десять дней потратил я, напрасно пытаюсь ухватить все время выскальзывающий из рук кусок мокрого мыла. Существовали лишь упорные, но в то же время крайне неопределенные слухи о циркуляции «голосов», но «людей» не было нигде. Невольно мне на память пришло старинное азиатское изречение: «Несчастлива страна, управление которой доставляет мучения даже мудрому правителю. Счастлив народ той страны, которой способен управлять даже глупец». Если следовать этой мудрости, то мы счастливы, поскольку молчим, не поднимаем голос протеста. Дорогие мои братья и сестры — читатели! Мы счастливы! Мы очень счастливы! Мы удивительно счастливы! Нас обирают налогами, не выполняют данных нам обещаний, кругом царит коррупция, растут цены на рис, сакэ, молоко, редьку, растет плата за телефон, за проезд в автобусе и по железной дороге, за обучение в школе, за пользование банями и парикмахерскими, а мы, махнув на все рукой, становимся в красивую позу примирения с судьбой и твердим: как будет, так и будет, чему суждено исчезнуть — исчезнет, жизнь на земле никогда не станет честной, да и вообще мы по ошибке появились на свет. Мы счастливы! Мы чертовски счастливы! (И забываем, что слово «счастье» звучит по-японски и как другое слово: «капитуляция». — *Прим. автора.*)

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛУБ — ХРАМ ФИНАНСОВЫХ ВОРОТИЛ

На прошлой неделе я опускался на токийское «дно», теперь же решил подняться ввысь. Раздумывая, что бы такое посетить «наверху», я остановил свой выбор на Японском промышленном клубе, расположенном в районе Маруноути<sup>1</sup>. Пришлось в связи с этим сменить резиновые сапоги и куртку с капюшоном на черные ботинки и пиджак с галстуком.

Промышленный клуб — храм финансовых воротил, святая святых японского капитализма. Так по крайней мере мне говорили. Я раздобыл список членов клуба и увидел, что там

---

<sup>1</sup> Маруноути — японский Уолл-стрит.



плотным столбиком напечатаны фамилии самых разнообразных выдающихся личностей. То были люди, о которых газеты и журналы в разделах светской хроники писали как о крупных деятелях, загадочных фигурах, обыкновенных выдающихся, необыкновенных простых личностях, отпрысках аристократических фамилий, на своей шкуре испытавших, почем фунт лиха, дьяволах, сохранивших человеческие чувства, о людях, которые, несмотря на бурную жизнь, сохранили на голове волосы, что является признаком непоколебимой воли, о «яйцеголовых», чьи лысеющие черепа матово поблескивают серебром, и так далее и тому подобное.

Не знаю, какой тут срабатывает механизм, но об этих людях пресса никогда не злословит. Много лет я задумывался над этим странным явлением и даже завидовал подобным личностям. Бывало, кто-либо из этих людей — взбредет же человеку в голову! — начинал бить себя в грудь, сам себя обзывал негодяем, злодеем... Но не тут-то было! Газеты все переиначивали на свой лад, присовокупляя такие эпитеты, как «последний из могикан»; «загадочная личность»; «многоопытный деятель»; «эмоциональный человек, достигший возраста, когда прощительно все, что бы он ни сказал и ни совершил»; «предприниматель с большой перспективой». Борьба за власть, грабёж среди бела дня, спекуляции, взяточничество — что бы такая личность ни совершала, пресса о ней злословить не станет. Любые неблагоприятные действия микшируются и не предаются гласности. Бывает, правда, кое-что просачивается наружу, и тогда такому деятелю дают какую-нибудь эффектную кличку. Но чем эффектней кличка, тем эффектней его превозносит пресса. Сомерсет Моэм — этот непревзойденный мастер крылатых фраз — однажды сказал: «Литература подобна женщине легкого поведения. Чем больше она стареет, тем больше ею восхищаются». Ситуация, в общем, аналогичная как для Запада, так и для Востока, и, видимо, не только в литературных кругах.

Говорят, Промышленный клуб отличается от других клубов своей особой импозантностью и величием. Там есть гостиные и ресторан, куда открыт доступ только членам клуба. На первом этаже — специальная комната для прессы, где собираются корреспонденты различных газет. Их не допускают в упомянутые гостиные и ресторан, поэтому даже им неизвестно, о чем там беседуют яйцеголовые божества без нимбов и загадочные личности. Перед носом журналистов и прочих наглухо захлопываются тамшние дубовые двери, и им ничего не остается, как развлекаться и закусывать в предоставленной для прессы комнате. Создается впечатление, будто члены клуба принадлежат к «неприкасаемым» — конечно, в ином смысле. Подозрительному романисту, вроде меня, невольно приходит в голову мысль, что, видимо, у членов клуба есть веские основания не подпускать к себе журналистскую братию, хотя она ничего, кроме славословий, о них не пишет.

Здание Промышленного клуба было воздвигнуто в 1917 году, когда площадь перед токийским вокзалом представляла собой заросший бурьяном пустырь, и сохранилось в неизменном виде по сей день. В ту пору оно, наверно, казалось токийцам невиданным белоснежным дворцом. Теперь же вокруг него поднялись огромные небоскребы и оно потеряло свое былое величие. Над парадным входом в Промышленный клуб — скульптурное изображение шахтера и ткачихи, символизирующих две ведущие в тогдашней Японии отрасли промышленности.

Постоянный секретарь правления Промышленного клуба господин Яманэ провел меня на крышу здания и, указывая рукой на скульптуры, горделиво сказал: «А ведь неплохо, правда?» Мне ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть, хотя с души воротило от этих бесталанных «произведений искусства».

В ту пору еще не были созданы «Никкэйрэн»<sup>1</sup> и «Кэйданрэн»<sup>2</sup>, и все проблемы труда и управления обсуждались и решались «божественными» в Промышленном клубе: как навести мосты к правительству, как привлечь на свою сторону полицию, каким образом заполучить из банков кредиты и многое другое. Промышленный клуб тогда поносили как «читатель всех пороков капитализма», перед его зданием нередко устраивались демонстрации. Бурные и тревожные были времена. На церемонии закладки этого белоснежного дворца Кихати-ро Окура<sup>3</sup> зачитал им самим сложенное стихотворение:

Здесь рождается  
Промышленный клуб,  
Чтобы воспитывать в разуме  
И умеренности,  
На благо себе и другим.

В те годы многие предприниматели, должно быть, увлекались поэзией, слагая стихотворения в тридцать один слог, но столь неуклюжего, жалкого стиха я не встречал даже на сикиси<sup>4</sup> в муниципалитетах провинциальных городишек.

Если подумать о событии, которому это стихотворение посвящалось, то без смеха его невозможно было читать. На следующий год после того, как было создано это знаменитое стихотворение, по всей Японии прокатилась волна «рисовых бунтов», пролились потоки крови, и с божественного прорицания напрочь слетела позолота.

<sup>1</sup> «Никкэйрэн» — федерация предпринимателей Японии.

<sup>2</sup> «Кэйданрэн» — ассоциация экономических организаций.

<sup>3</sup> Кихати-ро Окура (1837—1928) — предприниматель, основатель военного концерна «Окура».

<sup>4</sup> Сикиси — разноцветные листы бумаги, на которых кистью писали стихотворения или известные изречения.

По словам господина Яманэ, в настоящее время Промышленный клуб представляет собой пупок, оставшийся после того, как обрезали пуповину. Надо учесть, что так утверждает человек, прошедший в стенах клуба половину своей жизни. «В прежние времена клуб выполнял определенные функции, теперь же остался один пупок», — сказал Яманэ. Проблемы труда сейчас находятся в ведении «Никкэйрэн», проблемы управления — «Кэйданрэн», а породившему их Промышленному клубу стало абсолютно нечем заниматься, и он превратился исключительно в клуб для светского общения. Господин Яманэ сообщил мне, что ныне клуб насчитывает полторы тысячи членов. Каждый год умирает до сорока человек, освободившиеся места заполняются новыми членами. Причем ежегодно на эти места претендует до четырехсот человек. Похоже, «пупок» чем-то очень их привлекает.

Вопросом о том, кто достоин стать новым членом клуба, а кто должен быть отвергнут, занимается Совет директоров клуба в составе восьми человек:

Тайдзо Исидзака-кун (председатель)  
Тадаси Адати-кун  
Рэйносукэ Кан-кун  
Тадахару Мукаи-кун  
Синъити Кодзима-кун  
Кэйдзи Накадзима-кун  
Канъити Морои-кун  
Дайгоро Ясукава-кун.

Эти сведения я почерпнул из списка, предоставленного мне в канцелярии клуба. Не знаю почему, но здесь к «божественным» именам и фамилиям добавляли суффикс «кун»<sup>1</sup>. Мне разъяснили, что такова традиция. Подобная фамильярность в обращении и вместе с тем недостижимость этих людей странно контрастировали, будто лицевая и оборотная стороны щита.

Я поинтересовался: каким требованиям должен удовлетворять человек, чтобы быть принятым в члены клуба? Мне ответили: решение принимает Совет директоров после всестороннего изучения информации о претенденте, выяснения его финансового положения и деятельности его компании, а также его личных связей и знакомств с нынешними членами клуба.

Но решающее значение имеет не капитал. Прежде всего обращают внимание на личные качества, образованность и взгляды желающего вступить в клуб. «К этому подходят особенно строго», — пояснил господин Яманэ.

— Кому отказывают?

---

<sup>1</sup> Кун — суффикс к именам и фамилиям при фамильярном обращении.

— Ну, например, если претендент был уличен в обмане, или не вернул долг, или имел судимость.

— Мне известна одна личность по прозвищу Грабитель. Он, кажется, тоже принят в члены клуба?

— Он получил эту кличку, уже будучи его членом.

— Бывают ли случаи, когда исключают из клуба?

— До сих пор подобных прецедентов не было. — Господин Яманэ рассмеялся.

Судя по разъяснениям Яманэ, все члены Промышленного клуба полностью соответствуют предъявляемым строгими правилами требованиям — ни дать ни взять увенчанные пожизненной славой и почетом английские джентльмены, обладающие отменным характером, обширными знаниями, благородным воспитанием и безупречной биографией. Но когда мы разговорились за чашкой чая, господин Яманэ вдруг заявил, что у нынешних финансовых воротил Японии «нет ни своей философии, ни принципов, ни убеждений; у них нет ни способностей, ни времени для чтения и размышлений; их точку зрения по всем вопросам пишет и излагает секретарь, знания у них нахватанные, обо всем судят понаслышке; их занятия заключаются лишь во встречах и беседах с посетителями. И потом... они всегда спешат». С утра до вечера — бесконечные встречи и разговоры. Вечером где-нибудь в районе Акасака они присутствуют на трех-четырёх банкетах, а в воскресенье играют в гольф либо разучивают народные баллады «Токивадзу», или, на худой конец, развлекаются изготовлением безвкусных чашек. Причем игра в гольф и банкеты — исключительно за счет компании, особняки, в которых они живут, тоже принадлежат компании, и навряд ли найдется среди этих финансистов хоть один, который приобрел бы машину и содержал шофера за собственный счет. В общем, они явно заслуживают сострадания. Бедные они бедные, несчастные они несчастные! Все время куда-то спешат, нет у них даже свободной минутки, чтобы почитать книгу, а в результате в мозгу — полторы извилины. Но ведь делают вид, будто ревностно пекутся о будущем Японии. Жалкие ничтожества! Куда подевались те прежние джентльмены английского типа с их «отменным характером», «обширными знаниями» и «благородным воспитанием»? Они исчезли, их теперь нет и в помине!

Выслушав эту тираду господина Яманэ, я попросил его назвать хотя бы одного из таких людей-пустышек. Но тот лишь упорно твердил, что это «всеобщее поветрие», и ни единого имени не назвал. Это мне напомнило критические статьи, в которых без конца повторяют: «Средства массовой информации ниже всякой критики!», «Средства массовой информации ниже всякой критики!» — а фактов не приводят. Поэтому я был волен думать: то ли Яманэ причисляет к пустым людшкам и членов Промышленного клуба, то ли все, что им было сказано, к ним-то как раз и не относится.

— ...Я — либерал, поэтому откровенно говорю все, что думаю, и не боюсь, если мои слова кого-то разгневают. А вы можете написать, как вам заблагорассудится.

Ничего не выдумывая и не примысливая, я записал так, как говорил Яманэ: «всеобщее поветрие». Перечитав свои записи, я ощутил некую неудовлетворенность: слова вроде острые, резкие, но... чего-то недостает — не возьмут они за живое того, кто их прочтает. Залихватский либерализм господина Яманэ напомнил мне хай-бол<sup>1</sup> без виски.

Господин Яманэ уже в возрасте. Он происходит из семьи музыканта и с тридцати лет служит секретарем в Промышленном клубе. «Предприниматели не любят читать книги, но еще меньше читают люди искусства», — пожаловался он. Правда, сам он не таков — в воскресенье прочитал монографию Тойнби<sup>2</sup> и увлекся его взглядами на историю. До войны Яманэ подвергался гонениям со стороны японской полиции, а после войны его с пристрастием допрашивали в штабе американских оккупационных войск. Яманэ любит повторять, что он либерал, поэтому не стеснясь любому говорит нелिцеприятные вещи. Согласившись на секретарскую работу в Промышленном клубе, он рассчитывал на легкую жизнь, но все оказалось гораздо сложнее. Бывали ситуации, когда приходилось проявлять решительность, хотя у самого поджилки тряслись. В результате — неоднократные кровоизлияния в глазное дно и прочие недомогания. Алкоголем, по словам Яманэ, он не увлекается, для аппетита выпивает перед обедом бутылочку легкого пива. В его подчинении — сто сорок человек обслуживающего персонала. Профсоюза в Промышленном клубе нет, а зарплата — самая низкая среди обслуживающего персонала во всем районе Маруноути. Даже в «Кэйданрэн» — этой цитадели финансовых кругов Японии — существует профсоюз, причем один из самых активных. Яманэ предлагали организовать профсоюз в Промышленном клубе, но он наотрез отказался. Заявил: «Если здесь появится профсоюз, я уйду в отставку». Господин Яманэ высказал опасение, что с созданием профсоюза «нарушится традиционный для клуба принцип „мира и согласия между людьми“». По его словам, девушки из обслуживающего персонала здесь долго не задерживаются. Они быстро выходят замуж, а новых нанять трудно. Он даже обращался за помощью в Общественную организацию по трудоустройству, но там настолько удивились низкой зарплате в Промышленном клубе, что предложили ее повысить хотя бы на три тысячи иен, иначе желающих не найти. Яманэ отказался. Господин Яманэ уверовал в то, что изначальная суть капитализма — «в здоровом, бережливом, усердном и честном пуританизме». Он сокрушался, что «современная экономическая наука слишком увлеклась разнообразной аналитической деятельно-

---

<sup>1</sup> Виски со льдом в высоком бокале.

<sup>2</sup> Тойнби, Арнольд (1889—1975) — английский историк и социолог.

стью, игнорируя человеческие качества и мораль, а именно на них следовало бы обратить особое внимание».

(С этими словами Яманэ протянул мне брошюру «Новая жизнь». Перелистав ее, я убедился, что брошюра представляет собой обычный набор красивых, высокопарных, поучительных фраз, вложенных в уста президентов компаний, и меня потянуло ко сну. Наверно, у этих президентов нет способных секретарей, подумал я.)

Я много слышал разговоров о Промышленном клубе, но, осмотрев его весь — от крыши до первого этажа, — ничего особо выдающегося не обнаружил. Заглянул я и в гостиную, где по инициативе Яманэ на дверях приколочена табличка, на которой в изысканном эпистолярном стиле напоминает: «Лиц, не являющихся членами клуба, нижайше просим воздержаться от посещения». В гостиной я увидел лишь старенький ковер, небольшой бар, телевизор и полки с еженедельными журналами по целлюлозной промышленности. Несколько стариков со значительными лицами беседовали, сидя в креслах, или смотрели телевизор. В углу громко тикали большие настенные часы — произведение Тиффани, — которые одновременно показывали время, месяц и день недели, но никто из присутствующих, в том числе и Яманэ, не смог прочитать сделанные на часах надписи на иностранном языке.

Я попытался отыскать хоть что-нибудь, располагавшее к светскому общению, но, кроме двух комнат, приспособленных для игры в го<sup>1</sup>, ничего не обнаружил. (По-видимому, это соответствовало идее «здорового, бережливого, усердного и честного пуританизма», которого придерживался еще Сэйдзиро Миядзима<sup>2</sup>. Сам я не очень разбираюсь в экономических науках, предполагаю, что существует капитализм у немцев, американцев, французов, но как-то не чувствую, что этим капитализмом обязательно присущ пуританизм. Во всяком случае, мне думается, что пуританизм, понимаемый с точки зрения японской эстетики человеческого характера, не имеет ничего общего с изначальным смыслом этого слова.)

Я попросил господина Яманэ представить меня кому-либо из крупных финансистов, знакомому с закулисными сторонами деятельности японских предпринимательских кругов. Но человек, с которым меня свели, практически не добавил ничего нового к тому, что рассказал Яманэ. Правда, было одно расхождение в оценках. Финансист подтвердил: да, ныне Промышленный клуб — это в самом деле всего лишь «пупок», отрезанный от пуповины, но «финансовые боги», видимо, стремятся создать вокруг него некую атмосферу high society —

---

<sup>1</sup> Го — японская игра типа шашек.

<sup>2</sup> Сэйдзиро Миядзима (1879—1963) — предприниматель, президент ряда крупных текстильных компаний, с 1948 г. — директор-распорядитель японского промышленного клуба.

высшего общества. Любой предприниматель автоматически может вступить в «Кэйданрэн» или «Никкэйрэн», а с Промышленным клубом такое не проходит.

Значит, в Промышленный клуб хотят вступить люди из самолюбия: мол, завелась денежки — хочу славы, спросил я. А стоит ли им претягивать, ведь в Японии нет светских салонов, ответил он. Так оно, видимо, и есть: хотят создать прослойку новой аристократии.

Я намеревался встретиться с председателем Совета директоров Тайдзо Исидзакэ и с директором Тадахару Мукаи, чтобы расспросить, как происходит проверка желающих вступить в члены Промышленного клуба, но «боги» уклонились от аудиенции под предлогом занятости.

В целом у меня создалось впечатление, что Промышленный клуб не столь великолепен, как о нем говорят, но в та же время он остается для меня загадкой.

## ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ ГРОХОТ РЕАКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ

Военная база Ёкота расположена к западу от Токио.

База граничит с шестью малыми и большими городами и считается крупнейшей на Востоке. В столице Японии есть «крупнейшие на Востоке» телебашня, кегельбан, стадион, бройлерная фабрика. К ним добавилась и «крупнейшая на Востоке» американская военная база. Причем это действующая база. Ею пользуются различного рода американские военные самолеты: тренировочные, транспортные, бомбардировщики, истребители.

Среди них следует сказать особо о бомбардировщике F-105 D. Из-за сильного шума его моторов этот реактивный бомбардировщик прозвали «сандэр-чиф»<sup>1</sup>. Говорят, что он приспособлен для транспортировки водородной бомбы. Он летает в два с половиной раза быстрее звука. Если Япония подвергнется атомной атаке, объектом номер один станет военная база Ёкота, а поскольку она расположена недалеко от столицы, то и Токио будет мгновенно разрушен. Он самым первым на Востоке будет стерт с лица земли.

Все перемещения на базе являются секретом американских вооруженных сил, поэтому о них японцам ничего не сообщается. Однако те, кто живет поблизости, по одному лишь звуку распознают тип и количество самолетов. Поскольку грохот моторов местные жители слышат ежедневно — и днем, и ночью, — они научились определять силу звука не хуже звукоизмерительных приборов. Я присутствовал при необычном эксперименте. Чиновник муниципалитета города Акасимы установил измерительный прибор в лесочке близ взлетной полосы. Туда же пригласили одного местного жителя. Когда F-105 пролетел у

<sup>1</sup> «Громовержец» (англ.).

него над головой, тот определил силу звука примерно в сто двадцать пять фонов. Прибор показал сто двадцать восемь. Я был буквально потрясен столь удивительной точностью.

По рассказам жителей из соседнего городка, особенно много F-105 начало прибывать на базу с марта. Говорили, будто они прилетают с базы Итадзукэ. В начале июля их передислокация на базу Ёкота прекратилась. Всего прибыло три эскадрильи. Как раз в это время началась война во Вьетнаме, и вылеты с базы особенно участились. Самолеты поднимались в воздух даже по ночам, не давая местным жителям спать. Если в газетах публиковалась информация о начале где-нибудь военных действий, вылеты с базы сразу же учащались. Иногда некоторые события можно было предугадать еще до сообщения о них в прессе. Если ночью слышится интенсивный шум моторов, можно с уверенностью сказать, что в утренних выпусках газет будет сообщение о вспыхнувших где-то военных действиях. Четвертого августа в газетах поместили информацию об инциденте в Тонкинском заливе, а на базе Ёкота еще до рассвета в течение двух часов грохотали моторы.

— Это были F-105? — спросил я.

— Нет, транспортные самолеты C-135. Их можно узнать по особо сильному шуму моторов — хоть уши затыкай! Их взлетело довольно много.

— А F-105 теперь летают?

— Каждый день, хотя их стало значительно меньше. Подождите немного, скоро появятся. Здесь нет нужды шпионить. Они сами сообщают о себе своим грохотом.

Я зашел в дом местного жителя, с которым беседовал, и, попивая кальпис<sup>1</sup>, стал ждать. Вскоре послышался грохот, напоминавший гул землетрясения. Крыша и стены начали содрогаться, задрожала и циновка, на которой я сидел. От непрерывного шума раскалывалась голова, сотрясалось все нутро. Иногда грохот особенно усиливался, и тогда казалось, будто ты заключен в пустую железную бочку, по которой безжалостно и непрерывно бьют молотом. Затыкаешь уши и со страхом думаешь: еще секунда — и самолет обрушится на дом. Нет сил приподняться и куда-то бежать. Хочется лишь громко орать, чтобы тебя окончательно не раздавил этот невообразимый шум. Впервые за девятнадцать лет, прошедшие после войны, я вспомнил грохот бомбовых разрывов, шквальный пулеметный огонь. Я как бы вновь вернулся в детство и физически ощутил войну.

— Сколько посторонним ни объясняй — все равно не поймут. Не понять этого и журналисту, который заглянет сюда на часок и сразу же умчится стряпать статью. Чтобы понастоящему ощутить наши мучения, надо здесь жить, — сказал,

---

<sup>1</sup> Кальпис — напиток, приготовляемый с добавлением молочной кислоты.



потягивая кальпис, господин Коно, который возглавлял движение местных жителей за коллективное переселение. Господин Коно — секретарь акасимского отделения либерально-демократической партии. Он вместе с другими выступает за принятие мер против шума, создаваемого реактивными самолетами в районе Хоримуку, за запрещение полетов американских F-105.

Известно, что человеческий организм не может выдержать силу звука, превышающую сто тридцать фонов. Шум на Гинзе составляет от семидесяти до восьмидесяти фонов. Шум, вызываемый самолетом F-105, достигает ста двадцати — ста тридцати фонов. Эти самолеты летают утром и днем, глубокой ночью и перед рассветом, летают без всякого предупреждения. По словам проживающего в этом районе доктора Тоёидзуми, с тех пор как появилась база, значительно возросло число больных, страдающих гипертонией, бессонницей, нервным истощением. Появились болезни, доселе неизвестные. Младенцы страдают от конвульсий, из-за недосыпания у них повысилась раздражительность. Значительно чаще стали возникать семейные ссоры. Находясь в доме, невозможно долгое время выдерживать грохот самолетов, и жены нередко стали сопровождать мужей на работу, лишь бы только не оставаться дома. Трудно вести занятия в детских садах, начальных и средних школах. Понизились способности учащихся и соответственно уменьшился процент поступающих в высшие учебные заведения. Приходится громко кричать, чтобы услышал собеседник. В результате дети стали грубыми, даже петь разучились. Были случаи, когда во время ознакомительных поездок в Никко хозяин гостиницы, где останавливались школьники из прилегающих к базе городков, удивлялся возросшей грубости детей. Оно и понятно, дети настолько привыкли орать, что обычный разговор воспринимаются окружающими как ругань.

Больные убегают из больниц. Провода на линиях высокого напряжения опасно раскачиваются. Со стен осыпается штукатурка, с крыш — черепица. Расшатываются коренные зубы. Не слышно радио (в связи с этим обещают не брать за него плату). Резко усилились помехи на экранах телевизоров (в связи с этим плату за просмотр телепередач предполагают уменьшить наполовину). Трудно стало разговаривать по телефону. Из-за этого продолжительность телефонных разговоров удлинилась чуть ли не вдвое. Стоимость одного цубо<sup>1</sup> земли в районе баз понизилась с тридцати тысяч до девяти тысяч иен, да и за такую цену нелегко найти покупателя. На острове Хоккайдо близ Асахикавы, где расположена одна из военных баз, из-за грохота самолетов у лошадей резко возросло число выкидышей и мертворожденных жеребят. В ответ на запрос Управление оборонительных сооружений Японии заявило: «Что касается

---

<sup>1</sup> Один цубо — 3,3 м<sup>2</sup>

человека, то выводы еще не получены, но на домашнюю птицу шум самолетов влияния не оказывает». Это заявление вызвало взрыв возмущения среди людей, проживающих в непосредственной близости от военных баз.

Я поинтересовался у господина Ито, который вот уже восемнадцать лет разводит кур в этом районе, справедливо ли заявление Управления оборонительных сооружений. Он ответил, что местные куры нормально несут яйца. Но когда он завез извне десяток двухмесячных цыплят, они большей частью не могли есть и подохли, а те, что выжили, не несли яйца. Местные куры хотя и несут яйца, но из-за грохота самолетов начинают метаться, что резко увеличивает бой яиц, нанося владельцам большой ущерб...

Говорят, на Гинзе шумно, а музыка «группы романтиков» звучит чересчур громко, но разве это можно сравнить с оглушающим грохотом военных самолетов? К тому же этот грохот совсем иного рода. К нему невозможно привыкнуть. Хочется заткнуть уши и бежать неведомо куда, лишь бы его не слышать. Он подавляет морально, вызывает буквально физическую боль, и кажется, будто твое тело вот-вот разорвется на части, не говоря уж о постоянном страхе, что самолет в любой момент может рухнуть на твой дом и погубить тебя и семью.

Пятого апреля самолет действительно упал на город Матида, расположенный близ Токио. Именно этот случай явился непосредственным поводом, породившим движение за коллективное переселение в районе Хоримуко.

Слов нет, бомбардировщик F-105 создан на основе самых последних достижений техники и точных наук. Но существует железное правило: точно и надежно действующий механизм точно и надежно ломается. Можно себе представить, каковы будут последствия, если сразу после взлета такой бомбардировщик упадет на густонаселенный район Хоримуко, расположенный всего в четырехстах метрах от взлетной полосы. Не меньше двухсот домов будут сметены в одно мгновение. Во время корейской войны получили хождение слова «shaving bomber»<sup>1</sup>. Бомбардировщик называли так потому, что он, словно бритвой, срезал огнем все на земле.

Представьте себе, что случится, если такая бритва, летящая со скоростью, превышающей в два с половиной раза скорость звука, не рассчитает высоту и врежется в ваш дом. А ведь этим самолетом управляют люди, которым часто свойственно ошибаться.

Дух захватывает, когда стоишь у сигнальных огней в соседнем лесочке и наблюдаешь, как совершенно вертикально отрывается от земли гигантский карандаш и летит, чуть не задевая за верхушки телеграфных столбов.

— ...Как низко летают эти самолеты? — спросил я у чиновни-

---

<sup>1</sup> «Бреющий бомбардировщик» (англ.).

ка местного муниципалитета, занимавшегося измерением силы звука.

— На высоте ста, а то и пятидесяти метров над крышами домов, — ответил он.

— А вы не требовали от начальства американских вооруженных сил увеличить минимальную высоту полета?

— Протестовали — и не раз! Даже соглашение было подписано, но они его не выполняют.

— И в самой Америке военные самолеты летают на такой высоте?

— Точно не знаю, но слышал, что F-105 над территорией Америки не летают вообще.

Помимо шума, возникающего при полетах реактивных самолетов, очень мешают и испытания моторов на земле. Обычно они длятся по два-три часа. Грохот стоит неописуемый. После протеста, направленного командованию базы, там пообещали установить глушители. Неизвестно, были ли они установлены на самом деле, но в последнее время шум от испытания моторов стал меньше. Сильно раздражает окрестное население и резкий свет посадочных прожекторов, мешающий отдыху в ночные часы.

Верховный суд Америки решил в пользу местного населения иск, предъявленный администрации за невыносимый шум в аэропорту. Она была признана виновной и приговорена к штрафу в пользу пострадавших. В 1962 году токийский городской суд вынес решение по иску торгового дизайнера к владельцу типографии, расположенной этажом ниже. Дизайнер обвинял типографию в том, что из-за грохота печатных машин он начал страдать сильным нервным расстройством. Токийский городской суд поддержал иск дизайнера, обязав типографию выплатить ему компенсацию, и отметил в своем определении, что шум типографских машин превосходит пределы, допустимые с точки зрения общежития. (Приговор суда от 26 мая 1962 года.)

По японо-американскому административному соглашению ответственность за базы возложена на японское правительство. В токийском отделе Управления оборонительных сооружений на мой вопрос, как намерены удовлетворить требование населения прилегающих к базам поселков о компенсации и переселении, ответили, что не знают, как поступить, поскольку не было прецедента. Что же касается конкретно района Хоримуко, где земельный участок и жилища принадлежат авиакомпания «Сёва хикоки», то не возникло бы никакой проблемы, обратись с этой просьбой сама компания как владелец. Так, например, поступили с крестьянскими домами в районе, прилегающем к военным базам Итадзукэ и Ацуги. Но до сих пор не было случая, чтобы не владелец, а квартиросъемщик требовал компенсации за ущерб в связи с переселением. Похоже, именно это рассматривают в Управлении оборонительных сооружений как решающее

условие выплаты компенсации. Тогда я отправился в компанию «Сёва хикоки». Там мне сказали, что официально вопрос не Изучался, поскольку не было указания со стороны правительства. Однако в компании посчитали неправомерным отказ от рассмотрения вопроса «за отсутствием прецедента». Ведь когда решали вопрос в связи с базами Итадзукэ и Ацуги, тоже прецедента не было. Почему бы и в данном случае не создать такой прецедент самим обсуждением на заседании кабинета министров? Что касается нас, добавили в заключение представители компании, то мы были бы рады положительному решению вопроса о переселении, поскольку в принадлежащих компании квартирах теперь проживает немало людей, никакого отношения к «Сёва хикоки» не имеющих. Похоже, именно в этом видит решающее условие компенсации компания «Сёва хикоки».

«Для кардинального решения проблемы экономики и финансов районов, прилегающих к базам, необходима широкая реформа всей политики правительства относительно баз, включая принятие «Закона о стабилизации жизни населения в районе баз», — таково мнение начальника Управления оборонительных сооружений Японии Оно.

Не говорят, что проект «Закона о стабилизации жизни населения в районе баз» рассматривался в конце 1962 года на министерском уровне и был отклонен в связи с «финансовыми трудностями». Уму непостижимо, что такое решение было принято в великой стране «экономического процветания, обеспеченного высокими темпами роста, не имеющими прецедента в мировой истории». Страна, проводившая Олимпийские игры, страна, создавшая «сверхскоростной экспресс», преспокойно приносит человека в жертву «бреющим бомбардировщикам»!

«Пока существует авиация, реактивные самолеты будут летать. Чьи бы самолеты ни летали, — американской армии, или войск самообороны, либо японской пассажирской авиакомпании, — ужасающий грохот не прекратится. Поэтому у нас одно желание: бежать, куда угодно бежать! Тем более что неизвестно, когда мы добьемся ликвидации военных баз. Мы живем одной лишь мыслью: бежать — хоть завтра, хоть сегодня».

Так думают многие городские жители, живущие вблизи военных баз. Они готовы бежать с этого самого большого на Востоке неподвижного авианосца, хотя и не знают, убегут ли они от беды, покинув авианосец. Заткнув пальцами уши и скорчившись в своих постелях, тысячи японцев мечтают спастись бегством ради того, чтобы жить сегодня, спокойно уснуть нынешней ночью. Но так ли просто определить дату бегства, когда ты с головы до ног опутан густой сетью интересов и выгод.

Я медленно брел по городку, пока не остановился перед входом в супермаркет, украшенный яркими венками — признак открытия нового, либо заново перестроенного магазина. Навер-

но, владелец этого супермаркета против переселения жителей, проживающих по соседству с базами. Он готов торговать даже в аду, рядом со сковородками, на которых жарятся грешники, — лишь бы это приносило прибыль. И хотя все наперебой говорят, что надо бежать, но лапша, которой торгуют в супермаркете, все же вкусна! Да, непонятное существо — человек!

## ОДИН ДЕНЬ ЧИНОВНИКА СТОЛИЧНОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА

Имя, фамилия	Тацуки Кудзэ.
Возраст	35 лет.
Образование	Юридический факультет университета Юмэй.
Профессия, должность	Сотрудник Токийского муниципалитета, начальник сектора.
Рост	Средний.
Вес	Средний.
Печень	Нормальная.
Детей	Двое.
Жена	Одна.
Сексуальные наклонности	Нормальные, исполнение супружеских обязанностей — раз в неделю по субботним вечерам.
Место жительства	Район Сугинами, квартал Игуса 4—8—14. Муниципальная квартира (кабинет в 6 татами <sup>1</sup> , гостиная, общая комната и спальня).
Поведение при употреблении алкоголя	В целом нормальное. Имеет привычку, тихо вздыхая, ласково говорить собутыльнику: «Ты дурак и поэтому выдающийся человек». Если собутыльник выше по чину, он столь же ласково и тихо говорит: «Вы дурачок и поэтому выдающаяся личность. Честное слово! Я иногда бываю болтлив, но говорю только правду. Дурачок, дурачок, дурачок! Вы дурачок, поэтому я и люблю вас».
Подарки к Новому году	Дарит начальству консервированные фрукты и набор специй.
Личная печатка	Из буйволиного рога, круглая.
Очки	В тонкой металлической оправе.
Личные склонности	Дневной сон.

<sup>1</sup> Одно татами — 1,5 м.

Постоянное чтение

Еженедельные журналы. Прочитав от корки до корки, оставляет в электричке.

Привычки в еде

Когда ест рамэн<sup>1</sup>, почему-то оставляет нетронутыми наругомаки<sup>2</sup>. Спагетти ест ложкой. На закуску заказывает огурцы, баклажаны или листовую китайскую капусту — всегда настойчиво требует, чтобы они были малосольные.

Жалованье

Основное — сорок тысяч семьсот иен в месяц. С единовременными пособиями и пособием на иждивенцев — сорок семь тысяч восемьсот сорок иен.

Нынешним утром Кудзэ с трудом выбрался из переполненной электрички на токийском вокзале и, как всегда, ровно в восемь часов сорок три минуты вошел в построенное по проекту Кэндзо Тангэ здание токийского муниципалитета из стекла, стали и бетона. Работа в муниципалитете начинается в восемь сорок пять, но Кудзэ обычно приходит на две минуты раньше. В муниципалитете отказались от часов-табеля — его металлический звук действует на нервы, и теперь служащие отмечают в книге регистрации, ставя против своей фамилии личную печатьку.

Вместе с толпой служащих Кудзэ подходит к столику у входа, не спеша вытаскивает из кармана свою круглую печатьку из буйволиного рога и приклепывает ее точно против своей фамилии. На бумаге появляются четкие иероглифы «Кудзэ». «По печатке судят о личности человека», — поучал начальник отдела. Поэтому Кудзэ следил, чтобы его печатка была всегда в порядке. С особой серьезностью он подошел и к изготовлению своей печатки. Он заказал ее в универмаге «Току» в Мита, причем попросил самого президента Ассоциации гадателей по печаткам и штемпелям предсказать по печатке судьбу. Тот пригласил его в комнату, стены которой были увешаны цветными листами бумаги с изречениями и благодарственными письмами, присланными такими выдающимися личностями, как Эйсаку Сато, Сигэо Мидзуно, Хисата Йтимата, Кэн Домон, Юдзиро Исихара и Дзюнко Икэути. Внимательно поглядев на только что изготовленную печатьку с выгравированными на ней иероглифами «Кудзэ», он сказал: «Человек изначально ничего не имеет, поэтому его личность можно определить только по

---

<sup>1</sup> Рамэн — отварная лапша.

<sup>2</sup> Наругомаки — ломтики сырой рыбы, завернутые в лист сушеной морской капусты.

печатке. Ставить печать надо так, будто произносишь молитву. Перемена печатки — к перемене судьбы».

Он сказал это, слегка подтрунивая над доверчивым Кудзэ, но тот воспринял все всерьез и уверовал в слова президента Ассоциации гадалелей. Он не испытал даже сожаления, когда ему предложили уплатить за печатку и гадание восемь тысяч иен. Жена выразила недовольство по поводу столь непомерной цены, но Кудзэ прикрыл глаза и сказал: «Разве это высокая плата? Ведь отныне от моей печатки зависит наше будущее». Жена смирилась и, разглядывая печатку, пробормотала: «Может быть, может быть!»

Поднявшись на шестой этаж в свою комнату, Кудзэ снимает ботинки и надевает виниловые сандалии, купленные в муниципальном кооперативе за двести иен. Сандалии легкие, удобные, и главное — в них не потеют ноги. Во время обеденного перерыва он прямо в сандалиях шагает перекусить в одну из харчевен на Хибия или Гинзе. Кудзэ не спеша садится за письменный стол, читает от корки до корки газеты «Асахи», «Майнити», «Иомиури», «Спортивные новости» и другие. Конечно, газеты куплены не на собственные деньги, а выписаны за счет муниципалитета. Затем точно так же, не торопясь, прочитывает «Муниципальные новости».

Служащая муниципалитета бесшумно вносит чай и со словами «извините, но чай неважный», повторяемыми каждое утро, ставит небольшой чайник на стол. Чай и в самом деле плохой. Кудзэ не уточнял, но, похоже, чай из самых дешевых — сорок пять иен за стограммовую пачку. Прихлебывая из чашки, он читает газеты. Горячая жидкость согревает язык, горло, пищевод, желудок. Наконец, ее тепло доходит до головы. Кудзэ откладывает газеты, молча выдвигает ящик стола с надписью «Нерешенные вопросы», достает пачку квитанций и документов и начинает ставить печати. Бумаг два вида — нерешенные и по которым решение принято, нет, пожалуй, точнее будет сказать — бумаги, на которые уже проставлена печать или еще не проставлена.

Чиновники его сектора, так же как и он, сидят, склонившись над своими столами, и ставят печати. Но их печатки изготовлены не из буйволиного рога, тем более — не из хрусталя. Они вырезаны из самшита. Когда-то и у Кудзэ была такая. Чашки из дешевого фаянса принесены из дома. Без крышечек. Чашка Кудзэ тоже из дома, куплена в лавчонке на базаре, но все же она обжигает «масуко». Без крышки. Если Кудзэ назначает начальником отдела, он, пожалуй, купит чашку с крышечкой и к ней деревянное блюдце. У нынешнего начальника отдела чашка обжигает «арита» — она подороже и с крышечкой и деревянным блюдечком. Печатка у него из хрусталя, а стул с подлокотниками. Все это мелочи, о которых никто вслух не говорит, но игнорировать их не следует.

В двенадцать часов Кудзэ встает из-за стола и, шаркая

виниловыми сандалиями, отправляется в китайскую харчевню на Гинзе есть рамэн либо в торговый центр — полакомиться спагетти. Когда ест рамэн, обязательно оставляет нарутомаки, а спагетти ест ложкой, наматывая на нее макароны. Спагетти принято есть с помощью вилки и ложки, но японцы обычно пользуются вилкой, и ложку им не подают. В этом смысле Япония пока еще не может тягаться с родиной спагетти. Она, так сказать, перворазрядная страна второго разряда. Кудзэ почерпнул эти сведения из очерка одного известного деятеля культуры, побывавшего за границей, и с тех пор, заходя в ресторан, где подают спагетти, тихим голосом требовал ложку. Оглядевшись по сторонам, Кудзэ заметил за соседним столиком двух господ в таких же виниловых сандалиях, какие были на нем, и без труда угадал в них собратьев по службе.

— У нас в муниципалитете о деле пекутся лишь служащие, а депутатов ничего не интересует, — возмутился один.

— Говорят, что невозможно управлять городом, население которого превышает триста тысяч человек, — сказал его сосед по столу.

— На днях я слышал, как начальник управления, говоря при людях о губернаторе провинции, обозвал его «дистиллированной водой».

— Ха, ха, ха! Дистиллированной водой, говоришь?

— Ага, именно «дистиллированной водой».

— Да уж, он точно — ни яд, ни лекарство, ни рыба, ни мясо. Живет — только небо коптит.

— Но это же яд, именно опасный яд, когда на таком важном посту — дурак набитый.

— Главное, что подчиненные у такого начальника не работают.

— Точно следуют трем правилам: не отдыхают, не опаздывают и не работают. Сядут за стол — и сидят сложа руки.

— О чем бы у них ни спросили, одновременно отвечают: «да-да, нет-нет».

— Похоже на чье-то высказывание.

— Вычитал из романа Харуо Умэдзакэ.

— Ты, оказывается, и романы покупаешь?

— Нет, в библиотеке прочитал.

— В самую точку, в самую точку! Значит, одновременно говорят «да-да, нет-нет»? Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха!

— Уху, ху, ху, ху!

— Охо, хо, хо, хо!

— Уморил! Ха, ха, ха!

— Уху, ху, ху, ху!..

Покончив с обедом, Кудзэ вышел на улицу и, пройдясь по солнечной стороне Гинзы, вернулся в муниципалитет.

Одна из стен комнаты, где работает Кудзэ, сплошь из стеллажей, разгороженных на небольшие, полные документов



фанерные ящички, напоминающие мышьи норы. Подойдя к одному из них, Кудзэ вынул стопку бумаг и стал приклеивать к ним свою печатку.

Часам к двум наконец появилось дело, в какой-то степени смахивающее на настоящую работу. Кудзэ пригласили на заседание комиссии с участием представителей районного отдела строительных работ, конторы по очистке и уборке улиц, санитарного управления и санитарно-гигиенической станции. Среди присутствующих были начальники соответствующих секторов и отделов муниципалитета, а также инспекторы. Обсуждался проект, который уже три или четыре года перебрасывали из одного отдела в другой. Все говорило за то, что сегодня этот проект будет окончательно обсужден и принят.

Речь шла о том, кто должен убирать оказавшихся на дорогедохлых кошек. Поскольку ни одно из ведомств не хотело брать на себя ответственность, связанную с дополнительной работой, все предыдущие совещания оканчивались ничем, и принятие проекта откладывалось из года в год. Поступали как полиция, обнаружившая в реке утопленника: полицейские бамбуковыми шестами стараются оттолкнуть труп к противоположному берегу, подведомственному другому полицейскому участку. Наконец сегодня удалось положить конец четырехлетним дискуссиям. Секретарь вел обстоятельный протокол совещания, с которым автору удалось ознакомиться. Согласно протоколу, если кошка сдохла на дороге, убраться ее надлежит районному отделу строительных работ. Если то же самое произошло в реках, прудах, водостоках и канализационных трубах, на пустырях и земельных участках, труп должен быть убран работниками санитарного управления. Погребение кошек и собак возлагалось на санитарно-гигиенические станции с выделением двухсот иен комиссионных на каждый случай. Они же обязаны бесплатно принимать от местного населения бездомных кошек и собак. Все представители учреждений, принимавшие участие в обсуждении, согласились с подобным разделением функций. Не возражал и Кудзэ. Он молча прихлебывал чай, солидно кивая, слушал выступавших и иногда вставлял ничего не значащие междометия.

— ...Ну, а если, предположим, за оградой частного участка растет дерево и одна из его ветвей протянулась за пределы ограды, а на этой ветке повисла каким-то образом попавшая туда дохлая кошка. Кто в этом случае обязан ею заниматься? — поднявшись со стула, с ехидной улыбкой спросил начальник строительного отдела Саканэ, известный среди сослуживцев своей придирчивостью и настырным характером.

Присутствующие стали смущенно переглядываться, бормоча: «Да-а, задал задачу». После недолгой дискуссии решили внести в проект дополнение: «В случаях, которые не подпадают под перечисленные, ответственность возлагается на санитарное управление». Саканэ удовлетворенно кивнул и сел на свое место.

Затем взял слово Ямагути с санитарно-гигиенической станции. Выражение лица у него было недовольное. Должно быть, оттого, что ему навязали дополнительную работу.

— Представим себе такой случай, — сказал он. — Через пустырь проходит дорога — правда, не явно выраженная. Издыхающая кошка то выходит на нее, то сходит. Что же, представители всех ведомств должны следовать за ней, чтобы поглядеть, где она испустит дух?

Все снова стали оживленно дискутировать и наконец пришли к следующему выводу: специально такой случай в тексте проекта не оговаривать, но сразу по поступлении информации о сдохшей кошке отдел строительства уточняет по земельному grossбуху, пустырь это или дорога, после чего на место происшествия отправляется представитель соответствующего ведомства. Вопрос, на решение которого потребовалось четыре года, был наконец зафиксирован на бумаге в виде распоряжения. Кудзэ расправил затекшие плечи и с чувством исполненного долга вышел в коридор. Сегодня «сэнсэй»<sup>1</sup> (так мысленно Кудзэ называл всех депутатов муниципального совета. — *Прим. автора*) не заходили и не отнимали время пустой болтовней, поэтому работа шла успешно, с удовлетворением подумал Кудзэ. Советание прошло с толком, и к тому же он успел поставить печать на пятьдесят три документа. А если бы «сэнсэй» пришли на совещание? Наверное, решение вопроса о дохлах кошках отложили бы еще на четыре года. Ведь руководят деятельностью муниципалитета депутаты муниципального совета, а служащие, начальники секторов, отделов, управлений лишь исполняют черную работу по проблемам, о которых депутаты договорились на очередном банкете. Попробуй только высказать недовольство — вмиг распрощаешься с должностью! Даже во время телефонного разговора с депутатом служащий муниципалитета лишь повторяет: «Слушаюсь!», «Будет исполнено!»

В пять часов чиновники муниципалитета вскакивают из-за столов, будто подобранные пружиной. Правда, официально установленное время окончания работы — пять пятнадцать, но уже в пять служащие дружно покидают здание муниципалитета.

Кудзэ идет на токийский вокзал, садится в электричку и едет до станции Огикубо, где пересаживается на автобус. Он сходит в Йоги и пятнадцать минут добирается до домика, принадлежащего муниципалитету. Затем принимает ванну, выпивает бутылочку сакэ, закусывая маринованными баклажанами и китайской капустой, и вручает жене штанишки, купленные в муниципальном кооперативе.

Он молча сидит за столом и, попивая сакэ, листает «Руководство по толкованию конституции». Конкурсные экзамены завершились тринадцатого сентября, но результаты еще не вывешены. Если провалился, придется, как школьнику, целый год

---

<sup>1</sup> Сэнсэй — учитель, почтительное обращение.

заниматься зубрежкой. Когда приближаются экзамены, Кудзэ каждый вечер допоздна засиживается за непонятными книгами. Тут уж не до исполнения супружеских обязанностей. Жёну и детей отправляет в деревню, чтобы не мешали, по несколько дней не приходит на службу, заявляя, будто едет в срочную командировку. Если не выдержишь экзамены, о должности начальника отдела и не мечтай. Но это не все. Важную роль играет умение вовремя польстить начальству. Даже если на конкурсных экзаменах будет признано твое соответствие, места начальников отделов все заняты, да и конкурентов тоже в избытке. Но прежде всего надо выдержать экзамены, и Кудзэ, укладываясь в постель, прижимает к себе «Руководство по толкованию конституции».

Сегодня бедный Кудзэ был очень занят — за весь день даже не удалось толком с кем-нибудь поболтать.

## СТРАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ НОВОГО ДОМА ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Давно мне хотелось встретиться с теми, кого называют политиками, — членами парламента. В Японии нет салонов, и писателям редко выпадает случай повидать этих людей в непринужденной обстановке. Особенно трудно узнать из первых уст, чем они живут и дышат. Нельзя допустить, чтобы человековедение оскудело, хотя возможность побеседовать с ними невелика. Стоит увидеть затылки и зрачки этих людей, похожих на выдр, как у меня беспричинно наступает упадок сил. И все же любопытство берет верх. Точно так же дикое животное, обитающее в естественной среде с натуральной почвой и кормами, стремится узнать, что лежит за границей привычного мира. Политические деятели, кажется, ощущают некоторую неловкость, когда их называют болтунами, хитрыми лисами, ненасытными утробами или оборотнями. Я считаю, что им поэтому стоило бы выкраивать время и показываться на людях.

Отложив до случая встречу с политиками, я решил повидаться с секретарями этих «мэтров». Отправился в недавно отстроенный Дом депутатов парламента. Удалось поговорить с секретарями обоего пола из либерально-демократической, социалистической партий и партии демократического социализма. Итак, я кратко излагаю все, что рассказали мне эти дамы и господа. Их имена я опускаю, чтобы не нарушить конфиденциальности беседы, тем более некоторые просили об этом.

В наше время атмосфера для депутатов парламента состоит из кислорода, азота и выборов. В завтрак, обед, ужин, весной, летом, осенью, зимой с каждым вдохом и выдохом из депутата вылетает заветное слово «выборы». Как бы изловчиться и оказаться в парламенте. А потом только и забот что принимать

поздравления от земляков-избирателей, приезжающих в Токио, да наведываться к чиновнику по административным делам, чтобы по-крысиному вгрызаться в бюджет.

Депутатам необходимо постоянно держать ухо востро, чтобы обеспечить популярность среди избирателей своего округа. «Мэтры» надумали выпускать частные журналы саморекламы. Они стараются делать их ежемесячниками, поскольку тогда они попадают в третью категорию почтовых отправлений, что вдвое удешевляет расходы на распространение.

Что помещают в журнале? Преимущественно хронику деятельности депутата. В том месяце «сам» пообедал с премьер-министром, в этом позавтракал с неким финансовым тузом и прочее, приправленное фотографиями жанра «улыбочка, снимаю!». Фотоиллюстрации считаются эффектным приемом подачи материала.

Следует также неусыпно следить за настроением избирателей. Любой повод хорош для рекламирования депутата — свадьба, похороны, праздник, вступление в должность. Послания по случаю дня поминования, конца года, поздравительные телеграммы, соболезнования, венки семье покойного. По договору с похоронным бюро в дом покойного от имени депутата автоматически доставляется священное растение для украшения домашнего алтаря.

Депутат держит связь с биржей труда при префектуральном управлении, дает рекомендации относительно приема на работу. Некоторые «мэтры» выписывают в столицу штат человек в двадцать и перекалдывают на их плечи все дела. Служащие по горло заняты надписыванием адресов на конвертах с депутатскими посланиями избирателям родного округа. Картотеки секретарей могут поспорить по точности с местными адресными книгами. Человек умирает, и уважаемый депутат направляет соболезнование семье покойного на сорок девятый день, в день поминования усопших, в годовщину смерти. Вплоть до седьмой годовщины он исправно напоминает о себе открытками. По сути своей обязанности депутата ничем не отличаются от работы отдела рекламы в фирмах — те же журналы, рассылка информации по списку, реклама в газетах, месячные выплаты (не имеют никакой связи с размером долга). Словом, неусыпный контроль над своими клиентами. Приезжает группа земляков — депутат первым делом одаривает их чашками или полотенцами, украшенными его именем. В рекламных отделах фирм в таких случаях принято раздавать зажигалки и пепельницы.

Две трети дня депутата уходит на прием делегаций избирателей. Деловые разговоры не отнимают и часа. Затем следует стандартная программа: осмотр зала заседаний парламента, Дома депутатов, экскурсия по увеселительным местам, вечером — стриптиз, бары, пивные, кафе, Гинза, проводы до гостиницы и раздача билетов на обратный путь. Всем этим занимается секретарь депутата. Он — и гид экскурсионного автобуса, и

агент бюро путешествий и гостиниц. А на банкете еще и шут. Секретарь должен успевать повсюду один. Трудового законодательства для них не существует, вот он и вкалывает как проклятый с утра до вечера.

Какая там политика! Одни «семинары усовершенствования», за которыми скрываются развлекательные поездки в Токио. Секретарь доплетается до дома, погружается в ванну, потом забывается тяжелым сном. А утром мчатся на вокзал — Токийский или Уэно — встречать новую группу и целый день потешать два-три десятка людей.

«Тревожно думать о будущем. Конечно, на нашей работе узнаешь разные стороны людей и жизни, но все по верхам, настоящей специальности нет, отсюда и неуверенность. Хозяину ведь не вечно быть депутатом, провалится на выборах, и сразу же меня выгонит».

Секретарь крутится как белка в колесе, и, если вдруг выпадает час свободного времени, он нервничает, не зная, куда себя деть. Впадает в состояние, близкое к наркотическому дурману или припадку падучей.

Рассказ взволновал меня, потому что то же самое случается и с журналистами, и с писателями. Душу так разбередило, словно разговор шел обо мне самом. Как никогда остро почувствовал я горький привкус слов «ремесло перекасти-поле».

По словам одного из секретарей депутата либерально-демократической партии, депутат парламента получает ежемесячно как минимум 500 тысяч иен. Это точка отсчета, ведущего в бесконечность. Человек, у которого мой собеседник раньше служил секретарем, в депутатскую бытность тратил по 50 тысяч иен в день. Ставка на выборах — «три против двух». То есть поставивший 30 миллионов побеждает кандидата с 20 миллионами в кармане. Я пытался выяснить у секретаря из социалистической партии, каким образом тратятся такие деньги, но так ничего и не понял. В этой партии на одного кандидата во время избирательной кампании в среднем расходуется от двух до трех миллионов иен, что приближается к официальному уровню затрат. Партия демократического социализма занимает промежуточное положение — 10 миллионов иен на кандидата. Секретарь из либерально-демократической партии склонил голову набок и ответил, что не в курсе расходов на выборы. Добавил еще с усмешкой, что с 20—30 миллионами тоже сумел бы пройти в парламента. (Кстати, я любопытствовал, какие ставки делают секретари, играя в маджонг<sup>1</sup>. Секретарь социалпартии ставит 50 иен, либерально-демократической — 200 иен.)

Интересно, чем объясняется такой разрыв в предвыборных затратах партий? Одну поддерживают финансовые круги, другую — профсоюзы. Социалистической партии удастся обходиться скромными средствами потому, что в период выборов члены

---

<sup>1</sup> Маджонг — китайская игра в кости.

профсоюза не получают бесплатного завтрака на работе, каждая организация проводит пропагандистскую кампанию за своего кандидата. Видимо, поэтому общий итог расходов составляет около 10 миллионов иен на человека. Конечно, не имея фактических данных, нельзя ничего утверждать, но все же расхождение между 10 и 30 миллионами слишком велико. Я не мог узнать о положении в Коммунистической партии Японии, потому что секретари депутатов от этой партии не присутствовали на встрече. Соцпартия, открыто признав свое поражение на выборах, в настоящее время изучает вопросы организационной перестройки, но в ее рядах слышны сетования: вот были бы деньги... Округа тоже неоднородны: если в одном 10 миллионов иен обеспечивают победу, то в другой кандидату без 30 миллионов нечего и нос совать. Избирательные бюллетени изготовлены из одинаковой бумаги, но стоимость их несопоставима.

Положение секретарей депутатов от трех партий неодинаково, но все они в один голос осуждают практику депутатий с мест. Едва успев поздороваться и сесть, они наперебой с возмущением заговорили на эту тему.

— Такая практика, кажется, процветает не только в Японии. Пожалуй, это издержки централизма как политической системы.

— Переставешь понимать, с кем имеешь дело — то ли с депутатом парламента, то ли с агентом бюро путешествий.

— Все твердят: нехорошо, никуда не годится, но ни у кого не хватает смелости заявить о недостатках в открытую. Мой депутат скажет, что устал, а сам ляжет на диван и читает книгу Киитиро Яматэ<sup>1</sup>.

— Причина в том, что при централизме чиновники наживаются, становятся спесивыми. Лакомый кусок манит. Представляю, какой был бы переполох, если бы решили децентрализовать власть.

Я беседовал с секретарями из трех партий с каждым по отдельности в их кабинетах в новом Доме депутатов парламента. Разговор неизбежно сводился к теме выборов, депутатий с мест, беспросветной загруженности секретарей.

Я не видел собственными глазами, как вершится японская политика, поэтому могу только утверждать, что ничего в ней не смыслу. Многие неясно в центральном аппарате, а уж о провинции и говорить нечего. Очерки Мимпэя Сугиуры о власти на местах произвели на меня гнетущее впечатление. Писатель лаконично и образно нарисовал депутатов муниципальных и префектуральных собраний, концессионеров, строительных подрядчиков, посредников, служителей культа, тор-

---

<sup>1</sup> Киитиро Яматэ (род. в 1899 г.) — автор популярных исторических романов.

<sup>2</sup> Мимпэй Сугиура (род. в 1913 г.) — прозаик, избирался в местные органы власти.

говцев, которые мечутся в непрерывных хлопотах ради собственной выгоды. Меня поразили юмор и жизнестойкость Сугиуры. Читая его, я катался от смеха. О сути явлений, описанных в очерках, остается только сказать: «Есть ли предел этому болоту?» Ощущение было такое, словно по лицу хлестнули мокрой тряпкой. Я задумался над тем, что совершенно не знаю Японии. Восхищался силой духа писателя, которому не раз приходилось в жизни вступать в схватку с оборотнями, героями его книг. (Тем, кто не читал М. Сугиуру, рекомендую «Бунт» и «Записки о тайфуне № 13».) Вас до костей пронзит уныние, но это настоящие шедевры.

Новый Дом депутатов парламента находится позади зала заседаний парламента. Это красивое современное здание коричневого цвета. Внутри лампы дневного света. Кондиционеры. Мрамор. Ресторан. Автостоянка. Парикмахерская. Японская баня. Кабинет массажа. Стоматологический кабинет. Великолепное сооружение, на строительство которого потрачено 1 миллиард 800 миллионов иен. Прекрасное здание, рядом с которым померкнет ослепительный блеск любого фешенебельного отеля.

Старое сакэ, куда его ни налей, остается крепким. Сейчас идет сессия парламента, поэтому сюда съехались просители со всех уголков Японии. На первом этаже в приемной толпятся люди в резиновых сапогах, с матерчатыми сумками и котомками, в которых лежит рисовая лепешка. Немало и стариков. Я отправился в ресторан в цокольный этаж. Места разделены на простые и депутатские. За столиками для посетителей устроились группами по пять—десять человек гости из провинции. Они пьют сакэ. Наверно, только окончилось «ознакомление». Теперь после короткой передышки предстоит вечерняя часть программы.

Я вышел из ресторана и бесцельно побрел по коридору. Неожиданно наткнулся на аптечный киоск. В глаза бросилась огромная почти пустая коробочка из-под лекарства против воспаления печени.

— Неужели за сегодня столько продали?

— Да, за вторую половину дня.

— Кто же пьет?

— Больше всего секретари, но и другие покупают.

— Помогает?

— Да как сказать.

Я тоже решил выпить баночку.

По лестнице тек непрерывный поток приезжих. На фоне сияющего великолепия суперсовременного интерьера люди выглядели странно. По словам секретарей, большинство едет с единственной целью посмотреть Токио. Они отправляются в столицу с наказами и просьбами земляков о мостах, дорогах, осушении земель, компенсациях за ущерб от стихийных бедствий. При виде этой бесконечной вереницы на ум приходит мысль о том, что учреждения в Японии существуют ведь не

только в Токио. Просители обивают пороги партийных учреждений, проникают туда, где им сулят больше щедрости и перспектив. Иначе невозможно сооружение мостов, дорог и прочего. Их посылают на экскурсию в столицу за то, что своими голосами они помогли кандидату пройти в парламент.

Педантично и откровенно действует принцип «давай и бери». Чистая коммерческая сделка, остается только прикинуть на счетах барыши и убытки. Словом, суть политики предстала предо мной в обнаженном виде, и я понял, что деньги швыряют на ветер. Тем не менее я чувствую прилив бодрости. Остается утешаться лишь тем, что во всей этой игре нет лицемерия. Мои впечатления сбивчивы и могут показаться странными, хотелось бы, конечно, докопаться до истины.

Депутат парламента более полугода находится в Токио. Две трети времени уходит на встречи с делегациями избирателей. Остальное посвящается внутрипартийной деятельности. Депутат, исходя из конъюнктуры, выбирает себе партийного босса и раз в неделю присутствует на собраниях фракции. Излюбленное хобби депутата — содержать борца сумо<sup>1</sup>.

В парламентском лексиконе депутата две фразы: «Вопрос находится под наблюдением» и «Надлежащие меры будут приняты». Сведущие люди назвали депутатов «наблюдатели-выжидатели».

Профессиональные недуги депутата — заболевания печени и сердца, гипертония.

## НЕСЧАСТНЫЕ КОРЕЙЦЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЯПОНИИ

Во время войны я учился в средней школе в Осаке. Одновременно работал на складе боеприпасов, где подружился с одним корейцем. Однажды он зашел ко мне, когда я читал «Биографию Ирен Жолио-Кюри». Он полистал книгу и, опасливо оглянувшись, попросил дать ее почитать. Я удивился, почему он так пугливо оглядывается по сторонам, и спросил его об этом, когда он возвращал книгу. Тот ответил, что в Корее она запрещена, и сразу же ушел, стараясь избежать дальнейших расспросов.

Уже после войны, прочитав несколько книг о Польше, я, кажется, стал понимать, почему он так странно реагировал на эту книгу. В те годы, когда Польша находилась на грани катастрофы, госпожа Кюри училась в Париже и жила в студенческом общежитии. По ночам, чтобы согреться, она клала поверх одеяла книги. Боевой дух и целеустремленность этой женщины были порождены стремлением возродить в глазах всего мира славу повергнутой родины и ее народа.

---

<sup>1</sup> Сумо — японская национальная борьба.



Японская империя, разрушившая Корею точно так же, как в свое время Хидэёси Тоётоми<sup>1</sup>, запретила издание этой книги в Корее, опасаясь, что, прочитав ее, лучшие представители корейской интеллигенции поднимутся на борьбу в защиту своей родины. Вот почему с такой опаской просил у меня книгу мой корейский друг, понимая, что ему несдобровать, если японские власти пронюхают об этом. Я намеревался еще раз встретиться с ним и подробней поговорить на эту тему, но среди хаоса, последовавшего за поражением в войне, — будто опрокинулся котел с кипящим варевом — он исчез, и больше нам не удалось повидаться. Мне тоже в ту пору приходилось не сладко. Каждый день я был занят поисками хлеба насущного и к вечеру до того уставал, что становился похожим на выброшенную на берег медузу.

Многое случилось за последующие девятнадцать лет — была и тяжкая война в Корее, и ситуация изменилась, — но меня по-прежнему занимала мысль: какова будет теперь реакция со стороны властей, если они обнаружат, что корейцы читают «Биографию Ирен Жолио-Кюри»? Последние несколько дней я ездил в районы Кото и Адати, встречался и беседовал с местным людом. Моими собеседниками были старики и молодые, мужчины и женщины — в том числе и корейцы, составляющие значительную часть населения этих районов. Чтобы быть справедливым, я встречался с выходцами как из Северной, так и из Южной Кореи. И тем и другим тяжело жилось в Японии, но то, что я от них услышал, не раз заставляло меня как японца краснеть за своих соотечественников.

Хотя это выглядит несколько странно, но я начну с выводов: корейцы, проживающие в Японии, теперь могут без опаски, свободно читать «Биографию Ирен Жолио-Кюри». Вполне свободно. Могут даже читать ее вслух, во весь голос. Однако, будь эта женщина кореянкой и живи она в Японии, никогда она не стала бы всемирно известной госпожой Кюри. Просто не смогла бы, сколько ни учись и ни громозди на одеяло стопки книг для того, чтобы согреться. Потому что Токио — не Париж.

Корейский юноша, с которым я повстречался недалеко от скотобоев в Сibaура, окончил университет Мэйдзи, а работает парикмахером. Два его старших брата, окончившие Токийский университет, водят грузовики. Сам он, будучи в университете, показал себя выдающимся спортсменом и даже участвовал в первенстве страны по хоккею. Впоследствии он намеревался вступить в любительскую хоккейную команду, которую создала крупная электротехническая компания, но не смог осуществить свою мечту — в нее принимали спортсменов, находящихся на службе, а ему так и не удалось нигде устроиться. Обычно компании охотно зачисляют на работу выдающихся спортсме-

---

<sup>1</sup> Хидэёси Тоётоми (1536—1598) — японский феодальный правитель и полководец XVI в.

нов, но именно ему отказали. Причем без какого-либо разумного объяснения. Оба его брата предпринимали невероятные усилия, чтобы устроиться на работу по специальности, но безуспешно. И хотя они давно уже предполагали, что работу им не предоставят, и приготовились к этому, столкновение с действительностью явилось для них тяжелым ударом, от которого они так и не смогли оправиться. Пришлось старшим братьям с университетскими дипломами сесть за баранку грузовика, а ему самому стать парикмахером.

Я встретился в Токио с десятью корейцами. Все они были «нисэями»<sup>1</sup>, приехавшими сюда из провинции — из префектур Ямагути, Осака, Китакоюсю и других. Они родились, воспитывались и учились в Японии. У них было разное образование. Одни окончили среднюю школу, другие — среднюю школу второй ступени, третьи — университет. Когда же я спросил, чем они занимаются, все десятеро в один голос ответили: работаем землекопами. И так повсюду. Пока корейцы живут под небом Японии, они могут, по-видимому, надеяться лишь на поденщицу, либо на работу мусорщиком — независимо от того, являются ли они выходцами из Северной или Южной Кореи. Кореец, изучавший в Токийском университете экономическую теорию Кейнса, может рассчитывать по окончании университета на место в научно-исследовательском институте, но, несмотря на проявленные им недюжинные знания и способности, он никогда не получит должность доцента или профессора. Можно с полным правом утверждать, что внутренним побуждением к нашумевшему убийству корейцем Ли девушки из школы в Комацукава послужила депрессия человека, отчаявшегося найти работу. Я прочитал дневник, который Ли вел в тюрьме, и меня поразили его мудрость, тонкость восприятия, сила воображения и безупречность стиля. Но Япония отвергла его. В своем дневнике Ли записал:

«Психология нисэев сложна. Они родились и воспитывались в Японии, многие толком не могут даже читать и писать по-корейски. Они не видели своей родины, не ощутили запаха родной земли и знают о ней лишь по рассказам родителей. Характер мышления и восприятия у них японский. Но стать полноправными в Японии они не могут. Они не японцы и не корейцы, и это сознание вакуума, в котором они пребывают, преследует их всегда и везде. Они — как трава без корней. Отсюда нигилизм и упадочнические настроения. Меня самого то обуревало стремление стать националистом, то хотелось полностью ассимилироваться среди японцев, но я так и не пришел к окончательному решению. Кстати, можно представить, каково было бы мое самочувствие, взмолился я перед японцами, мол, примите меня к себе, а они бы меня отвергли».

---

<sup>1</sup> Нисэй — в данном случае имеются в виду корейцы, родившиеся в Японии.

Этот самый Ли окончил экономический факультет Токийского университета и, как впоследствии он мне признался, хотел удрать в Америку. «Пусть бы меня обвинили в бегстве — мне было все равно», — прошептал он. «Если бы вам удалось все же уехать в Америку, тот вакуум, в котором вы пребываете, только бы расширился, не так ли?» — спросил я его. «Может быть», — безразлично ответил он. «Не возникало ли у вас желания посвятить себя спасению родины?» (в данном случае речь шла о Южной Корее. — *Прим. автора*) — спросил я. «Конечно, очень хотел, но я столько раздумывал над этим, что совершенно обессилел», — ответил он. Не исключено, что Ли готов был вступить на путь Линь Юйтана<sup>1</sup>. Не исключено, что в Америке ему пришлось бы не раз слышать слова: «Эти foreign Korean!»<sup>2</sup>, которыми обзывали корейцев независимо от того, прибыли они с Севера или с Юга. Намерение этого человека, издавека наблюдавшего, как мучаются и голодают студенты в Южной Корее, уехать в Америку, воспринималось мною как своего рода абстрактное стремление приобщиться к так называемой «обители либерализма».

Фактически именно Япония хотела изгнать его, и я, будучи сам японцем, решил больше не мучить корейца Ли каверзными вопросами...

Больше половины корейцев, приехавших в Японию, являются выходцами из Южной Кореи. Вместе с ними они насчитывают шестьсот тысяч человек. Причем три четверти корейцев, проживающих в Японии, то есть более четырехсот пятидесяти тысяч человек, хотели бы поехать в Северную Корею и каждый день живут этой надеждой.

«Честно говоря, мне все равно куда ехать — в Южную или Северную Корею. В Южной живут мои родители и братья, ее реки и горы близки мне по воспоминаниям. Я готов вернуться туда хоть сегодня. Но как я буду жить, если там нечего есть. Тут уж не до родственников! Поэтому я хотел бы сначала уехать в Северную Корею и своими глазами поглядеть на тамошнюю жизнь. Я готов забыть об издевательствах, испытанных нами в Японии. Хочу лишь, чтобы японцы помогли нам быстрее добиться разрешения на беспрепятственные поездки в Северную Корею. Именно об этом прошу вас написать» — так сказал мне один из пожилых корейцев, собравшихся для встречи со мной в небольшом домике. Его голос звучал настойчиво и страстно.

Сидевшие передо мной на циновках корейцы — мужчины и женщины, молодые и старые — в один голос требовали, чтобы им разрешили воссоединиться с родителями, братьями и сестра-

---

<sup>1</sup> Линь Юйтан (1895—1976) — китайский писатель, литературовед и филолог. С 1936 года жил в Америке, Сингапуре, Гонконге и на Тайване. Автор известной на Западе книги «Моя страна и мой народ».

<sup>2</sup> Иностранцы корейцы (*англ.*).

ми в Северной Корее. Разве Устав Организации Объединенных Наций и международное право не свидетельствуют о справедливости их требований? Почти каждый японец в отдельности согласен с ними и готов поставить свою подпись под их петицией. Однако японское правительство упорно не желает открыть гавани для выезда корейцев в Северную Корею. В то же время оно разрешило поездки в Китай проживающим в Японии китайцам. Причем гарантом в этом случае выступает японский Красный Крест. Несмотря на настойчивые протесты правительства Чан Кайши, наш кабинет министров все же признает свободу волеизъявления для китайцев, живущих в Японии. Не желая отстать от Англии, Западной Германии, Франции и других стран, спешащих расширить торговлю с континентальным Китаем, Япония быстро и беспрепятственно проштамповывает им визы. И в то же время упорно препятствует выезду корейцев в Северную Корею. Разве это не типичное проявление великодержавности? Выходит, японское правительство боится континентального Китая, а полуостров, на котором расположена Корея, ей не страшен. Если бы Америка дала добро, мы, наверно, в тот же день посадили бы корейцев на суда и отправили их в Северную Корею. Разве не так? Повсюду в мире уважают больших и презирают малых. В ответ на требования корейцев наши смеющиеся друг друга министры иностранных дел словно попугаи повторяют одно и то же: «Мы должны учитывать развитие международной обстановки». Их и прозвали за это в народе «учитывающими министрами». От пустословия «учитывающих министров» и «учитывающих депутатов парламента» у корейцев лишь прибавляется морщина.

Проживающие в Японии корейцы не могут получить работу в компании, даже если они окончили Токийский университет. Они лишены льгот, предусмотренных системой народного здравоохранения. Самое страшное для здешних корейцев — заболеть. Например, для лечения, которое обходится японцу в тысячу иен, корейцу надо потратить десять, а то и двадцать тысяч. Если кореец, урезывая себя во всем, купил грузовичок и занялся перевозками, компания выдает ему вексель со сроком оплаты не более чем через четыре месяца. Не имея счета в банке, он вынужден добывать деньги под высокие проценты, чтобы расплатиться в указанный срок. Банки отказываются предоставлять корейцам денежные ссуды. Они прижимают и японцев-надомников, отказывая им в ссудах, а о корейцах и говорить нечего. Но налоги собирают исправно, как и с японцев.

Одно слово: грабят, ничего не давая! Убирайтесь, убирайтесь отсюда, кричат они корейцам, тянут с них деньги и... ничего не делают для того, чтобы дать им возможность уехать. Корейцев не допускают в жилищные кооперативы, и живут они, так сказать, между небом и землей — и выпускать их не

выпускают, но и принять тоже не хотят. Вот и получается, что корейцы вынуждены спать, есть и работать, болтаясь как неприкаянные между небом и землей. Этого не смог бы придумать даже Сунь Укун<sup>1</sup>. А мы заставляем корейцев висеть между небом и землей. Поистине, такое можно представить лишь в научно-фантастическом романе.

Для корейцев город Осака — своего рода Мекка. Я сам вырос в пригороде Осаки и еще до войны ежедневно общался с корейцами. Благодаря моим корейским друзьям я научился кое-как изъясняться по-корейски и приобщился к корейской кухне. Первым алкогольным напитком, который я познал уже после войны, когда стал более или менее понимать, что к чему, была корейская водка маккари — ее я пил в корейском квартале позади осацкого вокзала. Я оценил вкус кимчи — корейской капусты с красным перцем — и тоньяна — блюда из жареных потрохов. Один корейский поэт познакомил меня с жизнью осакских апашей, что подвигло меня написать о них роман<sup>2</sup>.

Могу сказать, что среди современных японских писателей автору этих строк, пожалуй, приходилось больше других общаться с корейцами, пить корейский самогон и есть корейские блюда. Но даже для меня было внове многое из того, что рассказали корейцы, когда я встретился с ними в одном из пригородов Токио. И я убедился, что не знаю о Пусане, Сеуле, Панмыньжоне, Пхеньяне и десятой, сотой доли того, что мне известно о Латинском квартале и улице Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Думаю, это как бы символизирует отсутствие среди большинства японцев интереса к Корее. Слушая рассказы корейцев (а они, надо сказать, говорили о своих бедах скромно и с достоинством), я чувствовал, как холодный пот струйками стекает у меня по спине, растерянно кивал головой и, противно улыбаясь, бормотал слова извинения.

Из сотни японцев девяносто пять не общаются с корейцами, относятся к ним с безразличием и практически ничего не знают о Корее. Лишь услышав от корейцев об истинном положении вещей, удивляются, стыдливо опускают глаза и подписываются под их петициями. Японцы в своем большинстве инстинктивно проявляют доброжелательность, мудрость, понимание и сочувствие и с готовностью ставят свои подписи под петициями корейцев, вносят деньги в различные фонды, выслушивают, опустив голову, жалобы, ругают свое правительство. Но практически ничего не предпринимают. Они молча наблюдали, как двадцать пять юных отпрысков из привилегированного колледжа при университете Кокусикан на глазах у сотен прохожих в Сибуя среди белого дня избивают горстку незащитных корей-

---

<sup>1</sup> Сунь Укун — герой китайского классического романа «Путешествие на Запад».

<sup>2</sup> Имеется в виду роман Такэси Кайко «Японская трехгрошовая опера», рус. перев. М., 1971.

ских школьников. Об этом инциденте даже не упомянула газетенка, нашедшая место для статей о демонстрации модных фасонов собачьей одежды. Ни слова не промолвили и серьезные газеты! А полиция безразлично глядела, как убегают преступники, и даже не соизволила допросить свидетелей. И мы все не ударили палец о палец, чтобы хоть что-то предпринять. Только молча наблюдали, но, вернувшись домой и слегка опьянев от бутылки пива, поносили перед единственным слушателем — женой — правительство, полицию, газеты, дефективных отпрысков из колледжа, безразличных зрителей и себя в том числе. Откуда берется эта неподвижность, нежелание протянуть руку помощи? Откуда берется этот безразличный взгляд рыбьих глаз на спокойных, сообразительных, печальных и гневных лицах?!

*(Примечание автора. Следовало бы еще многое написать о том, что я узнал из беседы, с корейскими друзьями, но, к сожалению, я был ограничен размерами статьи. Приношу свои извинения корейцам, проживающим в Японии, за то, что неполно осветил волнующие их проблемы. Прошу извинить и за то, что не написал о некоторых последних фактах. Например, о том, что, несмотря на тяжелые условия существования, корейцы теперь разговаривают друг с другом на родном языке в переполненных электричках, с горделивым видом разгуливая по Гинзе в своих национальных одеждах — чхогори и чхима<sup>1</sup>.)*

## КРЕСТЬЯНЕ-«МАГНАТЫ» ИЗ НЭРИМА

Я живу на окраине района Сугинами. До центра города на электричке около часа. Здесь еще сохранились поля, остатки нетронутого леса и воздух хорош, однако ни газа, ни водопровода нет. Особый налог обитатели платят немалый, но дела обстоят именно так. Обходятся колодцами и баллонным газом. Что касается воды, то даже в современном Токио колодцы не пересыхают и летом. Бодрящая и вкусная вода.

Живу здесь почти шесть лет — все меняется прямо на глазах. Выросли кооперативные жилые дома, наступают многоквартирные дома, строятся современные небольшие домики — словом, пришла волна «цивилизации». Думаю, и цена земли выросла раз в 5—6, а то и в 7. Рядом с домами еще сохранились поля, время от времени приезжают откуда-то фермеры на маленьких тракторах. Летом огурцы растят, зимой капусту. Растят на такой дорогой земле, что здешняя капуста, как мне иногда думается, достойна водяного знака на каждом листе, словно 1000-иенная банкнота. (Позже разговаривал с фермерами из Нэрима, а все они при упоминании об этом в голос смеялись, но никто не отрицал.)

<sup>1</sup> Чхогори — национальная корейская куртка; чхима — юбка.

Народ едет и едет в Токио, и цена на землю нелепо растет, состояние фермера из Нэрима грубо оценивается цифрами порядка 100—200 миллионов иен.

Депозиты сельхозобщины этого района, самые крупные в Японии, составляют астрономическую сумму в 3500 миллионов иен. Чем ковырять землю да выращивать овощи, цены на которые так неустойчивы... словом, многие меняют род занятий. Все собравшиеся в зале заседаний сельхозобщины — «преуспевающие» дельцы, сменившие поля на бензоколонку, лесопилку, рынок, баню, птицеферму и т. п. Из семерых лишь один молодой человек остался фермером.

Все эти «магнаты», сменившие род занятий за последние 3—5 лет, внешностью очень похожи друг на друга, одеты они в поношенные куртки.

Вот идет по обочине сутулый человек, никому и в голову не придет, что это миллиардер Огуро-сан. Сильные мира сего, богачи, если заглянуть за занавеску, зачастую оказываются не особо представительными, невзрачными маленькими человечками, так что будьте внимательны.

Говорят, некоторые «магнаты» удовольствия ради выезжают на охоту и играть в гольф. Вон один такой в ветхом джемпере прикуривает от немецкой зажигалки. В визитной карточке написано: «Управляющий бензоколонкой». На месте земельных угодий построил бензоколонку, стоянку для машин. Однако подумывает о том, что «в крайнем случае» эту стоянку снова можно превратить в поле. Бетон ободрать, привезти земли, за пару миллионов иен запросто можно снова в поле превратить.

— ...привозная земля-то — все равно что удобренная, будет еще лучше. Сила в ней появится.

Рассмеялся «магнат», сказав это. Смех спокойный и уверенный, как у полководца, занявшего высоту: мол, каков бы ни был успех, не забывай о путях к отступлению.

Остальные «магнаты», услышав это, тоже заулыбались и согласно закивали. Все думают одинаково — и строитель, и торговец, и владелец общественной бани. Сколько ни говорят, что бросили поля, а полностью от своей цитадели не отказываются. Резервируют возможность снова стать фермерами, если понадобится. И все в голос говорят, что это — «от любви к земле». Земля для этих людей — якорь, защита, а к бетону у них хоть и неосознанное, но недоверие. Меня очень тронуло, что здесь, посреди Токио, тяга к земле так сильна.

(...Жаль только, забыл я спросить, когда же можно ожидать этого непредвиденного изменения обстановки, имеющегося в виду под словами «в крайнем случае». Думаю, его вообще не будет. Фермерское хозяйство — это одно из проявлений свободного предпринимательства, и оно всегда будет отступать.)

Вокруг полей столпились современные небольшие коттеджи, поля удобряются химическими удобрениями, так что токийские фермеры перестали использовать фекалии. В Нэрима издавна на

полях использовался так называемый «дарагон» — смесь компоста пополам с фекалиями, но уже несколько лет ею не пользуются. Теперь приходит во двор фермера «вакуум-машина» из конторы обеспечения гигиены города и все высасывает, а фермеры, как и горожане, только платят деньги. Ужасный труд по размешиванию «дарагона» был уделом хозяек, теперь можно обойтись без него и хозяйки крестьянских домов помолодели лет на десять, пышут здоровьем.

В Нэрима соотношение земель под сельскохозяйственными угодьями и под жильем — шестьдесят к сорока. Пока под угодьями земли больше. Однако по мере распухания Токио сельскохозяйственные угодья будут сокращаться. И все изменят род занятий. Это ведь «свободная конкуренция», так что, как только бензоколонка станет давать большой доход, все срочно начнут переделывать поля под бензоколонки. Станет выгоднее торговать — бросятся строить рынки. Живучи старые обычаи: свинина стала дороже — расти свиней, птица — выращивай птицу.

Поэтому даже и при смене деятельности конкурентов будет слишком много и конкуренция будет сильна. Можно бы договориться — мол, ты продавай бензин, а я — лес, но слишком уж эта земля близка к Токио. Все соглашаются — да, плохо это. Но не исчезает тщеславное желание обогнать ближнего, обманув его.

Пошел посмотреть в Нэрима крупную общественную баню со стоянкой для автомашин. Действительно, посреди поля величественно противостоит холодным ветрам и небу железобетонный дворец «Фудзиминори». Его тоже построили фермеры, но к ночи посыпанная гравием стоянка наполняется машинами. Это Токио. Эти люди, за 23 иены приезжающие в баню, ломают голову над тем, как бы побыстрее купить себе автоящик, вместо того чтобы оборудовать себе ванную.

Не скажу, что я не люблю бань. Хорошо после баньки с полотенцем в руке не спеша прогуляться, купить мандарин или киндуба<sup>1</sup>, а то и заглянуть в «Нобуморидзэн» пропустить рюмочку. Наверное, и у тебя есть время для таких прогулок и раздумий? Или ты живешь просто, как кузнецик? Пригнал машину к бане, и все? Машина — дьявольское детище бескрайних континентальных стран, в Японии это — излишество. Моя жена иногда ездит на своем «рено» — «4 лошади», но я туда стараюсь садиться пореже. Человеческое мышление обусловлено телом. Оно естественным образом вырастает из наших рук, ног, плеч.

Присмотритесь хорошенько, как грубо, некрасиво пишут те, кто постоянно ездит на машине, как захватаны пальцами и грязны их бумаги. Нет более яркого примера крушения надежд. Надо остановить такое неразумие, как езда в баню на машине.

Мое внимание привлек молодой человек по имени Ясугути.

---

<sup>1</sup> Кондитерское изделие из муки и сладкой пасты красной фасоли.



Он был единственным фермером среди семи собравшихся в комнате толстосумов. Его отец умер, когда ему был 21 год, и ему пришлось в одиночку усердно трудиться на поле. Все окружавшие его взрослые мужчины быстренько стали владельцами бензocolонок да бань, один он продолжал выращивать капусту.

Привел он меня на свое капустное поле, оно со всех сторон зажатое современными строениями и превратилось в такой клинышек, что и не повернешься. Удобрения вносит редко, но всякий раз они так долго пахнут, что приходится постоянно улаживать конфликты с жильцами. А жильцы поглядывают на его поле и покупают овощи прямо из окон. Производитель и потребители рядом, посредников меж ними нет, для обеих сторон это очень удобно, и, хоть выручка не очень велика, в дураках никто не остается.

Зашли домой. Типичный крестьянский дом, крытый соломой, среди рожицы разнообразных деревьев. Пили чай и беседовали в помещении с земляным, непокрытым полом, и не подумашь, что это — посреди Токио. Он и внимания не обращает на то, что многие фермеры в районе крупных городов строят современные «многоквартирные крестьянские дома» на деньги, вырученные от продажи полей.

Говорит, были бы такие деньги, пустил бы их на землю и овощи, на изучение и развитие овощеводства. Достал потрепанную тетрадь и принялся объяснять.

Это дневник, уже почти десять лет ведет непрерывно. Благодаря этой тетради многое узнал. К примеру, овощи то растут, то падают в цене. Скажем, в этом году на капусту хороший спрос. Тогда в следующем году все сажают капусту. Из-за перепроизводства она падает в цене, а на третий год ее никто не сажает. Цена на нее снова повышается. И этот трехлетний цикл продолжается снова и снова. Так вот, он каждый год сажает не то, что остальные.

Наступает весна, и он на своей трехколесной машине едет по окрестностям. Далеко, до района Кавайки добирается. Едет и смотрит по сторонам — что фермеры в этом году думают выращивать. Возвращается домой и прикидывает, на чем в этом году сконцентрировать усилия.

— ...я знаю, что мое поле больших денег стоит, но, если думать об этом, ничего не вырастишь. Когда работаешь на поле, голова не этим занята. Многие меняют занятие, ну и пусть. Я не собираюсь, я люблю работать в поле. Никому кланяться не надо. Хорошо. Так что бросать не думаю.

Здесьние фермеры еще с эпохи Мэйдзи зарабатывали тем, что выращивали редьку Нэрима, мариновали и сбывали военным. В этом районе издавна процветал дух милитаризма. После войны наживались на неразберихе. Послевоенный период кончился, земля дорожать стала, опять выгодно. Сплошные выгоды.

В этих местах хорошая земля, вода хорошая, рынок огромный, Токио — прямо под боком, благословенное место. Ферме-

ров называют производителями, а я бы назвал их обработчиками. Ведь главное — обработать землю. Я так думаю.

Крестьянский быт улучшает людей. некогда думать о другом. Однако взаимоотношения между людьми ухудшаются. Слишком много гордецов развелось. Только себя под всем небом и уважают. Других и за людей перестают считать.

Я в здешних местах самый молодой, но у меня такое чувство, что теперь это скорее достоинство, чем недостаток.

И вот среди неона, джаза, кино и баров, олицетворяющих Токио, он с достоинством говорит такие вещи и со спокойной уверенностью выращивает капусту. А ведь при желании он мог бы, как и другие, получить немало денег.

И не сделал он этого не потому, что так уж верен делу предков, или боится оторваться от земли, или ждет большого повышения цен. А потому только не сделал, что хочет чувствовать вкус этой работы, какого он на другой работе не почувствует. Он тщательно обдумывает, хладнокровно рассчитывает свой путь. И к полю он привязан не из горячей любви, какая бывает у влюбленных или фанатиков. Мне кажется, он с молоком матери впитал чувство противоречия и свободы.

Мне понравился его образ жизни.

Редкостный человек с независимым характером.

Фермеры района Нэрима в Токио — лучшие во всей Японии. Мне кажется, беды здешних фермеров во многом в том, что некому подражать, не за кем тянуться. Деревни всей Японии стремятся к тому, чтобы достичь уровня здешних фермеров. Когда это случится, неизвестно. Пока ходит по земле Ясугути, этот уровень будет помаленьку расти.

## ПРИШЛА КУРИНАЯ ВОЙНА

Однажды утром проснулся я цыпленком. Сделал несколько робких шагов и услышал тоненький голосок: «Цып-цып-цып, куда идешь, смотри в суп попадешь». Это пела девочка.

Английское слово «чикин», кроме основного значения «цыпленок», значит еще и «юнец», «желторотый». Интересно, а еще какое-нибудь значение есть? Заглянул в словарь французского языка, там у «цыпленка» оказался еще жаргонный смысл: «любовное послание». Наверное, из-за нашей привычки целый день тыкаться друг в друга носами, словно влюбленные. А еще есть значение «детектив». Наверное, потому, что он тоже постоянно во все сует свой нос. Обозначить детектива и любовное послание одним словом — это остроумно. Тонко подмечено.

Уже три тысячи лет мы — провозвестники утра. В нашем крике удивительная решительность. И одинокий сёгун, и

покинувший родные места юноша, и тайно встретившиеся влюбленные вздрагивали и пробуждались от нашего решительного кукареку. Во все времена и во всем мире легенды о героях, рассказы о мужественных людях в самый решительный момент призывают на помощь наш крик. Взять, к примеру, святого Петра. Это был серьезный и набожный рыбак, но, провожая на казнь учителя, трижды на вопросы зевак «ты тоже из его компании?» солгал. Сбылось пророчество учителя. Когда я, как было предсказано, третий раз крикнул, рыбак услышал и заплакал. А если бы я не крикнул? Ложь укоренялась бы и звучала еще не раз.

Есть такое историческое изречение, что, дескать, будь у Клеопатры нос на сантиметр длиннее, история пошла бы по-другому, но, позвольте отметить, Клеопатра была всего одна. Петухов же — триллионы, они кричат на рассвете во дворах, возвещая заблудшим душам бесчисленного множества знаменитых и безвестных мужчин и женщин поступить Судьбы. Не закричи я в тот момент, знаменитый сёгун, может, проспал бы битву, а сопливый мальчишка держался бы за подол матери и не стал бы основателем концерна Мицубиси. Да и Осити прислонился бы к белой ласковой груди Кити-сан и не додумался бы до поджога<sup>1</sup>. Кукареку сильнее, чем нос Клеопатры. Правильнее было бы другое историческое изречение: «Если бы петух не прокукарекал...»

А вот житье-бытье такого певца — провозвестника важнейших исторических событий просто ужасно. Если не считать петушков на коньках крыш да приятелей, резвящихся во дворах фермеров, живем мы теперь на фабриках. Чисто. Тепло. Сухо. На полу ни крошки мусора. Мы плотно упакованы в длиннющие ящики, расположенные в два-три яруса. Или на ровной площадке, огороженной металлической сеткой. Еду доставляет транспортерная лента.

Чтобы мы не дрались, клювы отпилены лобзиком. Иногда нам на нос одевают цветные пластмассовые очки, чтобы по сторонам не глазели, а только клевали. Крылья подрезаны. Считается, что если мы не сможем летать и прыгать, то быстрее будем жиреть, лучше нестись, да и пищи меньше надо и болеть не будем прохладным летом. Кровь пойдет — кисточкой мазнут. Молоком иногда поят. Видели, наверное, как в Мацудзаке коров поят пивом, массируют железными гребнями, чтобы мясо с тончайшими прожилками жира получать. А теперь появились «молочные дыплята», им в пищу подмешивают сухое молоко и обычным поят. Было это неплохо, да скоро прекратилось. Себестоимость производства высока.

---

<sup>1</sup> Распространенное выражение, основанное на историческом событии — поджоге, который осуществил зеленщик Осити в средние века в г. Эдо (ныне — Токио).

Последнее время в Токио шум стоит — «цыплячья война, цыплячья война». Америка производит слишком много птицы, из Европы ее вытесняют, так она пытается излишки в Японию вывезти. Американцы в 1962 году съели, говорят, 2130 тыс. т бройлеров. То есть по 11,8 кг на каждого. «Чудесное производство, чудесная птица». «Чрезвычайно питательный, высококачественный продукт, от него не толстеют». «Даешь организму белки бройлеров!» «Свежий и вкусный»... Давай-давай, производи да посылай в Европу. Но даже усердные немцы не смогли всех их съесть и шум подняли, обратно в Америку излишки отправляют. Вот эту-то часть Америка и втискивает в Японию.

У нас, соответственно, тоже начали производить бройлеров. Импорт нужно сдерживать. ЕЭС решило поднять пошлину. Ну, Америка есть Америка — сразу подняла пошлину на импорт из Европы вина, автомобилей, электробритв. Кровная месть. Оказывается, под давлением «цыплячьих лоббистов» в сенате. Империализм бывает такой разный, что просто диву даешься, но до «цыплячьего империализма» еще никто не додумался. Голова кругом идет. Я очень рад. Буду вовремя поднимать крик.

Появился писатель. Пошел в министерство сельского хозяйства и лесоводства, встретился с ответственным сотрудником, посетил в торговом центре США выставку цыплят, индюков и яиц. Сотрудник сельскохозяйственного отдела американского посольства бодро разъяснял, что эта выставка к «цыплячьей войне» отношения не имеет, предназначена для развития производства бройлеров в Японии, а вовсе не для демпингового вывоза излишков птицы в Японию и нанесения удара ее деревне. Серьезно воспринимавших это людей почему-то не находилось. Ферма Кобаяси в районе Нэрима ввезла из Америки оборудование автоматической подачи кормов и выращивает 15 тысяч кур, управляют фермой отец и 24-летний сын, который недавно закончил институт.

— ...Мы уже давным-давно поняли, что к чему. Министерская политика всегда одинакова: все потом да потом. Только после демонстраций и шевелятся. Но мы-то тут о себе думаем, нам не до демонстраций. Я не боюсь прихода американцев. Другие, может, и прогорят, а я надеюсь выжить. К тому же американские куры заморожены, тверды, как камень, вкус нехороший, поэтому они должны проиграть нашим, свежим. Я так думаю.

Худощавый маленький паренек с нездоровым цветом лица, но речь достойна, исполнена уверенности и степенности.

Пошел писатель к главе фирмы «Фунатада» в Асакусе. В пригороде около 40 филиалов, из любопытства открыл телефонный справочник — конторы, филиалы, посчитал — почти 60 номеров записано. Глаза от удивления округлились. В день забивают около 4 тысяч кур. На рождество, с 21 по 25 декабря, зажарили почти 80 тысяч.

— А как с приходом Америки, ничего? — робко спросил писатель.

— Ничего, ничего, какой разговор. Японии еще далеко до насыщения цыплячьего рынка. Если много везут да по демпинговым ценам продавать станут, тогда другое дело, а по нынешним ценам — ничего. А что широко рекламируют птицу, так нам это на руку, расходы американцев по рекламе мы приветствуем. — И глава фирмы самоуверенно рассмеялся.

Фирма «Фунатада» выглядит, конечно, внушительно, но если взглянуть в целом на японцев, каждый из которых за год съедает — а может, даже и не съедает — одну лапку, и сравнить с почти 12 килограммами на каждого американца или европейца, то цифры выходят курам на смех.

Поехал писатель в Тодобаси в префектуре Сайтама, где находится первая в Японии, и, как говорят, самая крупная в Азии фабрика с самым современным автоматическим оборудованием. Она способна переработать 10 тысяч кур в день, но фактически дает всего 4 тысячи. До обеда там не работали, пошел писатель в 3 часа дня — фабрика чисто вымыта, никого нет. Пусто...

Что же касается крестьян, то глаза их прямо-таки слепит от близкой прибыли. На птицу цена поднялась — выращивай птицу, поднялась на свинину — разводи свиней. Если все так сделают и на рынок продукцию выбросят, цена упадет. Скажут «хватит», возникает дефицит, цена снова поднимается. Это называется порочный круг. Для того чтобы нанести встречный удар Америке, прежде всего важно улучшить качество продукции и преодолеть этот порочный круг. Кроме того, кукурузу на корм приходится импортировать из Америки, в этом еще одна слабость и причина повышения стоимости японской птицы, однако Америка в затруднении со сбытом излишков кукурузы, так что с этой стороны проблем быть не должно.

А пока что нужно остановить близорукие, спекулятивные тенденции в птицеводстве. Надо развивать и осуществлять идею строительства больших фабрик, что поддерживает и министерство. Бюджет мал, здесь нужны свежие ветры перемен... Ходил, ходил дилетант-писатель, выяснял, что к чему, и пришел к выводу:

— Надо попробовать на вкус.

Купил американскую мороженую курицу, японскую мороженую курицу, принес в кафе «Аляска». Попросил разморозить их совершенно одинаково, приготовить совершенно одинаково, но так приготовить, чтобы вкус птицы наилучшим образом понять. Подали ему жареных цыплят.

Попробовал он их по очереди и сказал:

— Ясно.

— Не все вам ясно. Американские — большие и красивые, но мясо во рту не тает. Вкус грубый. Гадость. Консервы. Только чтобы голодному животу набить, — сказал метрдотель. — На боль-

шом банкете, где всего нужно много, чтоб соответствующая была картина, там американские победят. А вот вкус — только для котлет.

— Чтобы в масле все недостатки спрятать?

— Разве их спрячешь?

— Прячут же за слоем косметики.

Я бы здесь отметил, что и бройлеры с самого начала завезены из Америки, и корм американского производства, и автоматические линии кормления на фабриках американские. Сроки выкармливания, рацион питания — тоже по американскому образцу. Так откуда же будет разный вкус? Вот между мороженой и свежей есть разница. Правда, американцы говорят, что вкус не меняется, поскольку искусство замораживания близко к совершенству, но хотелось бы, чтобы вкус был более тонким, близким вкусу свежей птицы.

Мы быстро варимся, мясо у нас мягкое, вырастаем всего за 60 дней, вот и стали нас производить в больших количествах. Мы нервничаем. Ведь даже в самом слове «курица» издавна слышится что-то легкомысленное, робкое, чувственное, и мы действительно очень впечатлительны. На фабрике в Тодобаси писатель, должно быть, слышал, что когда нас в корзинах привозят, то за один вечер на дворе фабрики мы к следующему утру теряем до 10% веса. Если во мне 1 килограмм, так 100 граммов теряю. Как щепка делаюсь, стоять не могу. Поэтому люди спешат поскорее убить.

Подвешивают за ноги к железке. Режут голову. Умираем за 55 секунд. Еще через 5 — в горячую воду. Минуту держат в воде при температуре 53° по Цельсию. Режут крылья. Бьют резиновой дубинкой. Обдирают наголо. Снова в горячую воду. Опаливают в горелке. Поливают водой. Кладут в холодильник. Мотор гудит. Конвейер скрипит. Лента хлопает. 1400 в час, 10 тысяч в день. Цифры, цифры, цифры...

— Поточное производство... — изрекает сутулый писатель в очках.

Белки.

Белки, содержащиеся в мясе.

Правда, люди потом тоже превратятся невесть во что...

## ТОКИО С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Я хочу рассказать о том, что в Токио гораздо больше зелени, чем принято считать. Мы копошимся, как пучеглазые навозные жуки, в людской толчее, среди машин, в чаду, и воображение не может вырваться из этой суеты, а для птиц в небе Токио — «зеленый город».

Однажды мне пришлось полетать по токийскому небу на вертолете. Первым делом взгляд выхватил привычные детали

пейзажа — черепица крыш, похожая на застывшие волны, нагромождение зданий, кажущихся с высоты спичечными коробками, бесчисленные язвы на теле земли. Виднеется всего несколько магистралей, дорог как таковых нет, гигантским мшанником теснятся крыши домов. Трубы промышленного района Иокогама, находящегося на морском побережье, изрыгают клубы желтого, красного, даже на вид ядовито-едкого дыма, простирающегося над городом.

В средневековые картины европейских художников аллегорически изображали чуму в виде черного дыма, окутывающего небо, а здесь из бесчисленных цементных и металлических гигантов, устремленных ввысь, валит прозрачно-желтый, ярко-красный дым.

Привычная картина, тысячу раз виденная с земли, отсюда подошла на разгул безудержной стихии. Я давно облачил мозги в слововую кожу и взял за правило ничему не удивляться, поэтому и здесь, словно от укола иглой, только пошире раскрыл глаза и подумал: «Эх, люди, вы что водяные блохи. Скачете между небом и землей, забыв о том, что на вас надвигается неумолимый смерч самоистребления». Бесчувственный, как слизняк, я ощущал только приступ зевоты, которую вызывает что-то давно надоевшее.

В следующий миг сквозь уродливую мозговую оболочку подобно воде просочилось новое открытие.

В Токио есть деревья!

От удивления я вытаращил глаза. Островки зелени лежат в императорском дворце, храме Мэйдзи, на кладбище Аояма, в районе Синдзюку, но не они поразили меня. Сады виднелись даже у домишек, которые комьями грязи прилепились к бетонным границам промышленного района, клубящегося разноцветными дымами. Нет, их даже нельзя назвать садами — обитатели домов растят единственное деревце на мертвой пепельно-черной земле, состоящей из химических отходов. Если внимательно взглядеться в эти деревья, то обращаешь внимание на странный цвет ветвей и стволов. Они покрыты безжизненным налетом, словно искусственные цветы с прошлогоднего праздника, однако для жителей домов земля означает прежде всего дерево.

Не представляю, сколько частных домов в черте города. Промышленные предприятия, учреждения, универмаги, кварталы многоэтажных зданий, районы многоквартирных домов занимают незначительную площадь Токио. Остальное пространство усеяно бесчисленными домиками, которые цепляются друг за друга, как морские рачки. С неба видно, что каждый рачок старается обзавестись собственным садиком и деревцем. Садик часто выкраивается за счет площади дома. Пусть в нем всего лишь одно деревце, но по всему городу они складываются в сотни, тысячи, десятки тысяч деревьев, поэтому с высоты птичьего полета Токио выглядит «городом зелени», поднима-

ющимся из смога. На окраинах, в Накано, Сэтагая, Сугинами, Ота, Нэрима, Итабаси, зелень становится все гуще, обширнее, дороги сужаются в тропки и теряются где-то вдали среди деревьев.

Быть может, законы градостроительства вменяют домовладельцам в обязанность иметь сад, но тогда, в токийском небе, я по-новому задумался над отношением японцев к природе. Сад, земля, дерево, зелень — это ядро, вокруг которого создается дом в Токио. Садики, квадратные, треугольные, размером от кошачьего лба до спины гиппопотама, всегда были и есть основа жизни.

Европейцы и американцы представляют себе природу в городе в виде бульваров и парков. Природа в собственном доме заключается у них в горшке герани. В каменном городе человеку не дозволено иметь горсть собственной земли. Участок земли, деревья, зелень, сад возможны только за городом — в предместьях, в дачных районах. Люди мечтают о том, чтобы удрать из Парижа, Нью-Йорка, Лондона и обрести ядро жизни. А в Токио, в самом центре, можно видеть землю в частном доме. Мы обладаем необычайной «роскошью». Токио — промышленный, политический, торговый центр, но он, как это ни странно звучит, еще и город-сад.

Возникает удивительное противоречие. Мы, задыхающиеся под гнетом смога, настолько почитаем природу, что урезаем площадь спальни ради садика, но, как только дело доходит до общественной природы, нас словно подменяют, мы — само безразличие и варварство. Почему грязны, изувечены и убоги немногочисленные бульвары и парки? Стоит, однако, переступить за ворота частного дома, как погружаешься в стерильную чистоту, аккуратность, продуманный порядок. В чем же причина такого контраста? Мы безумно любим природу и одновременно презираем ее. Наши хваленые качества, не знающие конкуренции в мире, — опрятность, аккуратность, эстетическая утонченность, чувство формы, любовь к природе — способны, пожалуй, существовать только в теплице, возведенной эгоизмом.

Неру во время пребывания в Японии заметил, что ничего хуже японских дорог вообразить нельзя. Это подлинные слова, свидетельствующие об ужасающем состоянии наших дорог, и я привожу их без всяких прикрас. Действительно, в течение многих лет начиная с периода Мэйдзи японский милитаризм распозался по всей Азии, от материка до Перл-Харбора и севера Алеутских островов, сея разруху и смерть. В конце концов в Японии не оказалось ни одной дороги хотя бы размером с аппендикс. Ничего не скажешь, бестолковая трата энергии.

Гитлер строил шоссе для того, чтобы, развязав войну, непрерывным стремительным потоком перебрасывать по всем направлениям черную лаву фашизма — в Россию, Восточную,



Центральную, Южную Европу. Япония, цепь островов, заброшенных в море, сконцентрировалась на создании мощного кулака на побережье и сооружала там промышленные районы и военные базы. Дороги внутри страны никого не интересовали. Достаточно было магистралей, соединявших жизненно важные центры побережья. На материке дороги прокладывали золото и серебро, каменная соль и шелк. Мировая история, пожалуй, небогата примерами того, что развитие островной нации способствовало ухудшению коммуникаций.

Цезарь протоптал Аппиеву дорогу<sup>1</sup>, Наполеон строил Париж, Гитлер сооружал шоссе. Ленточный конвейер заводов Форда выплыл из цехов и превратился в скоростные автомагистрали. Япония, видимо, единственная страна, рост которой не породил дорог. Она является странным исключением еще и потому, что экономический гигант имеет катастрофически узкие кровеносные сосуды.

Токио как столичная префектура располагает столь неограниченными возможностями, что неловко даже называть общую площадь городских дорог. Мой близкий друг Сусуму Саканэ, принимавший участие в проектировании автодрома в городе Судзука, как-то сказал мне с насмешкой:

«Уже сейчас площадь, которую занимают автомобили, перекрывает общую площадь токийских дорог. Стоит машинам остановиться, как дороги начинают трещать по швам. Для разрешения проблемы следует обновить законы и заставить автомобили носиться безостановочно 24 часа в сутки. Достаточно одной машине остановиться, чтобы возник затор. По новым правилам автомобилисты будут как угорелые мчаться, не останавливаясь ни на секунду. Спать, есть, работать придется на ходу. На очереди создание автомобилей люкс с туалетом».

Мне эта идея показалась абсурдной, но приятель, который с головой погружен в конструирование мотоциклов и спортивных автомобилей, не видит другого выхода.

Я плыл по токийскому небу, как медуза, и неспешно размышлял о самых разных вещах. В нашем городе бесчисленное множество суставов, каждый из которых приводится в движение собственным сердцем. Он похож на примитивное живое существо, поэтому в конце концов его население и функциям придется, скорее всего, переместиться в провинцию.

Если все пустить на самотек, город начнет наступать на море, но и в этом случае дороги необходимы. Откуда же выкроить пространство для них? Не принести ли в жертву токийские частные садики? Они составили бы значительную

---

<sup>1</sup> Неточно. Аппиева дорога была проложена за 300 лет до Цезаря Аппием Клавдием. — *Прим. перев.*

площадь. Быть может, домовладельцы, обливаясь слезами, принесли бы на благо общества свои деревья?

Сады пустили бы под дороги, частные дома выросли бы в многоквартирные поселения, а глаз бы радовали общественные парки и бульвары. Ликвидация садиков, пожалуй, украсила бы пейзаж японских городов.

В небе, как никогда глубоко, я проникся сознанием того, какую радость дарит зелень обитателям каменного города. Ну а врагам токийских садиков посоветуем поискать себе пристанища где-нибудь в живописной провинции.

Некоторые решат, что все же можно отобрать у токийцев садики. Интересно, кто добровольно отказался бы от собственной зелени? Есть ли среди нас, людей, которые будут невозмутимо созерцать свой садик, попивая чай, даже если в дом въедет самосвал, хотя бы один человек, способный одобрить такую революцию?

Вздорные идеи разрушения наносят ущерб национальным традициям, общественному спокойствию и подобны проклятому самосвалу в доме. Почему же мы не можем пойти по стопам французов, немцев, американцев, англичан? Взяться за дело, так доводи его до конца. От человека зависит, получится его дело или нет. Многострадальный император Мэйдзи, на долю которого выпала лишь сотая часть испытаний, пережитых Петром Великим, тоже, вероятно, придерживался такого мнения.

«В самой безвыходной ситуации всегда есть выход», — говорят китайцы. То же самое утверждал император Мэйдзи. Стало быть, выход есть. Беритесь за дело серьезно.

Поднимаюсь на Токийскую башню. Она, по словам гида, самая высокая в мире. Я не бывал здесь раньше, но пустился в это путешествие, решив написать в праздничные дни очерк о чем-нибудь будничном, хотя бы о том, как выглядит дымок над нашими семейными очагами. Очерк планировался в номер за 3 января 1964 года. С застекленной смотровой площадки я вглядывался в муравьиную копошню на земле. Подо мной простирался тот же город, который я несколько лет назад видел из вертолета с высоты птичьего полета. Зимнее оцепенение, зелень, нагромождение спичечных коробков, затянутых смогом.

Обведя взором десятиллионный город, лежавший за стеклом, я глубоко вздохнул. Молодой герой одного французского романа смотрел на Париж с Монматра, звонко насвистывал и надеялся, что когда-нибудь город будет у его ног. Я был далек от таких амбиций. Выпил бутылку кока-колы, не спеша выкурил сигарету, посмотрел в небо. Глядя в необъятную ширь, думал о человечестве, жалких рачках во Вселенной.

Мысль о вечности редко посещает меня, но, раз она появилась, нужно держать ее крепко, как стрекозу за ниточку. Входная плата на башню 150 иен. Полторы минуты в лифте. «Вечность», льющая бальзам на израненное сердце, удивительно доступна. Удобные времена настали! Через полторы минуты вы

снова стоите на земле и «вечность» моментально улетучивается, как аромат духов «Прощай». Какой желанной казалась бы «вечность», будь она недосягаема.

В голове порхали мысли о высоких материях, а я жевал булочку с сосиской, бродя вдоль стеклянных стен. Опустил десятиионовую монетку в бинокль, разглядываю детали пейзажа.

— Хорошо видно?

— Нормально.

— А что там?

На залитой солнцем лужайке около строящейся гостиницы в кружок сидят пожилые поденщицы. Они обедают

— А с чем у них рис?

Похоже, без приправы. Рисовые колочки завернуты в сухенные водоросли. Аппетитно пьют дешевый чай из металлического чайника.

С Новым годом!

## БЕДЫ И РАДОСТИ КВАРТАЛА СТАРЬЕВЩИКОВ

В автомашинах я не очень разбираюсь. Есть у моей жены Хироюки старенький «рено», какие называют «четыре лошади». Как говорит Акава<sup>1</sup>, «ситроен», словно склеенный из листов жести, когда поднимается в гору, стонет «ой-ой-ой», а когда выходит на ровное место, то бежит под бодрое «бум-бум-бум», так вот предмет ее гордости — «четыре лошади» — точно такой же.

Чуть только пошел на подъем, сразу начинает греться и на французский манер петь «вай-вай-вай», потом фьют — выпускает дух и останавливается. Она сердито заливает воду, температура снижается, машина бежит под бодрое «бум-бум-бум», но скоро снова запекает «вай-вай-вай». Загадочная машина — перед тем как остановиться, поет «вай», как едет — «бум».

Что было, то было — с неделю посещал автошколу, потом бросил: нет времени. Молодые инструкторы в автошколе, усталые от бестолковости наседающих страдальцев-кандидатов, мечутся от ругани да к брани.

Филологически их жизнь удивительно проста, все существительные и глаголы у них одной, ультрасовременной формы. Сидят рядом с вами и покрикивают «право!», «лево!». Или «тормози!», «разворот!», «сто!», «пошел!», «хватит!». Под окрик «право» я почему-то в растерянности повернул руль налево, он крутанул вправо и сочувственно прошипел: «Ты что, дурак?» И снова пошло «право», «лево». И вправду все очень просто.

---

<sup>1</sup> Современный японский писатель, автор многочисленных очерков об автомобилизации Японии.

Расспросил его — оказалось, на десять лет меня младше, не знает ни зажигалок, ни указов военного времени. А вот лающий язык старой армии усвоил в совершенстве. Интерес ради привез его домой, выпили вместе, выяснилось, что любит музыку, подробно рассказал о том, как в автошколе удается наживаться.

В автошколу я перестал ходить потому, что увлекся путешествиями и книгами, но до сих пор стоит в ушах грубая и резкая брань этого молодого человека. Он из Тохоку. Когда я мешкал, он зло кричал: «Тормози, болван!»

В Харуми открылась «14-я всеяпонская выставка автотехники», поехал я туда. Выставлены новые модели бесчисленных крупных и мелких производителей; чтобы подработать, американские студентки с не очень красивыми веснушчатými лицами представляют эти модели. Для поднятия тонаса играет оркестр. Выставлено все: пожарные машины, самосвалы, бетономешалки, рефрижераторные фургоны, междугородные автобусы, вездеходы, машины с тяжелым подъемным оборудованием, погрузочные механизмы, спортивные машины, роскошные легковые. Все блестит и переливается красками, сверкающая витрина капитализма, энергии и исследовательского духа японской промышленности, ее величественности и тонкости. Экспонаты поводят плечами и потягиваются, как кошки. Нет лишь катафалков да мусорных, остальное все тут.

Притихшая «смерть на колесах» продумана и спланирована как по назначению, так и по внешнему виду, но от всего так и веет чем-то чужим. Позднее я говорил со специалистами; оказывается, японские грузовики по качеству хороши, а вот легковые пока еще отличаются от иностранных, как ребенок от взрослого. Прогресс из года в год налицо, но еще многому нужно учиться — плохи дороги, недостаточно высокое качество металла.

Однако это общий взгляд, который нельзя распространять на все оптом, поскольку есть и таинственное до странности хорошее качество и дешевизна двигателей «хонда спорт», и тот факт, что «блу берд» на годовых испытаниях в Финляндии победил «фольксвагена».

Не очень далеко от этой презентабельной выставки в Харуми есть местечко Татэгамати в районе Сумида. Это не очень оживленный пригород Токио, где находятся маленькие мастерские, где живут типично японские, не имеющие аналогов в мире, специалисты. Это городок специалистов по разборке машин, городок старьевщиков.

Работа их состоит в том, чтобы разобрать негодную машину, отобрать части, которые могут пригодиться, а остальные продать на металлолом. Это автомобильные хирурги. Официально их называют «старьевщики». Вроде сборщиков макулатуры. Название городка известно предпринимателям всей Японии; ремонтники, нуждающиеся в деталях к старым машинам, шлют

сюда запросы со всей страны, от Хоккайдо до Кюсю. Есть даже поговорка: в Татэгамати пойдешь, все что надо найдешь.

И в мире действительно нет этому аналогов У американцев, например, походила машина три года — хлоп под пресс и на переплавку. А в этом городке собрались около сотни старьевщиков, и хоть баснословных доходов они не имеют, но живут сносно. Живут тем, что останавливают сверкающую витрину капитализма на пороге могилы, поколдуют над ней и возвращают к жизни ее внутренности. Рынок автомобильных старьевщиков. Усердие, умение, экономия и точный расчет. Но и это Япония. Городок, прилепившийся у ног чудовища, — Токио. Высокомерные «кадиллаки», крепкие и выносливые «фольксвагены», все в конце концов попадают сюда. Чтобы разобрат машину — раньше это делали молотком, зубилом да кувалдой; теперь — с кислородными и ацетиленовыми резаками — нужно всего два часа. За два часа перестают существовать все — и «кадиллаки», и «фольксвагены», и мусорные машины, и катафалки. Превращаются примерно в три тысячи деталей. И какие из них удастся продать, какие нет — все это определяет глаз старьевщика. Не просто подбирают они все Подряд. Для этого нужно хорошо представлять, у каких машин какие детали наиболее уязвимы и чаще ломаются.

Это похоже на жизнь африканской гиены, которая по всей саванне отыщет след, лишь только запахнет кровью или падалью. День за днем по опыту и книгам изучаются и запоминаются сильные и слабые места, раковые опухоли и ахиллесовы пяты множества машин. Из года в год растет число новых автомобилей, количество деталей растет, и эту работу не выполнить без любопытства и любознательности.

— Говорят, что врач, стоит ему взглянуть на больного, может сказать, что у него не в порядке. И вы можете — по виду машины?

— Почти. Правда, чтобы понять хорошенько, нужно проехаться на ней. Тогда становится ясно, как на рентгене.

— Здорово.

— Так ведь собаку на этом съели. Машина, в общем-то, — это смазка. Если ее правильно меняют, в нужном количестве и нужного качества, машина не так сильно изнашивается. Но не все так делают, а то бы нам жить не на что стало.

— Мусорные машины, наверное, неприятно разбирать?

— На это не обращаешь внимания. Первоклассные машины, которые возили типов, якшавшихся с бандитами да взяточниками, еще грязнее. Их даже приятно раскурочивать. Грязи от этого, конечно, не убавится. Так что курочим всякие. И настроение неплохое.

— А катафалки?

— Какая разница? Просто в тех, что продает муниципалитет, нет ничего ценного, поэтому идет за бесценнок. Вот

разобрать бы колосники крематория! Были бы деньги. Они ведь из жаропрочного металла да толстые.

Шины можно продать за 500 иен, а если повезет, то и за 2000. Используется часть радиоприемников. 90% двигателей идут на металлолом, но некоторые попадают в деревню и возрождаются там в качестве электрогенераторов. Используются на распиловке леса в горах, на выборке речного песка, двигатели с джипов ставят на рыбачьи лодки. Правые двери идут дорожке левых — видимо, при левостороннем движении чаще повреждаются. Стекла идут за полцены против новых. Рамы идут в электропечь, тормозные устройства — в мартен. Оставшийся в баках бензин собирается. Рулевое управление разбирается в последнюю очередь. Двигатели все в масле, поэтому разбирают сразу с нескольких машин.

— А как новые машины по сравнению со старыми?

— Раньше разобрал такси — получил монеты. Бывало, по 2 иены на 10 затраченных прибыль получали. Теперь такого нет. Трудно стало. Когда продают машину, досконально проверяют. Дополнительного дохода не стало.

Все хозяева таких мастерских в городке в один голос твердят, что темными делами, вроде разборки ворованных машин, не занимаются и что, мол, не пишите об этом. Говорим, мол, только потому, что однажды один популярный еженедельник написал об этом.

Пообещал, что я не грязный сплетник, что я давно пишу о таких вещах, и им это пока не повредило, однако острая настороженность в их глазах не пропала. И все продолжали твердить, что сейчас стало можно разбирать только машины со специальным сертификатом о непригодности, поэтому на разборке ворованных машин уже не заработаешь.

Однако в действительности в Токио ежемесячно воруются и исчезает большое количество машин. Похоже, уехать на машине, не имея ключа, не так уж сложно. Если пойдет ток, машина заведется. Так что можно обойтись фольгой или ртутью из термометра. Однажды, несколько лет назад, один представитель темного мира в Осаке показывал мне, как с помощью нескольких термометров можно угнать машину стоимостью несколько сотен тысяч, несколько миллионов иен. Из машин, угоняемых в Токио, находится и возвращается владельцам около трети, остальные две трети исчезают. Так что можно предположить, что в Токио, пусть не в Татэгавамате, есть нелегальные старьевщики, которые наживаются на разборке ворованных машин. А вот где они находятся — полнейшая загадка...

Из года в год растет число машин, число списанных тоже растет, и можно подумать, что Татэгавамате процветает, но это не совсем так. Когда машин мало и запчастей не хватает, городок процветает, но такое было лишь до войны, когда был запрещен импорт машин, да после войны, в период упадка, а теперь положение не слишком хорошо, но и не так уж плохо.

Производители в качестве сервиса держат солидный запас запчастей на бензоколонках, поле деятельности старьевщиков сужается. И импортные, и отечественные машины по мере устаревания уходят в провинцию, и к старьевщикам все больше обращаются люди оттуда.

В Татэ авамати около сотни людей занимаются этим делом, кто-то из них зарабатывает лучше, кто-то хуже. Кто-то специализируется на импортных машинах, другие — на отечественных, кто-то на грузовых, автобусах. Чтобы избежать излишней конкуренции, организован взаимообмен товарами. Это целесообразно.

Однако люди дальновидные считают, что нужны какие-то новые, кардинальные меры, потому что при таком положении дел перспективы плохи. Обсуждается идея создания крупного объединения по торговле деталями старых машин, как импортных, так и отечественных. То есть создания супермаркета авточастей. В этом бизнесе тоже родились проблемы, общие для мелких и средних предприятий любой отрасли.

— ... У молодых хорошие идеи, но нет денег. С возрастом появляются деньги, но тяжелеет зад. Но если так пойдет дальше, то старьевщики сами попадут на свалку Тяжко. — Пожилой предприниматель уныло качает головой.

## ТРЕБУЮТСЯ... А КАК ЖИВУТ?

В Токио, в Токио! Ежегодно масса юношей и девушек устремляются сюда со всех концов страны. Они вливаются в предприятия и фирмы, поселяются в общежитиях для одиноких и начинают изучать Большой Токио. Вдоль нескольких частных железных дорог, имеющих в Токио, в пригородах разбросано бесчисленное множество больших и малых общежитий. Редко какое предприятие или фирма не имеют такого общежития для сотрудников, а потому их число в пределах города внушительно.

Даже закулочные и бары, став потверже на ноги, заводят себе такие общежития. В многоквартирных домах плата за квартиру велика, поэтому без таких общежитий трудно привлечь на работу служащих или *hostess*<sup>1</sup>.

Поначалу приехавшие из провинции юноши и девушки дрожат, как мыши, но проходит месяца два-три, и все меняется. Кости становятся такими крепкими, что не ломаются в переполненном городском транспорте, движения быстрыми, как у форели, из-за постоянного метания между машинами. Под взглядами бесчисленных глаз девушки хорошеют. От постоянного толкания в очередях на дешевых распродажах тело становится

---

<sup>1</sup> Девушки, развлекающие посетителей в барах и закулочных (англ.).

ся гибким и изящным, как у антилопы. Глаза делаются чистыми и красивыми, как у кинозвезд, ибо просматриваются лишь первые иероглифы заголовков в газетах и тень знания не замутняет их. Голова начинает очень быстро считать и пересчитывать, пытаюсь приспособить низкую зарплату к высокой стоимости жизни. Примечательно, что даже пальцы благодаря всеночной игре в карты по субботам приобретают повышенную чувствительность.

Словом, чтобы в этом городе тебя не обогнали другие, нужно приучить себя к ночным атакам и утренним броскам — быстрее поесть, скорее выйти, все время бегом — это заметно улучшает кровообращение. Все тело гудит от бешеной деятельности, и через два-три месяца человек меняется до неузнаваемости.

В районе Митака по Центральной линии много общежитий различных крупных фирм, посетил одно из них. Общежитие известной строительной фирмы, строящей гостиницы, метро, прочие здания, произвело впечатление. Этому общежитию уступят многие отели: пятиэтажное здание на металлическом каркасе, ярко переливаются светильники, теннисный корт, кондиционированный воздух, ванны, туалеты, все удобства, комнаты в японском и европейском стиле, а на втором этаже даже спортзал с баскетбольной площадкой.

Здесь живет свыше 200 молодых людей — выпускников школ и институтов, средний возраст 21 год. Показали комнаты — все европейского стиля, на двоих: два стола, два книжных шкафа, две кровати. Во всех комнатах неожиданный для меня порядок. Нигде нет сперттого, характерного для молодежи запаха пропавшей одежды и обуви.

Удивился и тому, что в большинстве комнат — стереомагнитофон и небольшой телевизор. Молодежь покупает в кредит.

— Какие записи слушаете?

— Разные. Одни любят песни про альпинистов, другие — музыку Хачатуряна. Правда, в комнате двое, поэтому не всегда можно послушать тогда, когда хочется. А вообще-то это скорее украшение комнаты. Смотришь и радуешься. Приданое. Скромная мечта.

Потом поехал в женское общежитие кондитерской фабрики в Кита-Синагаву. Здесь в малюсеньких комнатках живут по четыре девушки, у каждой койка-скамейка, с которой сползаешь ночью, точно как в спальном вагоне второго класса. Никаких украшений, кроме фотографий на стенах да стоящих рядом кокэси-нингё<sup>1</sup>.

— Уныло, — пробормотала.

---

<sup>1</sup> Небольшие схематически выполненные куколки в виде разрисованного цилиндрика с головкой.



Одна из девушек ответила:

— Такое жилье и украшать не хочется. К тому же стерео выходит каждый год новое, все равно за модой не угонишься. Вот все и придерживают деньги.

— Копите?

— Ну не совсем так, — прошептал это, она выжидательно улыбнулась. У них здесь есть девушка, которая копит сдачу из бани, накопила уже тысячу алюминиевых монеток по одной иене. Конечно, разница в доходах есть, но интересно, как резко проглядывают различия в характерах этих парней и девушек одного возраста.

Подробно расспрашивал о премиях, о повышении по службе, о социальном обеспечении, об оплачиваемом отпуске и слушал ответы, но, думаю, в конечном счете важно, какой представляется жизнь через призму этих цифр.

Краб и личинка, живущие в одинаковых песчаных норках, будут совсем по-разному судить о жизни. Носки одного размера Таро окажутся малы, а Дзиро велики. А я писатель, пытающийся понять чувства людей, и потому оставляю сравнение и анализ цифр какому-нибудь социологу. Мое дело — досконально понять, что чувствует и думает каждый из них — и краб, и личинка, и Таро, и Дзиро.

У молодежи строительной фирмы и девушек кондитерской фабрики много различий, начиная с зарплаты. Масштабы и капитал этих фирм совершенно различны, совершенно различен и характер работы. Молодежь мешает бетон, вгоняет сваи, а девушки месят пшеничную муку, улыбаются клиентам и продают сладкие пирожки. Все различно. Но если собрать все их рассказы, то обнаруживается одно общее

Перенапряжение.

Изо дня в день, с утра до вечера работа накладывается на работу, и в общежитие они приходят только спать. Из Тохоку, с Хоккайдо, из Кансай, Сикоку, Кюсю — со всей Японии съехались они в Токио год-два назад, а спроси — знают только путь от работы до общежития, больше ничего.

Путь от работы до общежития, находящийся чуть в стороне увеселительный квартал — в этом крохотном треугольнике они крутятся с рассвета до темна. А если случится вырваться из границ и попасть в другой увеселительный квартал, то чувствуют они себя там словно за границей.

У мыши, у кошки тоже есть своя территория, и их жизнь и деятельность проходит внутри этих невидимых, но прочных границ. И стоит им вырваться за их пределы, как они немеют, словно парализованные. В своей канаве мышь проворна, как тень, а попадает на широкий перекресток — и ее давит трамвай, словно глиняную куклу, — потому что покинула свою территорию. Мне кажется, то же самое происходит с людьми. К примеру, в Синдзюку я могу спокойно выпить бутылочку виски, а на Гинзе меня с трех рюмок совсем развезет.

В Токио жизнь ненормальна. Это не жизнь. Какой-то бессмысленный бег.

— И долго он будет продолжаться?

Молодой парень, выпускник университета в Киото, задумался. Потом ответил:

— Всю жизнь! Думаю, всю жизнь. Такое уж это место.

Тогда я попробовал спросить следующее.

... Молодость можно мерить по-разному, и вот по размышлении я пришел к мысли, что человек, такое животное, которое без работы существовать не может. Не знаю почему, но так. И общество, которое дает возможность человеку менять род занятий, пока он не найдет для себя подходящее, — это молодое общество, а пока идет этот поиск — длится индивидуальная молодость. В Англии, во Франции нередко дети привратника становятся привратниками, дети служанок — служанками, сын учителя становится учителем. Молодо такое общество или нет? Как вы думаете?

Компания задумалась, потом ожила. Начали говорить все вместе, серьезно и спокойно о том, что все они хотят поработать в этой фирме, научиться как следует, потом вернуться в родные места, открыть строительные конторы, стать хозяевами. С этой точки зрения их можно причислить к «молодым».

Однако в сегодняшней Японии 8 из 10 молодых людей по окончании школы идут на работу, ничего толком о ней не зная, и остаются на этой работе всю жизнь. Нет ничего другого, кроме как лечь в это прокрустово ложе.

Думаю, что хоть и нет у нас такого сословного расслоения, как в Англии и Франции, но своеобразные жесткие ограничения есть. Я знаю, что мои определения отдают пустым идеализмом, мало подходящим к современности, но отказаться от них не могу.

— Общежитие это неплохое, но чего-то не хватает. Угловаты все комнаты. Хочется чего-то округлого.

— Это хорошо, что столовая дешевая. Но вообще-то, когда в поте лица приходишь с работы, желание только одно — ванная.

— Физическая нагрузка — только когда поедешь в горы в отпуск.

— Когда-то хотелось почитать Гёте, Толстого. Теперь уж все равно.

— Бывает 150 сверхурочных часов в месяц. А что поделаешь?

— Свиданий нет.

— Ни времени, ни партнера.

— Запрешься на ночь, это лучше всего.

— На ночь запрешься — с женщиной, что ли?

— Не прикидывайтесь. Запереться на ночь — значит на всю ночь засесть за карты. Как будто писатели этого выражения не знают.

— А я пью. Кучу напропалую. На днях разгулялись, 10 тысяч иен пропил.

— Ужасно.

— Не ужасно. Я так делаю, чтобы забыться.

У девушек в Кита-Синагаве разговор был спокойнее. Гёте и Толстой не упоминались, «запереться на ночь» тоже, 150 часов сверхурочных и 10 тысяч иен тоже не упоминались.

Но и они изо дня в день работают и работают, и они страдают от недостатка «округлости», «домашней атмосферы», «душевного разговора», только вместо неразумной траты на выпивку идут они в певческие кафе и поют там песни детства вместе с незнакомыми людьми.

Попоют, потом трясутся в транспорте, пересаживаясь на остановках, из Синдзюку в Синагаву, к себе.

— Не хочу сказать, что в Токио масса нахалов. Но что делать, если пристають?

— Зло посмотреть.

— Не обращать внимания.

— В Юракуте, позади здания газеты «Асахи», вечером много их шляется. Если сделать вид, что не замечаешь, могут и сзади по голове... бывает такое. Страшно, я недавно еле убежала.

— Плохо.

— Да. Зато, может, не так уныло.

— Работаете, работаете, общегитие хоть и как отель, а возвращаетесь туда только спать, хорошо хоть ванна есть, да только и радости, что в субботу ночь провести за картами.

Какое же у этих молодых людей настоящее, реальное желание? Один сразу и громко ответил, остальные от души рассмеялись и закивали.

— Выспаться днем и жениться!

Вот так...

## НОЧНОЕ КАФЕ

До 12 ночи спал, потом пошел в город и бродил до 6 утра. В одно ночное кафе заглянул, в другое, там выпил виски, тут кока-колы, здесь чаю. Когда вернулся домой, в животе булькало, как в бочке.

Расспросил в полиции обстановку; оказывается, больше всего молодежи слоняется в районе вокзала Нисикиитомати. Сказали, там есть трехэтажное кафе, на третьем этаже «места для пар», туда пускают только вдвоем. В нарушение правил в заведении совершенно темно. Когда появляется полицейский с люксметром, по знаку боя реостатом плавно добавляют свет. Уходит — снова становится темно. И в этой темноте мальчики и девочки курят, целуются, теряют голову от ласк, балуются наркотиками.

А в последнее время появились сообщения даже о поножовщине среди 17—18-летних девушек.

Ну что же, пошел в Нисикиитомати. Куда ни зайду — покрытые пластиком столики ярко освещены, молодежь в джемперах, джинсах и босоножках пьет чай. В кабинках светло, перегородки низкие, что делается на соседних местах, хорошо видно. Три заведения обошел — всюду та же картина. И в одежде, и в блеске глаз — жизнь, а не журнал «Плейбой». Просто живущие поблизости, закончив дневную работу, пришли попить чаю. На привокзальной площади стояли и разговаривали около десятка молодых людей в пиджаках, но и их вид говорил скорее о попытках разогнать скуку, нежели о каких-то предосудительных намерениях. Нигде и намека на горячий дух разложения.

Центр ночных кафе — Синдзюку, отправился я туда. Район этот принадлежит не тем, кто здесь живет, а тем, кто сюда приходит. И процветает он за счет них. Пятиэтажное кафе смотрит на улицу, сверкая белыми огнями над полутемной, покрытой мусором пустыней. Второй этаж — «общие места», третий, четвертый и пятый — «места для пар». Поднялся на второй. С потолка свисают искусственные ветви кленов, кисти винограда, светло, блестят пластиковые столики. На каждом — автомат по продаже 10-иенных шоколадок. Бросил 10 иен, выкатились орешки в шоколаде.

Незаметно для себя прислушался к песне:

...возвращаясь из ночного бара,  
молодость с любовью обнялись...

(Из сборника «Новые песни о Токио», слова Сэйити Ита,  
музыка Нобукадзу Судзуки.)

Совсем как в кафе времен Тайсё или начала Сёва. Словно ничего и не изменилось. Не успел подумать, как грянул марш из фильма «Мост через реку Куай». За ней — Джаз. Музыка Дьюка Эллингтона взорвалась, как гром грозы за горизонтом, постепенно превратилась в громовой водопад, рвущий мир на части, в какой-то миг вспыхнула гневом и смиренно, как сделавший свое дело человек, убежала тихим ручейком.

Вокруг в основном молодежь, но разная. Рабочий в джемпере с пятнами машинного масла. Слегка покашливающий студент. Девочки в плащах и вишиловых сандалиях на босу ногу. Бабушка лет пятидесяти и в шерстяной накидке сидит, опустив голову. Юноша в пиджаке без единой пылинки, отрешенно пишущий что-то.

Служащий, часто моргающий совершенно красными глазами. В углу несколько молодых людей спорят об оплате счета, бросая на стол монеты в 10 и 100 иен.

— Ну, сосунок, давай еще.

— Нету больше.

— Пришел с девчонкой, как большой, так не ставь ее в неудобное положение.

Вмешалась девочка:

— Ладно, я заплачу, только не ругайтесь.

Мальчик промолчал.

Пьяно заорал парень постарше, которого все называют «братец»:

— Смотри, девка! Не продешеви. Меня обдурила. Ладно.

— Ну, сосунок, больше ко мне не вяжись!

Девочка в плаще, подкрашенные глаза напоминают свиные, смотрит внимательно, говорит, как старшая сестра или жена.

У «брата» лицо заросло неопрятной бородкой, как у уличного бродяги, есть в нем что-то похожее на барсука, рыскающего в траве глазами; теперь он, что-то бормоча, начал приставать к девочке. Та, чтобы отвязаться, спряталась в туалете. Парень в свитере с высоким горлом задумчиво наблюдал за ними. Я так и не узнал, что это за компания. «Братец» говорил пьяно, громко, кассирша позвонила в полицию. Приехал полицейский. «Братец», шлепая резиновыми сандалиями, проследовал за пожилым полицейским в очках, по пути взглянул на меня, почему-то рассмеялся и сказал:

— Ну и ну.

Других инцидентов не было. Остальные посетители занимались своими делами. Студент, низко склонив голову, читал книгу, юноша продолжал писать, служащий — моргать глазами, непрерывно звучали пластинки. Слово рыбки фугу в аквариуме, подумалось мне. Фугу в аквариуме, среди зеленоватых водорослей, в мерцающем сумеречном свете, каждая сама по себе тихонько шевелит маленьким телом. Поджатые губы, выпученные глаза, тело кажется совершенно обессиленным, еле поддерживающим равновесие, чтобы не перевернуться. И лишь голова твердая, как железо, и акула не разгрызет. И не узнать, какие чувства роятся в этой твердокаменной голове, что неподвижно застыла в прозрачной воде, но, если присмотреться, заметишь, что в глазах — само одиночество.

Время от времени пластинка останавливается и звучит голос: «... просим посетителей соблюдать установленные правила. На местах не спать. Сейчас три часа утра». Оказывается, объявляют каждый час. До начала движения городского транспорта вот так и будут каждый час будить посетителей. А посетители потягиваются, хлопают глазами и ждут рассвета. Как в ночной электричке. Поднимают головы от дремы, и лица как у фугу.

Недалеко от меня сидит бабушка лет пятидесяти, положив на стол блокнот. В вязаной накидке, поношенная сумка с покупками, понуро ждет рассвета. Разговорился. Приехала из Яоко. Сказала детям, что сегодня не вернется. Завтра доделает дела и придет.

«Дела», судя по замеченным краешком глаза цифрам и именам в блокноте, касаются страхования. Почему не остановились в гостинице? Здесь дешевле, да еще к чаю бесплатно дают вареное яйцо или бисквит. Первый раз? Нет, уже третий или четвертый. Сказав это, она замолчала, прикрыла глаза и отдалась своему одиночеству, понуро свесив толстый, приплюснутый, похожий на наковальню нос.

Обошел еще несколько ночных кафе, обстановка везде такая же. В «общих местах» сидят одинокие юноши и девушки, усталые, с отрешенными лицами, борются с наплывающим, как облако, сном и ждут конца ночи. В «местах для пар» сидят рядышком, рассеянно разговаривают в мерцающем, как на дне пруда, полумраке.

Возле маленького столика два стула, и сидят он и она лицом друг к другу, как в поезде, ведут себя благопристойно. И на каждом лице следы рашпиля жизни. Весь день с утра до вечера крутила их жизнь, наконец попали они сюда и переводят дух. Не спросил, где они работают. Наверное, в столовых, закусовых, чайных, барах Синдзюку или на фабриках и фирмах, где работа кончается поздно.

Городской транспорт не ходит, но такси много, однако они не воспользовались такси. Любви можно предаваться в бесчисленном множестве гостиниц, но и туда они не пошли. В большинстве пары ведут себя скромно. Дрожат, как воробьи утром на карнизе. Боятся, что ли, укоризненных замечаний пожилых дам или лицемерных «добропорядочных» дядюшек.

На тротуары, стены, мусорные ящики спустилось холодное, как лезвие бритвы, утро. То там, то здесь появляются сутулые фигуры с поднятыми воротниками, молча бредущие по улице. Призраки ночи, призраки утра, как кошки, вылезают из щелей и дыр и куда-то исчезают. Вспомнилась строчка из популярной в прошлом песни «Пришло на Землю утро». Вошел в похожую на хибару закусную.

Две женщины, напоминающие манекенщиц, положив локти на грязный прилавок, прихлебывали чай и, тихо бормоча, занимались хиромантией. Слышалось: «А где холм Венеры, а где линия судьбы? А у меня линия раздваивается. А что это означает?» Тревожный голос с зевотой. «Значит, двойственный характер», — выдохнул другой голос.

Обе прилежно жевали жуку с папоротником, рис и запивали чаем. Заодно та, что говорила о двойственности характера, выпила снотворного. Съела жуку с папоротником, рис, выпила чай, сказала: «Сегодня жутко спать хочется», отодвинула чашки и палочки и прямо там улеглась. Хозяйка закусовой принесла плащ, женщина чуть приоткрыла щелочки глаз и пробормотала: «Спать хочу, хозяйка» и, красиво сложив ноги, уснула.

Проходил я всю ночь и не увидел ничего, кроме окаменевшего одиночества фугу. Ни неистовых ласк, ни развлечений

наркотиками, ни размахивающей кинжалами зеленой молодежи. Не видел и втирания табака в тыльную сторону руки против сонливости.

Видел только хороших людей, добросовестно отработавших день, не знающих, куда себя деть, и прячущихся здесь в ожидании рассвета, да еще скромных влюбленных.

С 11 сентября по 10 октября проходил «месячник усиления борьбы с нарушителями нравственности». «Государственный комитет общественного спокойствия» единогласно принял решение упразднить ночные кафе с целью обеспечения общественного спокойствия. Почему же он так же единогласно не ратует за полное искоренение таких поступков взрослых людей, как махинации в предвыборных кампаниях или злоупотребление служебным положением? Не только ночные кафе являются «источником зла» для юношества. Это все равно что пытаться очистить воды оросительных каналов, не очистив их источник.

## ПЛЫВУТ НОЧНЫЕ УБЕЖИЩА

Автомобили — передвижные потайные комнаты.

Используются разными способами. Это и приемные из стекла и металла, и кабинеты, и чайные, и место торговых переговоров, частенько — спальни, а иногда даже туалеты.

Но прежде всего это убежища. В них располагаются, как дома. С утра до вечера подгоняемые, работающие и живущие на людях жители этого сумасшедшего города, только сев в машину, наверстывают свое. Другого такого места нет. Здесь можно молча подумать, ненадолго забыться. Особенно ночью, когда никто не видит, здесь можно в мечтах побывать на седьмом небе. Можно улыбнуться своим воспоминаниям. Да. Герои последующих рассказов такие же люди, как вы.

Пошел я в столовую, где собираются таксисты — таких вокруг сколько угодно, — и слушал их рассказы, рассказы забегающих на несколько минут людей. Их наблюдательность поразительна, память хранит множество удивительных случаев, нелепых, иногда ужасных. Слово читаешь вперемешку Сайкаку<sup>1</sup> и «Декамерон». Все они прекрасные рассказчики, я слушал открыв рот и время от времени восклицал: «Неужели правда? Не может быть!» Но они только добродушно посмеивались над моей наивностью и неосведомленностью и повторяли, что нынешний Токио именно таков. На этой земле бывает, что и отрезанная нога влетает в окно трамвая и сбивает пассажиров. Все возможно. Всякое случается. Здравый смысл не всегда годится. Но удивление вызывает ощущение какого-то странного и своеобразного каменного века.

---

<sup>1</sup> Ихара Сайкаку (1642—1693) — классик японской литературы, мастер короткой новеллы.

Послушайте эти рассказы.

Однажды ночью около Синономэбаси села девушка лет двадцати двух. Одета хорошо, села, красиво закинув ногу на ногу, спокойно положила на колени маленькие руки. Спросил куда ехать, ответила спокойным голосом: «Я сейчас наложу на себя руки». Несколько раз переспросил, ничего другого не говорит. Ровно и спокойно повторяет, что сейчас умрет. Серьезно так. Ну, раз хотите умереть, говорю, то ехать надо к истокам реки Сумидагава. Там вода чистая. Девушка сложила руки на коленях, наклонила голову, говорит, ну давайте поедем туда. На душе муторно сделалось, погнал машину, да и остановился около полицейского участка. Вышел полицейский, девушка спокойно и без возражений вышла из машины. Полицейскому сказала то же самое. На следующий день поехал из любопытства в полицию спросить — они выяснили, откуда она, и родители ее забрали. Оказывается, душевнобольная, сбежала из дому и бродила по городу.

В Карасумори, в районе Симбаси, взял пассажира, отвез на экскурсию в Хатиодзи, оттуда возвращаюсь по шоссе Косю, попал под ужасный ливень. Такой ливень, словно по дну реки едешь. Дворники сколько ни бегают, едва разгоняют пенные потоки. Пришлось скорость убавить, еду не спеша, вдруг вижу — посреди дороги лежит ничком женщина. Так под дождем и лежит, вытянув руки. Хотел было проехать, но ночь, других машин нет, остановился. Дождь такой, что ни глаз, ни рта не открыть, кое-как втащил женщину на сиденье рядом с шоферским. Женщина насквозь промокла, совсем обессилела, пробормотала только: «Отвезите в Токио» и закрыла глаза. Когда показались огни Синдзюку, до сих пор молчавшая и как будто спавшая женщина вдруг открыла глаза и приободрилась. Потом сказала, что раз уж так поздно, то ничего не поделаешь, отвезите в какую-нибудь гостиницу. Отвез ее в один известный мне отель в Сэндагай. Вошли в номер... она сразу прильнула ко мне... Мол, отблагодарить хочет. До утра спать не давала. Наконец уснул. Проснулся часов в одиннадцать — женщины и след простыл. Только на ковре пятна от дождевой воды. Вскочил с кровати, подбежал к креслу, где висел пиджак, — в кармане ни копейки.

В Икэбукуро сел пассажир, сказал, едет на велогонки в Горакуэн. Мужчина лет пятидесяти, в поношенной охотничьей шапочке, в ботинках на резиновом ходу. Похож на бригадира плотников или землекопов. Сказал, едет на велодром Горакуэн поиграть. По пути болтали о том, о сем, потом пассажир вдруг говорит: «А вы не поиграли бы на гонках?» Ответил, что можно бы, да времени нет. А если было бы время? Да если бы и было, надо же работать, зарабатывать. А если бы было и время и деньги? Ну, тогда бы, наверное, поиграл. Пассажир достает из кармана кожаной куртки пачку денег и сует в руки таксисту. Здесь 50 тысяч иен. Выигрывайте, проигрывайте, но используйте все до копейки. Выиграете — заберите себе, проиграете — ну



что ж. Только ставьте все до копейки. Короче, за 50 тысяч я вас покупаю на час-два.

Приехали в Горакуэн, таксист с 50 тысячами пошел в зал тотализатора, а пассажир — в закусочную. Таксист впервые играл на гонках, а потому 50 тысяч иен спустил быстро. Вернулся в закусочную, где пассажир, сидя на скамеечке, пил саке Извинился, что, мол, проиграл, тут пассажир рассердился — нечего извиняться, я и не говорил, чтобы вы выигрывали, возвращайтесь к своей работе. И пошел таксист через мусор, пыль и дым закусочной к своей машине. Так и расстались, не узнав ни имени, ни возраста, ни работы, ни места жительства. Понял только, что не очень богатый человек этот пассажир, потому что из стакана пахло низкосортной сивухой. Вечером вернулся в контору, ругали, что выручка за день мала. Пытался обьяснить, что такой вот пассажир попался, да разве поверят.

Однажды видел собаку. Идет, на шее узелок висит, словно ее за покупками посылали. В этом месте у вокзала есть переезд и виадук. Служащие с работы возвращаются, хозяйки на рынок идут, народу очень много. Обычная вечерняя толчея. Люди и по дороге идут, и перед машинами шныряют, и на красный свет бегут. И среди толчеи — эта собака. Подошла к переезду, как раз шлагбаум опускается. Собака, задрав голову, смотрит, как он опускается. Могла бы пробежать, если бы захотела, но, видно, хорошо сигналы знает, не сделала этого. Повернулась и неторопливо пошла среди спящих людских ног к виадуку, стала подниматься по ступенькам.

На Гинзе много встречается людей с обманчивой внешностью, вот и этот один из них. Вечером посадил в Юракуте какого-то джентльмена, повез в трущобы Коива. Джентльмен ушел в один из этих ужасных длинных барачков, который, казалось, вот-вот развалится. Сказал, что скоро вернется и чтобы я ждал, выключив и фары, и подфарники, короче, весь свет. Выключил, жду. Джентльмен вышел с семьей. Жена и двое детей. Сказал ехать в Уэно. Жена все всхлипывала в машине, на его обращения не отвечала. Дети одеты, как на пикник, на плече висит фляжка, один тут же уснул. Другой все время смеялся, когда проходили встречные машины. Джентльмен сказал, что они сбегают от домовладельца, поэтому он и просил выключить свет, чтобы хозяин не заметил. Я сказал, что сейчас в Уэно ни поездов, ни электричек, наверное, уже нет, он ответил, что подождут в зале ожидания до утра. А потом? Потом? Ну, сядем хотя бы на линию Яматэ. Да. Там за 30 иен можно сколько хочешь ездить. Приехали в Уэно, джентльмен взял детей за руки и вместе с плачущей женой скрылся в здании вокзала, похожем на вымершую пещеру. За такси расплатился точно. Последний жест порядочности, наверное. Таксист все удивлялся, почему люди, скрывающиеся ночью в том, что лишь на себе одето, едут на такси.

Ночью на вокзалах Токио и Уэно встречаются мальчишки и

девчонки, сбежавшие из дома, есть и сволочи, охотящиеся за ними. Завлекают их уговорами. Около Яэ ждут грузовики и легковые машины. Мальчишек увозят на грузовиках, девочек — на легковых. И они исчезают. Часто видел этих бандитов, даже в лицо некоторых помню. Неужели они постоянно занимаются охотой на людей?

Это случилось с моим приятелем, однажды на экскурсии в Кумагая среди рисового поля ему сунули под нос длинный нож для разделки рыбы. Размышляя о доверии к людям, отдал деньги. Однако поблизости ни такси, ни городского транспорта, ни огоньков жилья. Парень стоит в растерянности. Ну, думает мой приятель, я тоже мужчина. Не требует вернуть деньги. Вам, наверное, в Токио? Один поедет, двое — расход бензина одинаковый. Садитесь. Парень развязно полез в машину. Потихоньку поехали назад той же дорогой, что приехали, у въезда в Токио — полицейский пост, приятель и подрулил к нему.

У одного таксиста уже несколько лет не сходит с шеи красный след от веревки. У другого все время красный правый глаз, даже когда и не пил. Наверное, последствия кровоизлияния, когда пассажиры душили.

В Накано села средних лет женщина, похожая на хозяйку хорошего дома, сказала отвезти в тихое, безлюдное место. Отвез в парк Сякудзин, там она такого потребовала, что я даже обомлел.

Жена попросила сходить в комиссионный магазин в Асакуса, встретил иностранца с двумя детьми. Дети говорили по-японски. Иностранец, похоже, сыновей не понимал, в затруднении усмехался и качал головой. Обувь и одежда поношенные, галстука нет. Стоит, как бы прятаясь в тень столба. И иностранцы бывают робкие, подумалось мне.

Нищие в парке Уэно собирают брошенные билеты тотализатора велогонок и, стоя под лучами солнца, проверяют каждый. Говорят, в месяц на этом зарабатывают 20—30 тысяч иен. Парусиновые сумки плотно набиты испачканными грязью билетами.

Во втором квартале Синдзюку сел пассажир, и, хотя была ночь, ехать ему, видимо, было некуда. Сказал ехать в парк Синдзюку-гёэн. Приехали в парк. Заставил везти дальше — в район кладбища Аояма, пересел «а место рядом. Потом вдруг придвинулся и заговорил жарким шепотом.

Возвращались в Сэйдзё через Сибуя.

Пассажир скрылся в воротах прекрасного дома с густой аллеей деревьев. Вдоль особняка плыл туман и свежий успокаивающий аромат. Среди денег, уплаченных пассажиром, сверх платы аккуратно вложена купюра в 5 тысяч иен. Пассажир, выходя из машины, смущенно шепнул: «... я жертва войны» — и, не оглядываясь, зашагал по аллее и скрылся в воротах.

## УДИВИТЕЛЬНА СТАНЦИЯ УЭНО. УДИВИТЕЛЬНА И ЗАГАДОЧНА.

Туалеты.

Вокзал построен тридцать с лишним лет назад, и их совершенно не хватает.

Уборка делается постоянно, но люди идут нескончаемой вереницей, и толку от нее нет. Злятся уборщицы, злятся пассажиры. Пассажиры ломятся в разгар уборки, им говорят, здесь уборка, не можете потерпеть, идите в женский рядом, многих это доводит до белого каления.

Чтобы не писали, стены покрыты блестящим кафелем, двери с внутренней стороны — блестящей нержавеющей. Думали, что уж это-то будет не по зубам, но появились шутники-граверы с гвоздями. Правда, работать стало труднее, чем по деревянному покрытию, рисунки и надписи пошли на убыль. А вот мелкое воровство не уменьшается. Очищенные от денег дамские сумочки, кошельки, причем сработанные где-то из прекрасной крокодиловой и змеиной кожи, безжалостно вколачивают в унитазы и уходят. Не две или три в месяц, а по десять-двадцать штук.

Это гораздо хуже, чем мусор и ругань. С упрямым постоянством система выходит из строя. Забывается. Хорошо, если удастся вытащить шестом или крюком, но когда забьется на изгибе, глубоко, ничего невозможно сделать. Приходится лезть прямо рукой и тащить изо всех сил. И только подумаешь, что вот наконец исправил, как кто-то снова вколотит сюда плоды чьего-то труда. Бесконечная тяжкая работа.

Еще одна беда в том, что многие пассажиры освобождают кишечник в поездах, стоящих на стоянке. Все падает на шпалы и полотно, в жаркие летние дни это просто нестерпимо. А причина в том, что на вокзале не хватает туалетов. Начальник вокзала заметил, что мечта его жизни — сделать полотно бетонным и мыть его из шланга.

Надо серьезно продумать возможность измерения современного уровня жизни в Японии по величине отходов. Мы ведь кричим: «Большой рост, большой рост!», а растут-то только высота зданий, цены да количество отходов.

Когда терпение лопнуло, показали все это представителю властей, тот величественно кивнул, сказал: «Плохо» и ушел.

Бюро находок.

В дождливый день здесь теряют от 60 до 90 зонтиков. Возвращаются, чтобы забрать, меньше десятка, остальные так и валяются. В дождливую погоду забывают зонтики, но и другим вещам несть числа. Вставные челюсти. Очки. Галстуки. Кошельки. Пиджаки. Авторучки. Перчатки. Кольца. Ручная кладь. Книги. Словом, забывают все, кроме того, что намертво прикреплено к телу, да обуви, которая в данный момент на ногах. Денег и то за год оставляют 15 миллионов иен.

Фотоаппараты. Часы. Транзисторные радиоприемники. В одном только Хигаси Тэкан за год оставляют вещей и денег на сумму в несколько сот миллионов иен. Сумасшедшая забывчивость в головах этих столичных жителей...

Мне показали шкафы; там среди плотно набитых сумочек, свертков, пакетов с едой и прочего оказались 2 книги. Из любопытства взглянул на заглавия, оказались «Без желания не быть» Исикава Тацуми и «Божественный ветер» Хараси Ториhiro.

Туристические бюро.

Ежедневно 7—9 тысяч человек обращаются сюда за советом по организации путешествий, особенно много обращений в пятницу и субботу. В основном это короткие поездки на 1—2 дня. Некоторые никаких планов не имеют, просто спрашивают: «А куда бы мне поехать?» И служащие должны терпеливо, с улыбкой обслужить и таких блуждающих атомов.

В последнее время этот процесс стал проще, потому что еженедельники публикуют подробные статьи о том, как спланировать поездку, и люди, как правило, заранее принимают решения. С мужчинами говорить легче, а вот женщины чересчур подробно расспрашивают — а как это, а как то. То же и с парами в свадебных путешествиях: мужчина стоит злится, а женщина без конца выясняет и выясняет подробности.

Некоторые положат сумочку на стойку и елозят ею перед глазами туда-сюда, туда-сюда. Клиенты-то увлечены своими мыслями о поездке и ничего не замечают. Так и хочется сказать, чтобы прижимали сумочки к груди, когда спрашивают.

Пункт помощи.

Благотворительное общество открыло пункт Скорой помощи.

Заглянем в карточки. Многим оказывается помощь — переломы, вывихи, боли в желудке, переутомление, похмелье. Тяжелых больных отвозят в больницу неподалеку. Имеются и опасные случаи: когда на вокзале начинаются схватки, попадают сюда, отсюда — в больницу и через 5 минут рожают.

Но кроме больных, в эту подвальную комнатку с голыми бетонными стенами, освещенными мертвенно-бледным неоновым светом, приходят заблудшие. Школьники, отставшие от экскурсий. Заблудившиеся младшеклассники. Множество сбежавших из дому мальчишек и девчонок. Безработные шахтеры, приехавшие в Токио без гроша в кармане. Бродяги. Старики. Некоторые говорят на диалектах Аомори и Кагосима, не сразу и поймешь. Мать, сбежавшая из дома в Йокогаме, с двумя детьми — четырех и шести лет. Парень, клянчивший денег на проезд, полиция проверила его вещи, портфель оказался с двойным дном, и оттуда посыпались ужасные предметы.

Приходит мужчина. Говорит, отняли машину. Не может вернуться домой. Записали имя, адрес, возраст. Послали в дешевую гостиницу около вокзала. Звонят по записанному месту

работы. Оказывается, водитель такси из Тиба, сбежал на одной из всего-то двух машин этой фирмы. Срочно пошли вместе с полицией, мужчина как ни в чем не бывало смотрит в номере телевизор.

Бедным заблудшим душам благотворительное общество дает немного денег, покупает билет, чтобы вернуться в родные места, устраивает на ночлег, дает медицинские советы, иногда даже улаживает семейные ссоры.

От переутомления у служащих ввалились глаза.

Полицейский пост.

За год — почти 7000 сбежавших из дому.

И число не уменьшается.

Возраст снижается.

В Ояма есть пятнадцатилетняя уличная девка.

Каждый год в апреле с разных концов начинают съезжаться в Токио группы юношей и девушек в поисках работы, рассыпаются по всем концам столицы; проходит месяц, и они, подавленные ностальгией, пошатываясь, приползают на вокзал. Собираются и охотящиеся за ними гиены. Их называют пукэя, футэнья — это молодчики, что сладкими речами заманивают девушек в кафе и бары, потом тащат в дешевенькую гостиницу.

Сюхайси — это банды, охотящиеся на людей по заказам разных строительных контор; эти как возьмут след, так, словно охотничьи псы, преследуют нагло и неотступно. И попадают на обман не только юноши и девушки, снедаемые весенней ностальгией, но и фермеры, приехавшие на зимние заработки из Хатиноэ и Аомори. Бывает, от сюхайси некоторые прячутся даже в туалетах, так они и там неотступно стоят под дверью и ждут, переминаясь с ноги на ногу.

Одну девушку, сбежавшую из дома в Ямагата, три дня не могли вернуть, она снова и снова приезжала. А вот бредет маленькая девочка, остановили, спросили — четвероклассница, приехала из Ибараки, потому что не нравится спартакиада в школе. И куда же ты идешь? К старшей сестре в Токио. А где же дом сестры? А нужно выйти с вокзала Уэно, пойти прямо, там будет дом с собаками, а рядом — дом сестры.

На грязных стенах поста, похожего на спичечную коробку, висит цветная бумага. На ней служащие пишут разные высказывания. Не решаюсь сказать, что красиво, но очень аккуратно выводят иероглиф за иероглифом.

Юноша, не будь одинок!  
Будь стоек зимой,  
Живи, цвети,  
Как цветы сакуры.

Разговорился с одним молодым полицейским, он с негодованием клянет грязь Токио, бранит людей, терпящих эту грязь и мирящихся с ней — мол, во всем виновато руководство. Еще

сказал, что вот уже десять лет тайком изучает религию, что просто критиковать — бесполезно, надо что-то делать. Что если смотреть на жизнь мужчин и женщин, какой она здесь видится, так это просто самцы и самки.

Вот недавно приехала одна женщина с Хоккайдо, замужем пятнадцать лет, дети есть, а сошлась с молодым здесь неподалеку. Шептала здесь в участке, что, мол, муж лесник, все время в разъездах, грустно было, вот так и случилось.

Вот и говорит полицейский, что плохо, когда такая женщина, в старшие сестры или матери мне годится, а говорит, понурился, такие вещи.

— ... пыльный этот вокзал. Говорят, тому, кто здесь работает, нужно волосы в носу отращивать. Но что же, и это надо знать, — сказал напоследок полицейский в ответ на мое молчание.

Подземные переходы.

Собралась группа бродяг, спят хором. И не только здесь — по всему вокзалу Уэно та же картина. И всплывают в памяти давно ушедшие слова, и видишь, как на стенах в переходах, на полу, в нишах, в мерцающем неоновом свете — повсюду затаилось, расплзлось бледными пятнами застойное, еще со времен войны, запустение. Откуда? Почему?

Кабинет начальника вокзала.

Странные иногда здесь случаются вещи.

Приходит мужчина средних лет, на груди помятого пиджака нацеплены знаки различия генерала старой имперской армии, бесцеремонно говорит:

— Ты начальник вокзала?

— Мм... да, я.

Мужчина величественно замер и говорит:

— Я — Ямасита Тюдзи, решено, что я женюсь на ее высочестве Титибумия. Не сыграете ли вы роль свата?

Начальник вокзала растерянно говорит:

— Хм, почту за честь, — потом встает, обходит свой стол, подходит вплотную к военному и начинает всем телом подталкивать его к двери. Военный пытается что-то сказать, начальник вокзала только повторяет: — Хм, х м, — и постепенно продолжает теснить.

Или врывается человек и кричит, что в Гансинкай выпустили фальшивых денег на 120 миллионов иен.

Или входит мужчина — как раз в тот момент, когда премьер-министр Икэда во время поездки в Аомори проводил пресс-конференцию в кабинете начальника вокзала, и бесцеремонно восклицает: «О, Икэда, привет!»

Удивительна станция Уэно.

Удивительна и загадочна.

## УШЛИ В ПРОШЛОЕ ПОЮЩИЕ ОРАТОРЫ

В самых дальних уголках памяти живет балаганчик «Отведи душу» — одно из заведений на ярмарках, которые проводились в Осаке во время храмовых праздников. Лавки с золотыми рыбками, тиры, цветочные и кондитерские магазинчики ослепительно сияли, шумели, в них кипела жизнь. Одно лишь это заведение было погружено в забытие — ни света, ни голосов, ни запаха, ни цвета. Внутри оно было усыпано осколками тарелок из дешевого фарфора. Заплатив мелочь, посетитель входил в темную тесную комнатку, отгороженную от улицы занавесом. Ему давали несколько простых тарелок, он швырял их по одной оземь и удалялся восвояси.

Говорят, что в токийском районе Асакуса была такая же лавка, торговавшая ничем. Когда я вспоминаю старые храмовые праздники, меня охватывает щемящая грусть, она обволакивает, как запах ацетиленовых ламп, смешанный с весельем и мишурным блеском.

В детстве сердце мое трепетало, когда я слышал голос уличного певца, который, стоя на обочине, играл на скрипке и дребезжащим голосом выводил: «Деньги-денежки». Лицо его, опаленное солнцем и сакэ, иссушилось и стало коричневым, как оберточная бумага. Потрепанные хаори<sup>1</sup> и хакама<sup>2</sup>. Худые руки касались инструмента, звучала песня «Деньги-денежки, правите вы миром». Она насмеялась над прохожими, льстила им, угрожала и взывала с мольбой.

Шутовская мелодия напоминала куплеты-пародии на буддийские песнопения. Песенка валяла дурака, но в ней было что-то неуловимо-тревожное. На меня наводили ужас волшебные истории, которые рассказывал дед о водяном Каватаро, что летом прячется в уборной и костлявой рукой шлепает детей по попке. А вот уличного певца я не боялся.

Пытаясь установить, какую песню исполнял музыкант из моего детства, я занялся изучением истории уличных певцов. В книге «История песни периодов Мэйдзи и Тайсё<sup>3</sup>» Ямити Сээды я прочитал, что песни о деньгах существовали в обоих периодах.

Я слышал песню в детстве, году в 1935-м, так что она была, пожалуй, сочинена в период Тайсё. Слова ее ошеломляют.

Деньги-денежки,  
Деньги-денежки,  
Деньги-денежки, всему виною вы.  
Подкидыши, побег влюбленных,

<sup>1</sup> Хаори — накидка японского покроя, принадлежность парадного выходного мужского и женского костюма.

<sup>2</sup> Хакама — часть японского официального костюма, у мужчин в виде широких шаровар.

<sup>3</sup> Период Тайсё — 1912—1926 гг.

Обман, убийство,  
Самоубийство в одиночку  
И разом всей семьей.  
Безумие, поджог,  
Грабеж, несчастный муж под каблуком,  
И жадность, и разбой,  
И нищеты смиренность.  
Деньги-денежки, всему виною вы.  
Деньги-денежки, правите вы миром.

Эта песня злободневна и в наше время. Подкидыши, побеги влюбленных, обман, убийства, самоубийства в одиночку и разом всей семьей, безумие, поджог — не просто слова из песни, а кусочки реальной жизни. Они разбросаны по всей громадной земле под древним солнцем, а мы как бы втиснуты в огромный мусорный ящик. Пока существует этот свет, слушайте, люди, песню.

Название «поющий оратор», которым в прошлом величали уличного певца, происходит, видимо, от понятия «произносить речь в форме песни». Оно родилось в среде молодых людей, которые с песней принимали участие в движении за свободу и народные права<sup>1</sup> В движении было много неразберихи, попыток реформ путем использования динамита, но, судя по песням тех далеких лет, оно в целом носило просветительский характер. Мысль о распространении идей через песню пришла в голову Тайскэ Итагаки<sup>2</sup> который, как предполагают, видел, что на улицах Парижа люди поют под аккордеон и продают памфлеты.

В Японии жанр «речи в песне» просуществовал в первозданном виде до 1900—1901 годов, а потом начался его стремительный упадок. В своей книге Ямити Соэда подробнейшим образом излагает процесс вырождения песни. Не пожалейте 150 иен, купите эту интересную книгу. Она откроет вам любопытную страницу отечественной истории.

В наши дни уличные певцы стали орудием в руках фирм грампластинок, которые используют их в качестве живой рекламы своей продукции. В репертуаре только модные песенки, поэтому в певцах ничего не осталось от традиций «поющих ораторов». В былые времена певец, находившийся в гуще общественной жизни, спел бы: «Бестолковое прогнившее собрание народа! Добродетели стертые с лица земли. Бумага прочнее человеческих чувств. Вереница дней, скандалы да вздорные слухи. Плохое не отличишь от хорошего». А сейчас пожилой человек вынужден кривляться и распевать чепуху вроде «Здравствуй, малыш, я твоя мама!». Абсурдное, ненормальное положение.

---

<sup>1</sup> Движение за свободу и народные права — движение в 70—80-х гг XIX века.

<sup>2</sup> Тайскэ Итагаки (1837—1919) — видный политический деятель.



ние. Допоздна певцы ходят с гитарой от бара к бару как простые бродячие музыканты.

В старые времена солидные торговцы с главной улицы почтительно называли певца учителем. Из стойких защитников страстной и гордой цитадели свободы певцы превратились в заурядных бродяг с инструментами и пали до того, что прислуживаются гангстерам, торговцам-жуликам и прочим проходимцам.

В наши дни трудно отличить профессионального гангстера от жулика, имеющего торговое дело. Есть торговцы-гангстеры и просто жулики, не связанные с бандами. Часто гангстеры орудуют заодно с торговцами, но существуют и мошенники в чистом виде, торгующие фальшивыми подделками (магазины на центральных улицах, дельцы из крупных универмагов). Они негодуют, когда их по недоразумению часто путают с головорезами.

Так же и с бродячими музыкантами. Одни находятся в услужении у мошенников-гангстеров, другие работают на чистых жуликов. Я побывал в конторе группы Ясуда в районе Синдзюку. Молодой парень-гитарист объяснил, что их босс считает себя гангстером, а остальные члены группы — музыканты, зарабатывающие на жизнь песней. Вскоре появился хозяин. На мой вопрос он ответил, что сам он действительно гангстер-профессионал, а все его ребята — артисты. Главари, лицом немного похोдивший на одного известного политического деятеля, оказался веселым человеком широкой натуры. На руке у него не доставало мизинца.

Так называемая «контора» находится в глубине переулка в хибарке с вывеской «Ансамбль «Голубое небо». У двери маленькая пианола марки «Ямаха» для разучивания мелодий и настройки инструментов. Потертая софа, груда рубашек, пиджаков, брюк, несколько гитар. На стене висит множество табличек с фамилиями. Они разделены на три группы. Уходящие на промысел музыканты переворачивают свою табличку лицом к стене. В рамке гравюра, изображающая покровителя балаганщиков и шарлатанов Синнодо. В отдельной рамке «Устав группы». В нем перечисляется, какую помощь обязаны оказывать все члены своим коллегам в случае женитьбы, похорон, праздников, указывается и сумма денежных взаимопожертвований.

В ансамбле «Голубое небо» есть молодые ребята, которые недавно объявились в Токио из провинции, есть и ветераны, занимающиеся музыкальным ремеслом без малого пятнадцать лет.

Я застал в конторе двух парней — один родом из Нагасаки, второй — из префектуры Сидзуока. Они сбежали из дому потому, что помешаны на гитарах и песнях, ничего другого знать не хотят. На жизнь они пожаловаться не могут, так как занимаются любимым делом. Противны только дождливые вечера, когда

приходится бродить по улицам в резиновых сапогах и под зонтом

Оказывается, для работы необходимо знать тысячу мелодий. Ветераны хранят в памяти три тысячи мелодий. Две песни стоят сотню иен. За вечер музыканты обходят от десяти до двадцати домов. Золотое время — с десяти до половины двенадцатого. На работу отправляются обычно после восьми. Идут, рассчитав время, когда у подгулявших душа просит песни. Днем некоторые снимаются в ролях жертв в фильмах о гангстерах на киностудии «Тозэй», другие подвизаются малярами. Иногда появляется шальной гость и приглашает на пирушку в Акасака. Только хороший клиент теперь редкость.

Вот что рассказал мне один из певцов с тринадцатилетним стажем

«Был со мной однажды случай, когда я вечером три часа кряду простоял под окном рестораника. Это зимой, да еще под мокрым снегом. Ничего отвратнее припомнить не могу. Те подлецы попивают себе, а я по их прихоти торчи на холоде. Правда, подали они тогда порядочно монет, но в тот вечер я готов был покончить с музыкой».

Тут появился босс без мизинца и на кансайском диалекте попросил моего собеседника угостить меня пивом и спеть что-нибудь веселенькое. Певец запел «Гангстеры, настал ваш час». Его пронзительно-звонкий голос звучал чарующе и мощно, словно сокрушая стены хибарки и как бы принося мне извинения за непритязательность песни.

Говорят, что только в Токио около тысячи бродячих музыкантов. Больше всего их в районе развлечений Синдзюку — около трехсот человек, включая музыкантов, играющих на сямисэне. Одних контор там три или четыре. Они точная копия той, о которой я уже рассказывал. Среди музыкантов Синдзюку есть такие же, как и в «Голубом небе», но поговаривают о музыкантах-гангстерах, связанных с бандами. Не знаю, случая проверить слухи не подвернулось.

Музыкант должен помнить тысячу мелодий, а для того, чтобы прокормиться в Токио, помимо модных песенок, джазовых мелодий и музыки из кинофильмов, нужно знать школьные песни довоенных лет, гимны шести главных токийских университетов. В последние годы подвыпившие клиенты стали заказывать и рекламные песенки, поэтому музыкантам надо постоянно пополнять репертуар.

Многие певцы носят с собой шпаргалки — потертые блокноты, в которых убористо написаны слова песен и есть оглавление. Я остановил одного из них:

— Это у вас шпаргалка на всякий случай?

— Нет. Песенник для клиентов, они ведь слов не помнят, а вместе приятнее петь.

В Синдзюку встречаются самые разные уличные певцы. Я облюбовал себе тихий темноватый бар недалеко от улицы

Кабуки, но даже в это небойкое место за вечер непременно наведывается несколько групп музыкантов.

Некоторые работают парами. Поет, играя на аккордеоне или гитаре тот, кто постарше, а молодому доверяется взять несколько вступительных аккордов. Человек лет пятидесяти в войну прошел по всему Китаю и на передовой играл на аккордеоне раненым. Он популярен у стариков интеллигентов. Исполняет мелодии прошлых лет — «Под крышами Парижа», «Безумный Монте-Карло», «Вечер воришки», «Кружится в танце». Знатоки старых песен теряются, когда ему заказывают современные, например «Когда святые в рай идут» или «Подмосковные вечера».

Обитает неподалеку и единственный старик скрипач, играющий только старинные мелодии вроде «Унтер-ден-Линден» или «Дикой розы». Он — благородный ортодокс, самое современное в его репертуаре — произведения начала века. Годы уходят, но старик по-прежнему пьянеет от собственной музыки. Он в упоении играет сам себе, бормоча: «Темнота, невежество...»

В этом же районе работает старик по прозвищу Малыш Комацу. Он всегда появляется вместе с сумерками. Костюм его неизменен — хаори, хакама, соломенные сандалии. Скрипка в черном матерчатом чехле.

«Эй, сыграй!» — кричат ему, и музыкант суетливо кланяется и тихо касается струн. Исполняет довоенные и совсем старые мелодии. Его вполне можно назвать ходячим музеем музыки.

Визитная карточка музыканта гласит: «Исполнитель дорогих сердцу мелодий, сорок лет известный в искусстве под именем Комацу». Старик рассказал, что жена его умерла, дочь бросила. Теперь он один-одинешенек на свете, вот и бродит каждый вечер по Синдзюку в поисках пожилых любителей музыки. Прежде он знал хорошие времена, играл с известными токийскими музыкантами, жил в приличном доме.

Его коронные номера — «Берег в Иокогаме», «Мимо горячего острова», «Когда прервались японо-китайские переговоры», «Уйти или остаться», «Пьеса для маленького оркестра», «Щебет в небе пташка».

Мы продолжили разговор на втором этаже ресторанчика. Старик, придя в большое возбуждение, вытащил из чехла любимый инструмент и пробормотал:

— В старые времена люди были буйными, но очень душевными, а нынешние — равнодушные тихони. А теперь слушай!

Он начал играть лучшие свои мелодии.

Требуем социального обеспечения.

Гражданину, честно отдавшему голос на выборах,

Нужен хотя бы жизненный минимум,

Иначе он больше не будет голосовать.

— Дедушка, не надоел я своими разговорами?

— Нет, что ты, приятель. — Малыш Комацу смущенно улыбнулся. Он огляделся вокруг и пробормотал: — Жизнь наша тяжкая...

## ПЯТЬ ДНЕЙ В ПЕРВОКЛАССНОЙ БОЛЬНИЦЕ

27 июля. В 8.30 утра пришел журналист Нагаяма из газеты «Асахи» — для того чтобы запрятать меня в известную своим комфортом больницу в районе Акасака. Я должен под чужим именем лечь в профилактическое отделение, называемое «человеческим доком», и выведать все про это учреждение. Отказываться поздно, главный редактор настаивает. Я чувствую себя совершенно здоровым с головы до ног, но из меня замыслили сделать подопытного кролика.

Однажды поздно вечером в баре в Синдзюку я встретил изрядно выпившего главного редактора. Он всегда придерживался принципа «пятьдесят на пятьдесят», будучи убежден, что такая пропорция алкоголя и воды благотворна для здоровья. По его мнению, человеческий разум с точки зрения химии состоит из летучего газа, поэтому он находится в голове, в связи с чем чувствительность остальных частей тела сильно снижена. Несбалансированность особенно усиливается под действием алкоголя. Следовательно, если спиртное запивать водой, а воду спиртным, то рассудок, впитывая влагу, тяжелеет и опускается вниз — наступает гармония духа и тела. Никаких отклонений от нормы. Выпивая по этому рецепту, человек ни к кому не пристаёт, не бранится, а поутру не мучается с похмелья. Такова теория главного редактора. Сам он никогда не хмелеет. Его слова, мерно падающие с уст, всегда рассудительны, но от них тянет сырым холодом.

— В последнее время больницы высшего разряда превратились в нечто среднее между лечебным заведением и гостиницей. Здоровый тоже может попасть туда. Хочешь попробовать?

— В каком смысле?

— Только и делов — несколько дней не вставать с постели. Будешь себе полеживать, наострив глаза и уши. И запишешь увиденное и услышанное. Идет?

— Пожалуй.

— Заодно и отдохнешь, ведь целый год работаешь без передышки. Это тебе вместо премии. Ну как? Соглашайся!

— Стало быть, только лежать?

— Ну конечно.

— Ладно.

Я позвонил в больницу и договорился о месте в «доке». Палата стоила 8 тысяч иен, обслуживание 5 тысяч, итого ежедневно 13 тысяч иен.

Я захохотал и спросил, нет ли палаты подороже. «Есть по 15 тысяч, но они заняты», — отрезали в ответ. Подумали, видно, с завистью, что некоторым деньги девать некуда.

Прибыл в больницу. Приемное отделение не отличить от холла гостиницы. Ни запаха карболки, ни полутьмы, ни захватанных стен, ни изнуренных недугом пациентов. Не то, что в обычной больнице, где становится не по себе уже на пороге приемного покоя. На стене картина Юкихики Ясуда<sup>1</sup>, у колонны бронзовая статуя обнаженной работы Хироацу Таката<sup>2</sup>. С первого взгляда ясно, что все поставлено на широкую ногу.

Устраиваюсь в палате первого разряда. Есть еще отделение люкс по 20 тысяч в день, но оно временно закрыто, поскольку нет желающих. К палате примыкает гостиная. В моем номере холодильник, телевизор, радиоприемник, ванная, умывальник, туалет. Прекрасная палата, вызывающая одно восхищение. К столу приделан регулятор кондиционера, с его помощью можно выбрать степень охлаждения воздуха. В Токио случаются перебои с водой, а здесь, интересно? Открываю кран в умывальнике — с шумом хлынула упругая струя. Горячая и холодная вода лилась без остановки. Да, как и подобает такому месту, подумал я.

Появились врач и медсестра с ясно-бесстрастными глазами. Уложили меня на кровать, перетянули руку резиновым жгутом, измерили кровяное давление. Всадив в вену толстую, устрашающего вида иглу, взяли много крови. Мне очень неприятны уколы, я кричал, отбивался, но пощады не было. Потом затащили в туалет и под мои вопли собрали мочу и кал на анализ. Опять приказали лечь на кровать для обследования двенадцатиперстной кишки. Вставили в горло резиновую трубку длиной в 60 сантиметров и заставили глотать ее. Текли слезы, катил горячий пот, рот стал липким от слюны и желчи. Я давился, орал, взывал к милосердию, изнемогал от страданий, а врач и медсестра произносили слова сочувствия, но глаза их оставались неподвижными.

В агонии, в потоках слез я ощутил удивительный миг победы над собой, и трубка скользнула внутрь. Благодаря этой экзекуции я осознал, что самообладание — одна из разновидностей мазохизма.

С проглоченной трубкой меня повели с третьего этажа на первый в рентгенкабинет. Долго тискали живот, наконец трубка попала в двенадцатиперстную кишку. Вернулся в палату, наполнил сернокислой магнезией, горьким отвратительным питьем, от которого меня тут же вывернуло наизнанку. Из резиновой трубки потекло что-то желтое, потом мутно-белое. Медсестра с той же бесстрастностью в глазах наполняла этой

---

<sup>1</sup> Юкихики Ясуда (род. в 1884 г.) — известный художник, член Японской Академии художеств.

<sup>2</sup> Хироацу Таката (род. в 1900 г.) — скульптор, ученик Родена.

жидкостью одну пробирку за другой. Силы оставили меня. Да, это настоящая больница. Как бы всерьез не заболеть. Я проклинал главного редактора, ругал себя за легкомыслие.

Вечером я опрометью бросился на Гинзу и крепко выпил. Сначала сакэ, потом виски и джин. Женщину, что ли, найти, во мне ведь ни одного изъяна, вопила моя душа. В одиннадцать вернулся в больницу.

28 июля. Еще раз взяли кровь, сказали: для определения группы и подсчета кровяных шариков. Поранили ухо. Собрали мочу для анализа на сахар. Гоняли по лестнице с третьего этажа на первый и обратно, говорят, что необходимо для снятия кардиограммы.

Вечером поспешил на Гинзу. В одиннадцать вернулся в больницу.

29 июля. Сказали, что исследуют обмен веществ и работу легких. Заставили зажать зубами резиновый мундштук, прикрепленный к трубке, и глубоко дышать. Сделали рентген грудной клетки. Нашли следы плеврита, я обомлел от страха. Я не чувствовал никаких симптомов болезни, но, как только сообщили результаты обследования, сразу же ощутил недомогание. Ничего, ничего, все в полном порядке, уговаривал я себя, но силы мои таяли. Право слово, горе от ума. В чем счастье человека — в знании или неведении? Попал в больницу и сразу превратился в калеку. Терплю издевательства, поэтому и захворал.

Во второй половине дня мне позвонила Савако Ариёси<sup>1</sup>. Она перенесла операцию по поводу опухоли в кишечнике и находится в палате № 606. Не знает, куда деться от скуки. Рокочущим голосом порассказала всякое об этой больнице. В отличие от других лечебных заведений здесь не принята система прикрепления к врачу. По желанию пациента можно приглашать врача со стороны. По словам Ариёси, здесь нужно легко относиться к своему положению. Богачи скрываются в этой больнице, ведь сейчас в период депрессии это обходится дешевле поездки на летний отдых. Назвала меня дураком за то, что я не знаю таких элементарных вещей. Артисты, деятели культуры, политические боссы, финансовые воротилы укрываются от мирской суеты не в гостиницах, а в этой самой больнице.

Она сама каждый год ложится сюда, чтобы спокойно поработать. Я посетовал на баснословную дороговизну больницы, но Ариёси ответила, что роды здесь стоят миллион иен. В ее словах было много непонятного для меня.

— А ты что здесь делаешь? — наконец поинтересовалась она.

— Жую резиновую трубку. Довели до полусмерти, вздумали исследовать совершенно здоровый желудок.

---

<sup>1</sup> Савако Ариёси (род. в 1931 г.) — автор популярных повестей и романов.

— Не болтай ерунды. Лечение в твоём отделении — просто игра по сравнению с тем, что творится в обычных больницах. Разве не знаешь?

В одной из больниц женщине ввели в прямую кишку барий. Врач сделал рентген, потом велел ей прямо в кабинете извергнуть половину бария. Пациентка смутилась от столь бесцеремонного распоряжения, а врач сказал, что в туалете ей делать нечего, достаточно просто присесть на корточки, и кусок бария выскочит. Потом у нее проверяли легкие. Повесили на спину кислородный баллон и в одном нижнем белье гоняли по лестнице. Потом для проверки кишечника накачали воздухом из баллона через задний проход. Живот надулся, как воздушный шарик, а врач говорит: «Процедура длится семь минут, потерпите, пожалуйста». Больная мается, проходит положенное время, а врач и бровью не ведеет. «Не могу больше!» — кричит в отчаянии пациентка, которой уже белый свет не мил, а врач с улыбкой отзывается: «Извините, забыл вытащить пробку».

Книга «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта — шедевр неумного сумасбродства. В третьей части рассказывает о том, как Гулливер посетил академию наук. Свифт бранит ученых дураков точно так, как Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле». Он рассказывает о великом докторе, который все болезни лечил одним инструментом. О нем шла молва как о непревзойденном мастере своего дела. Инструмент представлял собой мехи с узким длинным наконечником из слоновой кости. Если эту трубку вставить в прямую кишку дюймов на восемь и мехами откачать воздух, то желудок пациента сожмется, как пересохший мочевого пузырь. В случае тяжелой запущенной болезни доктор накачивал пациента через рот. При этом, разумеется, он большим пальцем зажимал больному задний проход. Процедура повторялась три-четыре раза. Воздух сквозняком проносился по организму, изгоняя из него вредные вещества. Пациенты восторгались чудодейственным излечением.

30 июля. Та же резиновая трубка. Говорят, что на этот раз для обследования желудка. В один прием с ней не справишься. Конвульсии. Слезы. Сопли. Слюна. Желчь. В трубку вливают пузырек голубой воды. Затем каждые полчаса откачивают из нее жидкость. Объясняют, что исследуют процесс всасывания в желудке. Процедура заканчивается, заставляют проглотить большую чашку бария. Глиняная каша отвратительна, хотя и пахнет апельсиновым соком. В полумраке рентгенкабинета меня крутят в разные стороны. С облегчением узнаю, что природа уложила мне кишки в брюшине не хуже, чем у людей.

Вечером зашел врач. Объявил, что завтра последний день моего пребывания в больнице. Намечено исследование первой и второй шлаковыводящих систем. Посмотрят, как обстоят дела с отверстиями сзади и спереди. Я впал в ярость.

— С этим у меня все в порядке, и от обследования я

категорически отказываюсь. Во-первых, эти места не должно демонстрировать первому встречному. Во-вторых, неужели человек не имеет права хотя бы на одну тайну в своем организме? Будете настаивать, сейчас же уйду.

Растерялся я, что ли, совсем? Врач рыбьими глазами наблюдал за моей истерикой. Улыбнулся, вроде как с сочувствием, и вышел из палаты.

Около девяти вечера я бросился на Гинзу.

*31 июля. Два жутких укола.* Каждый тридцать минут проводят исследование мочи. Настродался так, что в завтрак и обед съел по две порции. Вчерашний барий гроыхает во второй шлаковыводящей системе. В неопикуемых муках освобождаюсь от него — выскакивает превосходная штука по цвету и форме неотличимая от сосисок, какие я ел в Мюнхене. Вторая система повреждена, капает кровь.

После обеда меня навесил журналист Нагаяма. Он любит французские песни, но ни одной не знает. Пришлось писать по-французски. Начали с «Праздника в Париже».

Мы громко распевали дуэтом, когда медсестра пригласила меня к главврачу узнать диагноз. В его кабинете я выслушал множество заключений о состоянии своего здоровья и предостережения. Туберкулез легких. Гастрит. Астеническое состояние. Упадок функции желчеотделения. Ослабленная печень от злоупотребления жирной пищей. Признаки хронического расстройства желудка. Виски рекомендуется потреблять только в разбавленном виде.

Покидаю больницу умудренным, но с камнем на сердце. Счет на 65 280 иен оплатил Нагаяма, поэтому меня, к счастью, беспокоят только колики во второй шлаковыводящей системе. Желудок не болит.

Изящное железобетонное здание больницы снаружи походит на жилой дом. Фешенебельная гостиница была бы посрамлена при виде роскошных картин, украшающих каждую больничную палату. Рай, да и только, если, конечно, есть деньги.

В феврале этого года по заданию еженедельника «Асахи» я побывал в больнице для пострадавших на производстве. Она находится в районе Омори. С раннего утра коридоры битком забиты бедняками, не знающими уверенности в завтрашнем дне. Обстановка, как на корабле, терпящем крушение. Больница расположена в бараке, похожем на деревенскую конюшню. Холодный ветер с посвистом носится по коридору, крыша протекает. Дождевой червь, пожалуй, более сведущ в структуре японской экономики, чем я, но очевидно, что в этой стране между богатыми и бедными лежит глубокая пропасть. От рая до ада рукой подать.



## МЕРКНУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ОГНИ

Впав как-то в сентиментальное настроение, я решил побывать на храмовом празднике. Отправился в Сугамо в храм Тогэнуки Дзидзо, покровителя детей и путников, и храм Суйтэнгу, в честь бога воды. На днях я бродил по лавкам в переулках Гинзы, собирая материал для очерка «Хозяйки с Гинзы». Попалась мне лавчонка, где торговали сверчками. Я поразился, увидев дюжину маленьких насекомых, трепетные крылышки которых оживляли звуками удушливо-тяжелый вечер. «Природа» застигла меня врасплох. Я потерял дар речи оттого, что в Токио можно увидеть сверчка.

«В конце сезона они погружаются в прохладу забвения», — написал я высокопарную фразу, но, откровенно говоря, у меня было такое ощущение, будто по спине мурашки пробежали. Действительно, нет ничего величественнее печали, царящей в сверчковой лавке. Я совершенно забыл, что нахожусь в «торговом заведении». Утратив власть над собой, я разомлел от теплоты, которая излучалась из укромных уголков сердца того человека, который существовал за счет торговли сверчками.

Способны ли иностранцы понять радость японца, который покупает сверчка, чтобы насладиться его верещанием? Когда из Парижа на съемки документального фильма приехал молодой режиссер Жак Пьер (его имя настолько заурядно, что я прозвал его на японский лад Простак Таро<sup>1</sup>), я решил испытать его и повел по тем самым улочкам. Таро, блестя удивленными глазами, рассматривал толпу людей, заглядывал в лавки. «Прекрасно! О-ла-ла!» — приговаривал он. В цветочном магазине гость возгласами восторга привлек к себе всеобщее внимание, а вот лавочка со сверчками оставила его совершенно равнодушным. На корявом французском я твердил, что в моей стране с давних времен живет традиция наслаждаться пением насекомых. Белокурый Простак Таро только хлопал светлыми ресницами и кивал головой.

Со мной часто случается, что я расхожусь с людьми на почве «природы». Однажды я повел на репетицию господина Брайана Пауэра, приехавшего из Оксфорда для изучения современного японского театра. Играли «Новые привидения в Ёцуя» — пародию на пьесу Намбоку Цуруя<sup>2</sup>. В одной из сцен, когда герой у реки потрошит угря, для усиления звукового эффекта введено громкое кваканье лягушки.

— Что это? — спросил господин Пауэр.

— Лягушка.

---

<sup>1</sup> Персонаж японского фольклора, соответствует Иванушке-дурачку русских сказок.

<sup>2</sup> Намбоку Цуруя (1755—1829) — драматург, писавший для театра Кабуки.

— Она таким образом подает голос?

— Конечно.

— Впервые в жизни слышу.

— Неужели лягушки в Англии немые?

— Они всегда молчат, — отрубил Пауэр, и я очень удивился.

В Англии водятся и лягушки, и жабы, в английском языке есть слова для обозначения этих существ, а гость говорит, что не слыживал их кваканья. Через два с лишним десятилетия после рождения на свет он наконец узнал, что такое лягушачий концерт. Правдивое выражение его лица навело меня на мысль, что тамошние лягушки, наверно, в самом деле помалкивают.

После этого случая я решил внимательно изучить описания природы в английской литературе и выяснить, упоминается ли в ней лягушачье кваканье. Неужели для английских лягушек и любовь всего лишь пантомима? Видимо, Англия — страна столь безупречных правил, что и лягушки ведут себя там как истинные джентльмены.

В Токио становится все меньше храмовых праздников. От старых времен сохранилась какая-нибудь треть. Да и те, что выжили, не идут ни в какое сравнение со старинными. Канули в прошлое уличные сказители и певцы, бродячие актеры, заклинатели змей, торговцы маслом для камышовых свечей. Навсегда исчезли с уличных углов великие мастера ночи — мошенники всех мастей, которые славились своим лукавством и острым языком. Я встретился с Токутаро Баба, ведающим праздником в храме Тогэнуки Дзидзо. Рассказ его был невеселым

— Прошли времена змей и камышовых лучин. Теперь напраслину не продашь. Цветы, золотые рыбки идут, как в старину, а разные пустяки никто не берет. Кому нужно масло для камышовой свечки в век атомной бомбы и телевидения? Теперь храмовые праздники что товар в магазинах, их тоже скупают. Прибыль, как и в торговле, 20—25 процентов. Праздников вообще стало меньше, а для храмовых шествий в городе не хватает места, а у токийцев времени. У солидного бизнеса одна забота — честно продать хороший товар. Занятие, конечно, надежное, но души в нем нет.

Еще я узнал, что вследствие «модернизации» лебеди, обитавшие раньше в Сугамо, сначала потеряли голоса, а потом совсем исчезли. Видимо, «модернизация» — это здравый смысл, откровенность, практичность. Она гонит прочь великодушие, фантазию, выдумку.

Давным-давно в детстве я видел много удивительного на храмовых праздниках. В полутемном месте ставили ведро. Наливали в него черную воду и запускали целлулоидный кораблик. Он то двигался, то замирал. И сейчас есть кораблики, которые кружат, порхают, как жук-вертячка. Кораблик из детства двигался бесподобно. Он плывал, останавливался, капризно вращался, раскачивался. Выражаясь современно, источник его двигательной силы был необъясним. Вернее, источник

энергии не установлен, поэтому невозможно представить динамику.

Хозяин в обмен на мелкую монетку выдавал целлулоидный кораблик и кусочек бумаги, наказывая, что в листок можно заглянуть только дома. В нем была тайна. Дома я развернул бумажку и прочитал: «Рыба-вьюн». К вьюнку на нитке привязывали кораблик, а вода в ведре была черной, чтобы скрыть от глаз источник двигательной силы. Воду наверняка тушью подкрашивали. Я смеялся над простотой секрета. «Вот так штучка!» — с восторгом думал я, засыпая.

Теперь я вырос и стал современным человеком, который любит честность и ясность. Я в два счета могу разоблачить тайну источника энергии — вьюн в силу инстинкта непрерывно подпрыгивает к поверхности воды. Однако тогда в ведре кораблик танцевал, как бы прихрамывая. Вьюнок не делал резких движений. Может статься, что рыбки в ту пору были отсталыми и, не чинясь, по собственной прихоти распоряжались инстинктами. Конечно, иначе и быть не могло.

На празднике ни в одном из храмов нельзя увидеть лавок со змеями, камышовыми свечами, вьюнами в ведрах. Как и в старину, торгуют золотыми рыбками, растениями в горшках, цветами, рисовыми тянучками, сукияки<sup>1</sup>, сверчками, банками с искусственными цветами, плавающими в воде. Идет безмолвная торговля бананами. Покупателей не заывают, как на старинных ярмарках. Нашлась и лавка старьевщика, но хозяин не осыпает посетителей язвительными шуточками и озорной бранью. Лавки одинаково светлые, тихие и благопристойные. Я заглядывал в каждую в надежде отыскать какого-нибудь нарушителя благочинности. Их набралось трое — резчик, делающий именные таблички для дверей, торговец пузатыми статуэтками бога изобилия Хотэй и каллиграф, который писал кистью, засунутой в ноздрю.

Резчик молча орудовал инструментом. Вывеска на его мастерской гласила: «Именные таблички для дверей. Сюгоро Миги. Изготавливаю одним движением резца за пять минут». Мастер работал в угрюмом молчании. Удивительная сноровка, он действовал одной правой рукой.

Торговец богом изобилия продавал железные фигурки. Покупателей в лавке не было. Любопытно, на что он надеялся, берясь за такое дело в наше время? Похоже, он терпит убытки из-за самой необычности занятия. В лавку зашла старушка. Хозяин, обливаясь потом, обратился к ней на осакском диалекте.

— Прекрасная вещь, — бормотал он, постукивая по статуэтке бога, на лице которого навечно застыла пошлая улыбка злорадного отчаяния. — Не ломается. Сияет, как новенький. На всю жизнь хватит. Только вот полировать время от времени нужно.

<sup>1</sup> Сукияки — мясо, жаренное в сое с сахаром и приправами.

Хороший Хотэй-сан. Есть еще бог счастья Фукуродзю. Хотите бога сокровищ Бисямонтэн? А вот бог богатства Дайкоку. Нравится?

Мельком взглянув на старушку, хозяин понял, что она не собирается ничего покупать, и разолился.

— Нечего глазеть, коли не покупаешь. Боги портятся от этих взглядов. Хоть и железные, все равно портятся, когда на них попусту всякие смотрят. Иди, бабуся, своей дорогой.

Хозяин замолчал, надувшись, как обиженный ребенок.

Выражаясь выпендрено, против «модернизации» восстал каллиграф, приехавший в Токио из Нара. Кисть его путешествовала изо рта в ноздри, потом в уши. Он писал тремя кистями разом, привязав их ко лбу полотенцем, и при этом еще умудрялся разговаривать. В продаже у него были олени и белычьи кисти. Хозяин лавки — крепкий старик с лицом, высушенным солнцем и изборожденным морщинами. Говорит хрипловатым голосом. Любопытно его послушать.

— Я — единственный в своем роде из девяноста миллионов японцев. В последние годы дети вместо иероглифов малюют каких-то уродцев. А ведь иероглиф надобно писать сердцем. Его красиво может написать только тот, у кого ясная душа. С того дня, как Макартур отменил уроки каллиграфии, сердца японских детей огрубели. Теперь чистописание проходят в начальных классах. 45 минут в неделю, в год набирается всего два дня. Дважды четыре — восемь. Итого жалких восемь дней каллиграфии за четыре года начальной школы. А потом уж дети на кисть и не смотрят. Дергаются в твисте, влюбляются, заняты сплошной ерундой. Никуда не годится! Ничего путного из них не выйдет. Гибнет нация, если она забывает свою письменность. Японцы должны бережно относиться к иероглифам. Рисуя чистым сердцем красивые иероглифы, мы сможем создать мирную Японию. Послушайте мой совет. Выбирайте! Кисти из оленьих волосков, а эти из белычьих. 600 и 200 иен. На любой вкус — и тонкие, и толстые. Продаю дешево, всего 200 иен. Берегите иероглифы, спасайте нацию от упадка. Иначе пропадем. Рухнет, пойдет прахом народ. Как мне не беспокоиться? Ну как вам этот иероглиф? Прекрасен, ничего не скажешь. А если вот так написать, что получится? Выходит «дракон». Пожалуйста, заказывайте любой иероглиф.

Потеряв из виду Жака Пьера с кинооператором, я продолжал бродить по лавкам, жуя сукияки. Я не мог припомнить, когда последний раз был на храмовом празднике. Сколько бы мы ни «модернизировались», праздник есть праздник. Я слушал стук гэта<sup>1</sup> по асфальту, вдыхал аромат сушеной каракатицы, смотрел на людей, облаченных в накрахмаленные юката<sup>2</sup>, и сердце таяло от умиротворения.

<sup>1</sup> Гэта — японская деревянная обувь.

<sup>2</sup> Юката — летнее кимоно.

Рыбки разноцветными лоскутками плещутся в бочке с водой. В цветочной лавке на листьях папоротника, родеи и других растений в горшках блестят капельки воды, воздух наполнен голубизной. По соседству девочки вырезают имена на плодах камелии с острова Идзу. Шуршат рисовые тянучки. В детстве тянучки, пока мы доносили их с ярмарки до дома, почему-то становились меньше, и мы называли их «оборотнями». Теперь они упакованы в виниловые пакетики и не меняются.

Мальчик в юката подвязан черным поясом-оби. Девочка украшена красным поясом. Французская чета, которая не смогла понять песенку сверчка, с первого взгляда оценила красоту юката и поясов. Они видели их в парижских универмагах, но не предполагали, что они настолько изящны. По их словам, прелесть японской национальной одежды открылась им здесь, на освещенной вечерней улице, по которой текла многотысячная толпа мужчин и женщин в юката. Гостей поразила невероятная способность находить очарование в безыскусности, чуткость к прекрасному, заложенные в японцах.

— Почему ты ходишь в юката только дома?

— На улице в нем невозможно двигаться. Юката — это одежда для приятного досуга. Мы безошибочно выбираем Запад или Восток в зависимости от ситуации, хотя порой это непросто. Что делать, искусство требует терпения, — ответил я.

— О, чудесно!

Я смотрел вслед весело смеющимся девочкам с веточками папоротника в руках, и помимо воли душа таяла от этих милых сердцу картин детства. Внезапно на ум приходят слова «любить человека».

Что же случилось со мной? Мгновение — и мне уже хочется запрятать обнажившееся на миг сердце и снова стать бесстрастным, рассудительным, собранным и мрачно-жестоким. Сомнения рассыпаются осколками и затвердевают. Становится стыдно за сентиментальность, но ничего не поделаешь, сердце привыкло щетиниться колючками или прятаться в скорлупке.

## РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕСНИ

Недавно я побывал в общежитиях строительной и кондитерской фирм. Строители устроились в железобетонном здании, по виду ничем не уступающем хорошей гостинице. Комнаты оснащены кондиционерами, есть спортивный зал. Общежитие девушек-кондитеров выглядело более чем скромно.

Молодые рабочие рассказали, что с утра до вечера они вкалывают не разгибая спины, единственное удовольствие для них — поест и поспать. Книг не читают, пластинок не слушают. Изматываются так, что им не до чтения. Самое доступное развлечение — это выпивка или игра в маджонг ночь напролет. Воскресенья они проводят в бесчувственном оцепенении — спят

целый день. Парням хотелось бы встречаться с девушками, но они не знают, где с ними познакомиться, поэтому остается только надеяться на женитьбу по сватовству.

Обитатели мужского и женского общежитий, описывая свою жизнь, буквально повторяли друг друга. Девушки отличаются от парней только тем, что не разгоняют тоску спиртным и азартными играми, а занимаются рукоделием или запоем читают скандальные истории о знаменитостях в бульварных журнальчиках. Ребята скупают ненужные им пластинки, новейшие проигрыватели, девушки поглощены накопительством и в музыкальных магазинах только завистливо вздыхают. Они считают, что смогут купить безделки потом, когда встанут на ноги, а сейчас необходимо готовить приданое.

Многие девушки говорили, что истинную радость они получают в клубах песни. Они съехались в Токио со всех уголков Японии — от Абасири до Кагосима. В этом бескрайнем море, залитом неоновым светом, у них нет ни родителей, ни братьев и сестер, ни даже друзей. Девушки ручейками стекаются в клубы песни. Как бы ни процветала индустрия развлечения, их сердца и кошельки навсегда отданы клубам.

— Послушаешь, попоешь родные песни, и горести забываются. Жизнь ведь тяжелая какая, вон высохли, как щепки. А в клуб ноги сами несут.

Я зашел в клуб, расположенный в районе Синдзюку на площади около станции Сэйбу Синдзюку. Он украшен, как на Олимпиаде, флагами всех стран. Каждый вечер его стены содрогаются от молодых голосов. Возгласы, смех, песни нежности и отваги, отчаяния и радости бьют, как фонтаны, вздымаются к небу, как дым.

На маленькой сцене в поте лица играет незатейливый оркестрик — пианино, контрабас, аккордеон. Девушка в спортивной рубашке поет, лицо ее расплывается в улыбке. Она по-мальчишечьи жестикулирует, показывает комические трюки. Задник сцены украшен картой мира, по бокам висят национальные флаги, обстановка олимпийская. Возраст гостей от 18 до 22 лет. Девушки из контор, студенты, рабочие, служащие. Кое-где сидят пожилые люди. Поют по трое-четверо, заглядывая в один песенник. Некоторые пытаются перекричать всех. Запевают незнакомую песню, и из уголка выглядывает девушка, которая до этого молча вязала кружево. Она растерянно оглядывает зал, но хор звучит на удивление слаженно. Голоса взлетают ввысь, стихают, переливаются, журчат искристыми струями, замирают, грохочут водопадом, обрываются, угасают и рождаются вновь. В них нежность свободы, несокрушимость правды. Сияют глаза, сверкают зубы, блестят лбы. Звучат народные песни России, Италии. Французские эстрадные песни. Негритянские спиричуэлс. Трудовые. Лирические. Шуточные. Торжественные. Песни радости. Песни печали.

Интеллигенция относится к клубам песни с высокомерной

иронией. «Одиночество», «индивидуальность», «отчуждение» они воспринимают вслепую, как реакцию кожи на внешние раздражители, поэтому при одном слове «хор» пускаются наутек, опасаясь посягательства на свою независимость. Ирония судьбы. Когда в клубе исполняют революционные песни, несбывшиеся мечты о революции окутываются налетом сентиментальности, скрываются очарованием исполнителя. Революция в таком облачении вызывает те же душещипательные чувства, что и хорошенькая девушка. Интеллигенты от страха прячутся в камышах. Не находят себе места, цепляются за что-нибудь надежное. Смотрят на отражение блохи в зеркале, а мерещится слон.

Обратите внимание, какие поют песни. «Хлопай в ладоши от счастья», «Почему у тебя такое лицо?», «Трава забвения». Популярна даже «Пятая мечта», а ведь это песенка, рекламирующая газовые зажигалки в ночных телепрограммах. Годится любая мелодия, пожалуйста, не стесняйтесь, отсутствие музыкальных способностей не помеха. Если песня вам не по вкусу, бормочите себе под нос потихоньку.

Сейчас в токийских районах Синдзюку пять, в Сибуя два песенных клуба, в Китидзётэн и Икэбукуро по одному. Они объединяют в общей сложности около ста тысяч человек. У некоторых есть названия — «Катюша», «Горная хижина», но самые распространенные — «Огонек» и «Поющие голоса». Средний возраст посетителей — 20 лет. Это конторские девушки, молодые служащие, рабочие, студенты, продавцы из небольших магазинов. В клубе около станции Сэйбу Синдзюку мне рассказали, что обычно девушки посещают клуб до 21 года, а мужчины продолжают заглядывать независимо от возраста.

— Недаром же говорят, что женщины решительны, а мужчины сентиментальны.

— В каком смысле?

— Женщина как поставит точку, так все, а мужчину старая привязанность еще долго волочит за собой.

— А почему девушки бросают пение в этом возрасте?

— Трудно сказать, наверно, находят себе друга и всерьез задумываются о будущем.

Бывает, что в клубы наведываются делегации матерей после родительских собраний в школе. Они беспокоятся о том, где дети проводят досуг. С инспекцией приходил директор института культуры одежды. Он одобрил атмосферу, и студентки валом повалили в клуб. Все они оказались родом из провинции. Иногда девушки из пригородных районов Сугинами, Сэтагая, Нэрима приводят с собой родителей.

Неподалеку от этого клуба есть еще один «Огонек». С ним соседствует «Катюша», стены которой сложены из нетесаных бревен. Каждый клуб имеет постоянных посетителей. В «Огоньках» собираются рабочие из профсоюзов. Студенты и служащие предпочитают «Катюшу».

Клубы отличаются друг от друга атмосферой, репертуаром. В «Огоньках», если так можно выразиться, попахивает кровью, а в «Катюше» царит аромат земли.

— Ну а в вашем «Огоньке»?

— Да как сказать...

— Разве не кока-колой?

— Колой и парфюмерией. Скорее запах лосьона, а не духов.

Боевые, бравурные песни не пользуются популярностью. Посетители с большой охотой исполняют спокойные, мелодичные песни. Клуб, говорят, сотрудничает с торговцами газовыми зажигалками, поэтому здесь в ходу песенка «Пятая мечта». Разумеется, ее не навязывают, а исполняют по заказу гостей.

Этот клуб был набит до отказа, а в тот же час «Огонек», который, как мне объяснили, «попахивает кровью», походил на заброшенный склад. Меня поразила унылая пустота. В полумраке взмокший от усердия руководитель клуба пел, приплясывал, пародировал, но это зрелище напоминало громадный аквариум, который забыли наполнить водой. Парни и девушки сидели, прислонившись к грязноватым стенам. Они что-то негромко напевали. Картина была грустной.

— Почему тоскуете в одиночестве?

— Сегодня неудачный день. Обычно у нас все иначе. Большинство наших посетителей — рабочие, члены профсоюза. Они, верно, заняты в каком-нибудь массовом мероприятии, вот мы и отдыхаем поневоле.

— А что сегодня проводилось?

— Точно не знаю, кажется, в парке Хибия состоялся митинг протеста против захода в порты атомных подводных лодок.

— Значит, у вас день на день не приходится?

— Да, конечно. К тому же среди наших гостей много людей из малообеспеченных слоев. Они целый день работают до изнеможения, а вечером приходят к нам попеть и набраться сил. Они получают 15—16 тысяч иен в месяц. Честно говоря, при такой зарплате в наше время, когда цены растут день ото дня, вряд ли захочется петь.

Ежемесячная чистая прибыль владельцев клуба составляет около 250 тысяч иен, арендная плата за помещение — 300 тысяч. Им постоянно приходится балансировать на краю пропасти и гадать, будет ли полный сбор или вынужденный простой. Они являются членами профсоюза простых рабочих, который входит в Генеральный совет профсоюзов Японии. Генеральный совет оказывает им помощь, но она что вода, которую льют на раскаленный камень.

Молодой человек по фамилии Аояги уже десять лет возглавляет этот клуб. Помимо любительского пения, он изучает оперное искусство, мечтает поставить музыкальный спектакль, который сочетал бы японскую и мировую культуру.

Основателем клубов песни был Нобу Сибата, который лет десять назад организовал первый «Огонек». В ту пору он только



что окончил политико-экономический факультет университета Васэда. Он неизменно появлялся на демонстрациях в гэта и с полотенцем на поясе. Сибата не был коммунистом. Получив диплом, собирался податься на рудники в Бразилию, но поступил на службу агентом в страховую компанию.

Его отец в то время работал в ресторане русской кухни на улице Кабуки, который держал русский белоэмигрант. Там было множество пластинок русских народных песен. В ресторан часто заходили бывшие военные, вернувшиеся из сибирского плена, актеры, играющие в современных театральные труппы. Сам по себе сложился обычай петь за едой. Русский оставил дело, и Сибата-старший стал хозяином ресторана. В моду вошли кафе, где недорого можно было не только выпить виски с содовой и съесть рис-кари, но и спеть хором. Поначалу пели и танцевали под пластинки, а потом из числа посетителей выдвинулись руководители хорового пения. Сибата вместе с другом построил новое здание, которому дали название «Пьющий дом».

Однажды к ним пришла молодая большеглазая девушка, которая взялась за руководство хором. Она занималась пением в Кансае, потом закончила институт сценического искусства. Девушка излучала прекрасное настроение и бодрость. Замужество. Уход из семьи. Переезды с места на место, зарабатывала в клубах песни. Сейчас она управляет «Огоньком» в районе Китидзётэн.

— Руководителей хора выбирают из служащих клуба или из посетителей. Они учатся всему, начиная с уборки туалета. Сейчас у нас двое — студент университета Хосэй и молодой человек, который бросил институт японского искусства и подрабатывает в нашем клубе. Я считаю, что посетители — самое главное в нашей работе. Глас народа — глас божий. Не годится тот руководитель, который упивается лишь своими любимыми песнями. Идеален только тот руководитель хора, который постоянно учит и обучается сам. Нельзя смеяться, если даже гость заказывает одновременно «Марш отряда национальной независимости» и «Траву забвения». Сейчас самая сложная проблема состоит в противоборстве фирмам грамзаписи. Они выпускают песенки, похожие на мыльные пузыри. Нам необходимо бороться за свою независимость, но на каждого владельца клуба песни приходится по громадному волку из фирмы, их бизнес процветает. Мне бы хотелось исполнять побольше бодрых, оптимистических и веселых песен, в которых была бы ключом наша жизнь.

Сибата говорит горячо, глаза его сверкают. Я вижу в нем все, чего недостает мне, — настойчивость, раскованность, романтичность, неистребимую веру в идеалы. Действительно, только в его клубе певцы и гости слиты в живой, динамичный ансамбль, и голоса его взлетают огнями фейерверка.

## РАЙ ДЛЯ ГОСПОД СОБАК

В период Эдо<sup>1</sup> люди зарабатывали на жизнь множеством причудливых и забавных способов. Один из них назывался «помощь по дому». Вооружившись бамбуковой метлой, человек отправлялся мести улицу перед лавками. Он только делал вид, что старательно метет, и даром получал деньги.

— Помогаем по дому! Чистим, убираем! С утра до вечера скоблим, отмываем! — раздавались их зазывные крики.

Хлопотнее был другой вид заработка — «убогий странник». Человек раздевался донага, обвязывал голову жгутом из веревок и в зимнюю стужу бродил по домам. При нем всегда был веер, посох и бумажные полоски, которые вывешивают у входа в храм.

Считалось, что «убогий странник» приносит с собой мир, благополучие, процветание дому, в котором он побывал. «Счастье поселается в том доме...» — без усталости кричал пройдоха, обирающий людей.

Существовал еще один любопытный промысел — «ловля кошачьих блох». Человек, кормившийся этим ремеслом, бродил по городу с собачьей шкурой на плече и орал во всю глотку: «Вывожу блох!» Он действительно избавлял от насекомых. Распаривал собачью шкуру в кипятке и обертывал ею кошку. Процедура похожа на прикладывание горячей салфетки к лицу в парикмахерской. Блохи от жара и растерянности сыпались на собачью шкуру. Тут их и настигал мастер своего дела, который с треском давил несчастных одну за другой.

(Идея этого промысла была оригинальной, но он долго не просуществовал. Уже Сайкаку с сожалением писал, что блохоловы давно перевелись.)

Мы привыкли считать Токио городом, где вечно спешащих людей на каждом шагу подстерегают стихийные бедствия, но для господ собак это земля обетованная. К их услугам в Токио школы и больницы, парикмахерские и салоны одежды, аптеки — Все вплоть до собачьего кладбища. Для них продают лекарства, жевательную резину, обувь, дождевики. Им доступно даже то, чего нет у людей, — лаборатория по изучению чистоты породы.

Я побывал в обществе охраны овчарок, находящемся в районе Суйдобаси. Мне показали несколько собачьих родословных. Голова пошла кругом от безупречности этого документа, в котором были расписаны имена и характеристики предков до пятого колена. Я в своей генеалогии запнулся бы уже на дедушке. История моих предков окутана мраком неизвестности, я даже не знаю, из каких они мест. Я давился от смеха, изучая родословные четвероногих господ.

Я посетил собачью школу в Нэрима. Мне выдали «Правила приема». Обучение платное. Деньги берутся в зависимости от

<sup>1</sup> Период Эдо — 1600—1867 гг.

размера собаки: за крупную 15 тысяч, за маленькую 10 тысяч иен в месяц. Охотничьих собак для натаски вывозят в Каруидзава, поэтому такса — 15 тысяч иен. Курс обучения три месяца, что как минимум обходится в 30 тысяч иен. Отдельная плата взимается за доставку собаки в школу и медицинское обслуживание.

Десять учеников выглядывали из персональных конур, но урок проводился с каждой собакой в отдельности. Это вам не университет, находящийся поблизости. Собак подбирают в группы по сообразительности и занимаются по индивидуальной программе. По желанию владельца обучение ведется не только на японском, но и на иностранных языках по выбору — английский, немецкий, испанский. При выпуске собаки из школы хозяин получает словарик, в котором в японской транскрипции написаны все команды на разных языках.

В школе я узнал невероятную вещь. В Японии около двухсот тысяч слепых, но на всю страну каких-нибудь три собаки-поводыря. В Токио нет ни одной. Дело в том, что на обучение поводыря требуется около полутора лет. Никто из слепых не в состоянии заплатить за такой курс, поэтому каждый день на улицах двести тысяч незрячих передвигаются на ощупь и раздаются тревожное постукивание их палок. Некоторые «любители собак» считают, что вообще не следует уродовать собаку и давать из нее поводыря, так как животное лишается естественной свободы и озлобляется из-за ненавистных тренировок.

Школа посылает инструкторов на дом, так что собака может получить «домашнее образование». В случае отъезда хозяина школа берет на себя заботы о его питомце. Летом занятия проводятся в летнем лагере в Каруидзава. В этом курортном месте строят специальные дачи, проводят телефон. Выяснилось, что собачьи пансионы в Каруидзава пользуются хорошей репутацией и устроиться туда не так просто. Летом в Токио люди изнывают от душливой жары, давятся в переполненных электричках, не могут ни напиться вдоволь, ни вымыться из-за нехватки воды. Постоянно тревожатся, не рухнет ли мост, не лопнут ли газовые трубы, а тем временем собачья элита наслаждается отдыхом на фешенебельном курорте.

Побывал я и в единственной на всю Японию больнице для кошек и собак. В кабинете собака нечистой породы, но из приличного дома, прибывшая в сопровождении своей госпожи со служанкой, принимала ультрафиолетовые лучи. Говорят, эти процедуры эффективны при кожных заболеваниях. Ассистент в белом халате массировал пациента щеткой. Хозяйка протянула служанке тысячу иен, и та передала их ассистенту. 1800 иен за пятнадцать минут.

— Собаки — плотоядные животные. Зубы, система пищеварения у них приспособлены к мясной пище, поэтому рис и овощи не показаны. Мясо годится любое — вырезка, филе.

Крабов, осьминогов, раков, каракатиц следует исключить из меню. Рекомендуется белая рыба. Полезны мякоть дичи, нежирное мясо. Дикие собаки питаются мышами, поэтому домашней целесообразно включать в рацион препараты, изготовленные из эндокринов грызунов, — говорит, приветливо улыбаясь, главный врач больницы господин Садзи, через руки которого за 38 лет практики прошло 250 тысяч собак. Его глаза светятся профессиональной уверенностью и мудростью.

В магазине для собак в районе Нихонбаси, кроме ошейников и поводков, продаются самые разнообразные вещи. Глазные капли. Сердечные препараты. Дерматологические средства. Дезинсекталь. Желудочные микстуры. Поливитамины. Витамин роста Е (для инъекций в ампулах и в таблетках). Мыло (жидкое, кусковое, порошковое). Жевательная резина. Мясные консервы. Питательные молочные смеси. Обувь. Шляпки. В универмаге «Сиракия» на втором этаже в отделе женской одежды есть уголок «Для вашей собаки». Там вам предложат одежду для улицы, белье, дождевики.

— Что пользуется самым большим спросом?

— Пожалуй, лучше всего идут дождевики. Охотно покупают и нижнее белье, в нем собачки очень симпатичны дома, — отозвалась любезная продавщица.

— И много продаете?

— Самая недорогая покупка обходится в тысячу иен. Некоторые приобретают товаров на восемь-девять тысяч.

11 ноября в 11 часов 11 минут дня в этом универмаге открылся парад собачьей моды, в котором участвовало 114 собак. Демонстрация мод сопровождалась выступлениями известных комических актеров.

Когда умирает собака, вкусившая такой роскошной жизни на земле, последние заботы о ней берет на себя специальное похоронное бюро в Сибуя. Собака отправляется на вечный покой на кладбище для животных. Оно называется «Парк упокоения кошек и собак».

Парк — последнее пристанище бурных эмоций тех, кто помешался на любви к животным, — занимает под собачьи могилы более 13 тысяч квадратных метров. Собак можно предать земле или кремировать. При кладбище есть свой крематорий, колумбарий, часовня, комната отдыха, автостоянка. В праздники весеннего и осеннего равноденствия в часовне совершается заупокойная служба. Похороны можно заказать по любому обряду — синтоистские, буддийские, христианские.

На могилах цветы, курятся благовония. Среди нескончаемой вереницы надгробий попадаются великолепные мраморные сооружения, украшенные фотографиями собак. Читаю надписи: Тико. Понпонтян. Таму. Дорис. Бэлл. Бэри. Мэко. Под этим камнем покоится милая крошка. Покойно ли в том мире? Спи спокойно. Прощай. Как лепесток цветка, унесенный злым ветром...

На могилу приходит чета бездетных стариков. Каждую годовщину смерти могилу посещает девушка, которую в младенческом возрасте собака спасла от падения с крыши. Старик, который похоронил собаку, заменявшую ребенка, потом жену, любившую собаку. Он склоняется над могилой с думой о том, что надвигается его очередь. Мужчина просит прощения за то, что женился второй раз, не выяснив, любит ли новая жена собак. Вот идет женщина с комком шерсти в руке. Прошло несколько дней после погребения, а она никак не смирилась с утратой. По ее просьбе могилу разрыли, и она на память срезала шерсть с уха собаки, уже тронутой тлением.

Другая женщина часами просиживает на корточках перед деревянным надгробием, негромко ведя нескончаемый разговор. Одни, словно лишившись рассудка после смерти собаки, не могут расстаться с могилой, другие после похорон уже никогда не появляются на кладбище. Третьи, погрузив, ставят по бедности скромную поминальную табличку и раз в год навещают могилу в день смерти. Был случай, когда на похороны одной собаки собралось 170 человек на собственных автомобилях. Среди приехавших выразить соболезнование были жители Кюсю и даже иностранец, специально прилетевший на погребение из-за границы.

Я люблю кошек. У меня не было сиамских, сибирских и других красавиц. Я всегда с удовольствием держу простых кошек и наблюдаю за ними. Даже пришел к выводу, что внимательное изучение кошек освобождает мужчину от необходимости вникать в характер женщины. Они удивительно похожи высокомерием и кокетством. В мире животных нет существ, которые могли бы проникнуть в душу человека и отвергать его господство, быть столь праздно-ленивыми и несносными, прелестными и изысканными, как кошки.

С давних пор не стихают споры и нет надежды на компромисс между собачниками и кошатниками, но я как любитель кошек заявляю, что мне неприятна собачья преданность. Меня раздражает выражение покорной забитости, застывшее в собачьих глазах.

У меня есть подспудное чувство, что любители кошек и поклонники собак едины в одном — в них живет какая-то незатягивающаяся рана. Быть может, человек привязывается к животному, потому что не находит общего языка с себе подобными? Любя кошку или собаку, человек жалеет себя. Я не верю Обществу защиты животных, которое провозглашает приторный, как фруктовый сироп, лозунг равной любви к животным и людям.

Я знал людей, которые с ума сходили из-за кошек и собак, но были холодны с человеком. По-моему, чувства к животным носят эгоистический характер, они не распространяются на окружающих. Поэтому я считаю, что гуманизм, который зиждется на человеческой солидарности, и любовь к животным не

имеют ничего общего. Невозможно создать произведение о животном, не наделив его человеческими свойствами. Этот факт — лишнее доказательство эгоистичности любви человека к животному миру. Так что будем разделять два вида любви. (Тем не менее книги о животных — увлекательная и прекрасная область литературы.)

Я не величаю своего кота Каменная голова, Крошка, Великий малыш, Железный енот, не покупаю ему глазные капли и дождевик, не отправляю на летние каникулы в Каруидзава. Мой кот — ветер. Дует туда, куда ему хочется. Мне остается только предоставить кота самому себе. Он может шастать по капустному полю, валяться в канаве или рыться в мусорном ящике. Когда этот высокомерный и грязноватый гуляка за полночь возвращается домой через окошко в туалете и сладкоголосо извещает меня о своем прибытии, я как ненормальный приветствую его безалаберным мяуканьем.

Братья и сестры читатели!

Тысячи, десятки тысяч поминальных табличек и надгробий на могилах кошек и собак говорят о многом. Посмотрите на имена тех, кто поставил памятники. Киноактер, окруженный сонмом подхалимов. Киноактриса. Политик, погрязший во лжи. Промышленник, сидящий на шее неимущих. Писатель, который марает бумагу графоманскими сочинениями. Обыкновенные обитатели города. Женщина, которой изменяет муж. Одинокий и печальный старик, ушедший на пенсию. Короче, все, что заставляет людей мучаться. Страх. Настороженность. Оцепенение. Содрогание. Это поле лицемерия и доброты.

Любовь человека к собаке — в мире, где людские привязанности тоньше барабанной перепонки. Чувство, рядом с которым меркнет человеческая любовь. Трудно выразить в словах, кто прав, а кто заблуждается, но нет предела иступлению людей, скорбящих на собачьем кладбище. Есть собаки, уезжающие на курорты от токийской жары, и есть люди, погребенные в угольных шахтах. Их мольбы о спасении тонут в безмолвии.

# Сто миллионов самоубийц \*



Тот, кто смотрел кинофильм Чаплина «Новые времена», вряд ли сможет забыть кадры, которыми он начинается: стадо овец, налезая друг на друга, мчится к скотобойне; одновременно толпа рабочих ранним утром поспешно спускается по ступеням станционной лестницы.

Однажды ко мне обратились с просьбой написать очерк на тему: «Как ощущают на себе японцы индустриализацию Японии?» Не представляя, с какой стороны подступиться к этой теме, я уныло брел по улице, словно страдая от зубной боли, и, чтобы переключить свои мысли на что-нибудь иное, зашел в кинотеатр, где как раз демонстрировался этот фильм Чаплина. Маленький джентльмен в котелке и больших стоптанных ботинках был как всегда свеж и оригинален. Незаметным движением плеч и рук он удивительно живо и точно передавал всю гамму переживаемых им чувств. Я покидал кинотеатр, очарованный «Новыми временами». Зубная боль прошла без следа. Все уже сказано, подумал я, и своей писаниной я ничего не добавлю. Оставалось поднять руки и признаться в своем полном поражении, но это несколько меня не опечалило.

Тот откровенный намек, который сделан гениальным Чаплином в начальных кадрах, с некоторыми поправками можно отнести и на счет нашей повседневной жизни — достаточно постоять и понаблюдать на платформе одной из крупных токийских конечных станций в утренние часы «пик». От этих

---

\* © Takeshi Kaiko, Tokyo, 1977.

станций веером расходятся пригородные линии, которыми ежедневно пользуется бесчисленное множество служащих. Когда, скрежеща старыми железными коробками вагонов, очередной поезд прибывает на станцию, люди, спокойно стоявшие в очереди на посадку, опережая друг друга, бегут к вагонным дверям. Они ждут послушно, как овцы, но кидаются к вагонам со скоростью волка, преследующего добычу. Если, на счастье, им удается занять свободное место, они снова превращаются в овечек и либо задремывают, либо разворачивают газеты и раскрывают книги. «Некоторые дополнения» к кадрам из «Новых времен» можно наблюдать у вагонных дверей. Электричка должна отправляться, но двери невозможно закрыть из-за торчащих в них пассажиров. Тогда подскакивают станционные служащие, впихивают внутрь вагона тех, кого можно еще впихнуть, и оттаскивают тех, кого протолкнуть в вагон невозможно. Мы называем этих служащих «толкачами» и «таскачами», не вкладывая в эти слова уважительного, но и презрительного смысла тоже. Эти люди каждое утро проявляют удивительное умение, выработанное тренировками и опытом. В безупречном — в смысле полного отображения действительности — фильме «Новые времена» на экране появляются люди самых разнообразных специальностей, но «толкачей» и «таскачей» там нет, и это вселяет в меня некоторое чувство гордости.

А мы вот уже много лет пользуемся их услугами. Они выполняли свои функции еще в ту пору, когда Токио из-за воздушных налетов лежал в руинах, и после поражения в войне, когда валовой национальный продукт Японии практически равнялся нулю. Но и теперь, спустя тридцать с лишним лет, когда в Токио появились небоскребы и скоростные автомагистрали и объем валового национального продукта стал одним из самых крупных среди развитых стран мира, работы у «толкачей» и «таскачей» не убавилось, а стало значительно больше. Это странное и печальное явление, свидетелями которого мы становимся каждое утро, зримо раскрывает перед нами некоторые капканы, которые до костей вгрызаются своими зубьями в наши ноги, когда мы в них попадаем. Это перенаселенность, нехватка жилищ и земли, жестокая борьба за существование. Многим требуется от часа до двух, чтобы добраться от своего дома до места службы. Ежедневно они вынуждены тратить на дорогу три-четыре часа самого продуктивного времени. В Токио высокие цены на товары, сильно загрязненный воздух, невероятно высокая квартирная плата: дешевую квартиру найти чрезвычайно сложно. При крупных землетрясениях и пожарах здесь некуда бежать, поэтому многие предпочитают селиться далеко за городом. Электрички всегда переполнены, и нередко можно увидеть вагоны с выдавленными стеклами: в дождливые дни пассажиры буквально задыхаются. Думаю, вы догадываетесь, сколь неудобно бывает пассажирам, вынужденным не шевелясь ехать в вагонах в течение полутора-двух



часов, когда соседи дышат тебе прямо в рот, либо ты вынужден всю дорогу созерцать торчащее перед самым носом чужое ухо. Когда пассажир выходит на своей станции, он уже утомлен до изнеможения. Добравшись к месту своей службы, такой человек падает на стул и, тяжело дыша, некоторое время бессмысленно глядит перед собой, не будучи в силах приступить к работе. Он лишь судорожно дышит, чтобы освободить легкие от сероводорода, которого наглотался в этих «движущихся лагерях принудительного труда»

Многие американцы утверждают, что Нью-Йорк — это еще не Америка. Есть и вьетнамцы, которые говорят, что Сайгон — это еще не Вьетнам. Однако мало найдется японцев, которые с уверенностью могли бы настаивать, будто Токио — это еще не Япония. Правда, до недавнего времени мы тоже так говорили, указывая на ряд различий между провинциальными городами и Токио. Да и у самих провинциальных городов было немало специфических особенностей, отличающих их друг от друга. Но с некоторых пор индивидуальные черты и обычаи провинциальных городов начинают исчезать, их внешний облик унифицируется, образ жизни, характер мышления и восприятия местных жителей становятся идентичными и мало чем отличаются от столичных. Вся Япония с каждым годом, с каждым месяцем все более начинает напоминать Токио, который, вне всякого сомнения, уже олицетворяет страну в целом. Теперь без особого преувеличения можно утверждать: достаточно понять Токио, чтобы узнать Японию. Телефоны, газеты, радио, скоростные автомагистрали, сверхскоростные экспрессы, автомашины, реактивные пассажирские лайнеры, телевизоры, заводы, новые жилые районы, супермаркеты, компьютеры, электронная техника, система продажи в кредит, нефтеперегонные комбинаты, ядохимикаты, плотины, замороженные продукты питания... Массовое нашествие этих новшеств все более унифицирует, «токиоизирует» всю Японию. Во многих сферах начинают стираться различительные границы, с каждым годом исчезает специфическое, индивидуальное, уникальное. В последние годы все чаще заговаривают о «родной деревне», о «тяге к природе», о «традициях», а молодежь даже стала уезжать из Токио в провинцию. И все же, несмотря на это, мы по-прежнему многое теряем в специфике, в индивидуальных чертах. Причем потери происходят чрезвычайно чувствительные. В доказательство приведу результаты исследований, проделанных одним ученым. По полученным им данным, лет восемь назад в волосах жителей Токио содержалось 4,39 ррт<sup>1</sup> ртути, а у деревенских жителей — 8,93. В то время на полях в неограниченных количествах

---

<sup>1</sup> Единица измерения процентного содержания вредных для организма и среды веществ. 1 ррт — одна десятитысячная процента.

применяли ядохимикат, названный впоследствии «весной молчания», — белый порошок, уничтожающий на полях все живое. Поэтому крестьяне впитывали в себя больше ядовитых веществ, чем городские жители. Спустя несколько лет применение в сельском хозяйстве некоторых ядохимикатов, в том числе ДДТ, было запрещено, но семь тысяч тонн этих веществ, внесенных на поля Японии в предшествующие годы, постепенно проникали в рис, овощи, фрукты, молоко, воду, и в результате недавних анализов содержание ртути в волосах жителей города и деревни практически сравнялось и составляет 6,5 ррт. Это в четыре раза больше, чем в наиболее загрязненных странах Европы и Америки, и в шестьдесят пять раз больше, чем в наименее загрязненных. Загрязнению одинаково подвергаются как жители Токио, так и сельское население. Профессор Гэлбрейт в одном из своих эссе с иронией писал: «Японцы во всем стремятся быть первыми». Теперь мы держим первенство среди самых «грязных» людей мира.

Человек не способен относиться разумнее к сегодняшнему дню, чем к прошлому. Нетрудно сетовать и поносить прошлое, заявляя, что следовало бы поступить так, а не иначе, что, если бы поступили так, было бы все по-иному. История не приемлет союза «if»<sup>1</sup>. В конечном счете мы пришли к тому, к чему пришли, — должно быть, иного пути у нас не было.

Последние сто лет японцы трудились. Трудились изо всех сил. Трудолюбие всегда воспринималось нами как высшая добродетель. Нередко из-за чрезмерного усердия мы начинали трудиться ради того, чтобы трудиться. Мы, по-видимому, и теперь так поступаем. Если работать, можно кое-что получить. Это верно. Но с некоторых пор мы стали забывать железное правило: чтобы что-то обрести, приходится что-то терять. А все наши мысли направлены на приобретение, и мы забываем о сопутствующих ему потерях. Среди японцев есть люди, верующие в Христа, есть люди, исповедующие буддизм, есть, наконец, люди — и их, по-видимому, большинство, — которые ни во что не веруют. Но есть бог, который верховенствует над всеми остальными богами. Об этом боге вы не узнаете ни из Апокалипсиса, ни из буддийских книг о круговороте человеческого существования. О нем не упоминают ни «Сборники изречений», ни разнообразные трактаты. Этот бог призывает лишь к одному: работайте! И все японцы, независимо от вероисповедания, поклоняются этому богу. Когда звучит его голос, загрязняются моря, искривляются рыбы хребты, реки превращаются в сточные канавы, лысеют горы, исчезают леса, погибают насекомые, падают на землю бездыханные птицы, мечутся по платформам потные «толкачи» и «таскачи», собираются в бюро находок на токийском вокзале горы утерянного —

---

<sup>1</sup> Если (англ.).

от младенцев до вставных челюстей, — за которыми никто не приходит, и «весна хранит молчание».

Есть известная поговорка: «Если хочешь узнать о войне, спроси у пехотинца». В любую эпоху, в любой стране армия представляет собой общество в миниатюре. Образ жизни общества, характер восприятия им действительности нередко с особой силой проявляются в армии. А раз это так, то, видимо, через армию можно узнать и о многом, непосредственно с войной не связанном. В прошлом японские солдаты придумали Немало изречений, крылатых и поучительных фраз и выражений. Но самое краткое и выразительное из них звучит: «Быстро ешь и быстро справляй нужду».

Думается, это изречение вполне применимо и для сегодняшнего дня. Если нашу каждодневную суетливую жизнь как следует выпарить, на дне сосуда останется именно суть приведенного выше изречения. И если бы эти два действия официально включали в Олимпийские игры, то все медали достались бы японцам.

Мы трудились во время войны, когда были лишены прелестей свободы, мы трудились и в послевоенный период, когда они у нас появились. И во время войны, когда высшими добродетелями считались труд и воздержание, и после войны, когда все запреты были сняты, наше отношение к работе оставалось неизменным. В последнее время раздаются критические голоса, что, мол, японцы слишком много работают. Газеты, еженедельные журналы, телевидение все больше уделяют внимания тому, что по-английски называется «leisure»<sup>1</sup>, а по-французски «vacance»<sup>2</sup>. Эссеисты с восхищением стали писать о homo ludens<sup>3</sup> известного голландского философа Хойзингера, проповедующего, что человек по своей сути рожден для развлечений, и пропагандирующего философию развлечений. Но, не имея достаточного опыта и не проведя широких предварительных исследований, эти люди второпях начали подражать Петронии, толком не разбираясь в содержании предмета. Их эссе отличались скудостью и были начисто лишены убедительности. Тем временем проблема промышленного загрязнения приобрела особую остроту, и наряду с движением протеста возникли пессимистические настроения, в печати запестрели многочисленные слова, отображающие в различных формах конец чего-то: «гибель», «катастрофа», «конец жизни», «крушение»... Наверное, и это увлечение кончится через несколько месяцев. Японцы проявляют неистощимую энергию, пожалуй, даже алчность, если речь идет о науке или, например, о неизведанной пище. Но при легко увлекающемся характере они столь же легко теряют ко всему интерес.

---

<sup>1</sup> Досуг (англ.).

<sup>2</sup> Каникулы (франц.).

<sup>3</sup> Человек развлекающийся (лат.).

Поэтому ажиотаж по поводу любого нового явления больше трех месяцев в Японии не длится.

Мы говорили выше об «отдыхе», о «каникулах», но каковы они в применении к Японии? Горы и морское побережье переполнены людьми. Чтобы туда добраться, нужно ехать по дорогам, до отказа забитым автомашинами. В результате поездка на отдых мало чем отличается от ежедневной езды на службу в переполненных электричках. В таких условиях единственная радость для вернувшихся с работы, уставших до изнеможения мужчин — развалиться перед телевизором и в полудреме пялить глаза на голубой экран. А тут по разным причинам испытывающая неудовлетворенность жена начинает зудеть над ухом, вспоминая, как приятно было во время помолвки и свадебного путешествия, и с завистью и укором говорит, что соседи отправились путешествовать за границу. Главе семейства становится неловко, и он готов бежать куда угодно — хоть в горы, где он мог бы, подобно Рип ван Винклю, вместе с гномами искать руду. Но в Японии горы давно разработаны, леса сведены, и на их месте построены многоквартирные дома, где на каждом балконе сушатся пеленки. Девать себя буквально некуда, и тогда, отработав с трудом завоеванную пятидневную рабочую неделю, хозяин дома чуть позже, чем обычно, садится в электричку и едет на службу. В безлюдном в субботний день офисе у него нет никакой срочной работы, поэтому он садится за стол, не спеша просматривает бумаги, некоторые из них визирует, потом вместе с такими же неприкажанными сослуживцами, которые не знают, куда себя девать в субботу, играет в маджонг, а вечером, гулко простучав каблуками по пустым коридорам огромного здания из бетона, стали и стекла, возвращается домой, волоча за собой свою длинную тень. Короче говоря, офис заменяет ему и клуб, и ресторан, и кафе. Японский Рип ван Винкль убегает не в горы, а в свой офис. Никому не понять уныние и тоску, какие он испытывает.

Если вам надоело наблюдать за работой «толкачей» и «таскачей», поднимитесь на надземную станционную платформу. Оттуда вы сможете обозреть Токио как бы с высоты птичьего полета. Вы увидите, конечно, и огромные небоскребы из стекла и бетона, построенные в разнообразном стиле, и скоростные магистрали, пересекающие друг друга на разных уровнях. Но вы убедитесь, что все же основу токийского пейзажа составляют бесчисленные крыши небольших домиков, похожих на спичечные коробки. Куда ни глянь, на север, на юг, на восток, на запад простирается безбрежное море крыш. Однажды французский философ и поэт Поль Валери назвал неевропейское общество «замшелой Азией». Когда глядишь с высоты на Токио, создается впечатление, будто город состоит из множества стареньких крыш, за которыми трудно даже различить разделяющие их улицы. Кажется, будто под тобой не город, а

беспорядочные колонии острове́рхих раковин фудзицубо или устриц, прилепившихся к замшелой скале, и конца им не видно. В Париже и Франкфурте, в Сайгоне и Бангкоке, когда направляешься из центра к окраинам или, наоборот, возвращаешься со стороны окраин к центру, пейзаж заметно меняется. В Токио такого ощущения не возникает. Либо надо уж очень далеко отъехать, чтобы почувствовать, что ты пересек какую-то границу и вступил в иной мир с иным пейзажем. Токио напоминает огромную амэбу. В отличие от европейских и американских крупных городов, которые, строя высотные здания, тянутся вверх, Токио раздается вширь, как бы стелется по земле, и люди в этом городе селятся не ближе к небу, а параллельно земле — главным образом в двухэтажных домах. Между Токио и соседними крупными городами нет ощутимых границ, все те же спичечные коробки — дома и предприятия. Соседний город сливается со следующим, превращая всю Японию в один огромный полис. И это, само собой, способствует «токиоизации» Японии. Быть может, этот процесс по западноевропейским меркам нельзя назвать «урбанизацией» Японии, но на самом деле происходит подлинная урбанизация всей страны с учетом, конечно, национального своеобразия. И хотя урбанизация по-западноевропейски может значительно отличаться от урбанизации по-японски, процесс урбанизации, как таковой, одинаково воздействует на дух и психику населения. Аналогична и обостренность и деформация реакций, возникающих под широкой дланью урбанизации, несмотря на влияние различных традиций, обычаев и нравов. Везде одно и то же: преступность, чувство отчуждения, безразличие, хиппи...

Иностранцы, которые по газетным статьям знают, что Япония занимает одно из первых мест в мире по валовому национальному продукту, которые видят созданные в Японии супертанкеры, компьютеры, фотоаппараты и тому подобное, даже не могут, по-видимому, себе представить, что около шестидесяти процентов населения Токио ютятся в домишках, похожих на клетки для птиц. Из каждых десяти токийцев четверо живут в собственных домах, насчитывающих по четыре и более комнат, остальные шестеро снимают, как правило, одно- или двухкомнатные квартиры. И сравнение с клетками для птиц не является преувеличением. Эти малюсенькие клетки до отказа заполнены холодильниками, стиральными машинами, пылесосами, кондиционерами и прочей домашней техникой, и человек может в них жить лишь скрючившись, как креветка.

Стены в таких домах тонкие, фундаменты хлипкие — такое сооружение сотрясается от каждого проезжающего мимо грузовика или самосвала. За тонкими окнами — нескончаемый шум, загрязненный воздух, выхлопные газы. И трудно становится

понять, для чего они служат: то ли чтобы проветривать комнату и выпускать наружу застойный воздух, то ли чтобы впускать внутрь еще более загрязненный воздух улицы. Внутри «птичьих клеток» ревет младенцы, кричат женщины, воздух пропах запахом пеленок. И господин Рип ван Винкль в субботний или воскресный день медленно встает со стула, выходит на улицу и никем не понукаемый отправляется в свой офис.

Япония — маленькое островное государство. Если глядеть на нее с Североамериканского материка, она выглядит всего лишь как слепая кишка, как аппендикс. Сорок девятый штат Америки — Аляска — по площади вчетверо больше, чем Япония, а ее население не превышает двухсот пятидесяти тысяч человек. Тогда как в Японии проживает свыше ста миллионов. Причем, значительную часть территории этого «аппендикса» занимают горы, а пригодной для пахоты земли чрезвычайно мало. В Японии почти нет природных ресурсов. У нас нет иных природных богатств, кроме умственных способностей и трудолюбия. Мы вынуждены ввозить из-за границы продовольствие и промышленное сырье, обрабатывать его в условиях жесточайшей конкуренции с помощью своего трудолюбия и знаний и экспортировать продукты нашего труда. Другого пути у нас нет. Поэтому мы постоянно должны держаться на уровне самых современных знаний и техники. «Модернизация» была и остается нашим категорическим императивом на протяжении многотрудных последних ста лет. Громкими призывами «Догнать и перегнать Западную Европу» проникнуто сознание большинства японцев, занятых в разнообразных сферах деятельности. Этот лозунг подстегивает нас. Порой мы сами над собой смеялись, испытывали разочарование, но все же снова и снова подбадривали себя и двигались вперед. Понимая, что модернизация немислима без индустриализации страны, мы днем и ночью трудились без устали: строили заводы, прокладывали скоростные автомагистрали, рушили горы, покрывали поля шершавыми лентами бетона. И в один прекрасный день мы обнаружили, что во всех отношениях превратились в единственную в своем роде, исключительную страну в Азии и в то же время — в самую загрязненную страну в мире. Мы оказались среди неоновых руин, среди пустыни, покрытой белым порошком ядохимикатов.

Не так давно в Японию возвратился солдат, который после поражения в войне в тысяча девятьсот сорок пятом году бежал в джунгли острова Гуам, где скрывался двадцать семь лет. Когда его обнаружили местные жители, он был совершенно одичавшим.

Сразу по возвращении в Японию его обследовали медики. Тогда в его волосах содержалось 2 ррт ртути. Обследование повторили через шесть месяцев — процент ртути возрос до 8 ррт. Всего лишь за полгода проживания в Японии содержание ртути в его организме увеличилось вчетверо! Один японский

ученый в течение полутора лет занимался научной работой за границей. По возвращении в Японию его через восемнадцать месяцев обследовали. Оказалось, что содержание ртути в его волосах возросло вдвое. Это общеизвестный факт шестисемилетней давности. И так, шесть-семь лет назад за восемнадцать месяцев содержание ртути увеличивалось вдвое, а год назад, когда вернулся в Японию упомянутый солдат, — вчетверо, и на это потребовалось не восемнадцать месяцев, а всего шесть.

В последние годы вопрос о загрязнении стал предметом острых дискуссий, критических выступлений, резко возросла требовательность и ужесточились постановления, запрещающие загрязнение окружающей среды. Время от времени, словно лучи солнца, прорывающиеся среди грозовых туч, поступают сообщения о том, что вода в той или иной реке стала чуть чище, а на полях вновь появились насекомые. И тем не менее упомянутые выше факты красноречиво свидетельствуют о том, что среда, в которой существуют японцы, все быстрее, глубже и злокачественней загрязняется. В августе нынешнего года<sup>1</sup>, согласно анализу, проведенному учеными в Токио, Осаке, других крупных, а также провинциальных городах, воздух оказался чрезмерно насыщенным вредоносными пылевыми частицами. В этой пыли было обнаружено сорок три элемента, а среди них до десяти наиболее вредных: серебро, цинк, цезий, натрий, хром, железо, сурьма, марганец, алюминий, свинец. Причем, свинца содержалось в двадцать шесть раз больше нормы, а наиболее вредной для организма ртути — выше нормы в пятьсот тридцать два раза! Среди сорока трех элементов имелись вещества, являющиеся предполагаемыми возбудителями рака, гипертонии, сердечных болезней и т. п. Ученые признаются, что не знают еще, вдыхание какого количества этих вредоносных элементов влечет за собой возникновение болезни и к каким болезненным процессам приводит попадание в легкие нескольких вредных элементов одновременно. Но все ученые в один голос утверждают, что «ситуация создана нешуточная».

Выше упоминалось, что индустриализация, модернизация превращают всю Японию — центр и периферию, столицу и провинциальные города, деревни и поселки — в страну, лишенную своеобразия отдельных районов, и, судя по всему, промышленное загрязнение выделяет свою долю «по-божески», т. е. равно справедливо всем районам Японии. Говорят, что воздух над такими крупными городами, как Токио и Осака, напоминает суп-пюре из ядовитых веществ, но воздушные течения в атмосфере разносят этот суп-пюре во всех направлениях, и рано или поздно аналогичная атмосфера возникает над всеми районами Японии. Точно так же и море — этот огромный механизм,

---

<sup>1</sup> То есть 1977 г.

находящийся в постоянном движении, — через рыб, планктон, а также через саму воду во время приливов разносит повсюду вредоносные вещества из загрязненного района. Рассыпанный на полях белый порошок ядохимикатов через подземные воды попадает в реки, выносится в море и оказывается на обеденном столе. Через рис, молоко, мясо, фрукты, овощи, воду непосредственно в организм человека поступают ядовитые вещества — они появляются и на скудном столе рыбака, и на обильном столе богатого предпринимателя. Воздух, пресная и морская вода находятся в непрерывной циркуляции. Они проникают в тело человека, внутри которого совершает непрерывный кругооборот кровь. Таким образом, каждый человек становится точкой, плавающей в волнах разнообразных круговращений.

Всего лишь колеблемая, дрожащая, разрушающаяся, но сама всего этого не замечающая точка! А если она вдруг, случайно или даже не случайно обращает на это внимание, то все равно ничего не предпринимает, чтобы исправить ситуацию, в которой оказалась.

Сообщение, что воздух в Токио напоминает суп-пюре, насыщенное разнообразными ядовитыми веществами, никого не взволновало, не вызвало разочарования или протеста ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Лишь после того, как в Минамата и Ёкайти, в других провинциальных городах, на химических предприятиях и нефтеперегонных комбинатах возникли массовые отравления ядовитыми веществами, началось решительное движение протеста и проблема загрязнения среды резко обострилась. Были выявлены преступники, доказана их вина.

Человек может питаться дешевой местной рыбой либо несколько более дорогими по цене привозными бройлерами или, наконец, лососевыми консервами, ввозимыми с Аляски. Решение о том, какую пищу принимать трижды в день, — дело исключительно индивидуального вкуса. Но в большом городе отсутствуют такого рода индивидуальные точки зрения, независимые «мысли» и «ощущения» по проблемам, затрагивающим загрязнение среды. Прочитав очередное сообщение об этом в газете, люди ворчат: «Ах, снова о том же самом» — и отмахиваются, словно от привычной тупой зубной боли. Человек, у которого есть время призадуматься, на мгновение вспоминает о постигшей Японию за последние сто лет судьбе — о неизбежности модернизации, а следовательно, индустриализации — и, запутавшись в сложных и деликатных подсчетах, что на этом потеряла и что приобрела Япония, с болью приходит к выводу, что иного пути не было. С этой мыслью он задумчиво поднимается со стула и... ничего не предпринимает. Повидав на своем веку немало трупов и превратившись в законченного



пессимиста, он тем не менее где-то в глубине души упрямо надеется: эта пуля минует меня. Похоже на психологию солдата на передней линии фронта.

Крупные, средние и мелкие предприятия совершают преступление! Компании, производящие ядохимикаты, и крестьяне, применяющие их, совершают преступление! Ученые, уклоняющиеся от серьезных и объективных исследований в области загрязнения среды, совершают преступление! Правительственные органы, отказывающиеся установить жесткий правовой заслон против тех, кто загрязняет среду, совершают преступление! Все японцы, денно и нощно гоняющие на двадцати миллионах автомобилей, совершают преступление! Люди, живущие в больших городах, остаются в неведении, кто виновник, а кто жертва загрязнения среды. Ощущая себя одновременно преступником и жертвой, они не могут определить границу, где кончается преступник и начинается жертва. Представляя себя в роли преступника и жертвы одновременно, они должны бы, если не желают дышать ядовитым супом-пюре, громко заявить: «Нет!» Но этот протест замирает у них на устах, и они, не протестуя, а лишь по-стариковски ворча, принимают нынешнее положение как неизбежное зло. В безжалостной спешке повседневной жизни, в переполненных электричках и в офисах, в своих «птичьих клетках», пивных и в игорных домах они испытывают неясную, тупую зубную боль, но не делают попыток унять ее, барахтаются, «загрязняются», чахнут, истощаются, умирают. Сложность состоит в том, что совершенно не определены границы, за пределами которых загрязнение начинает оказывать разрушающее воздействие на организм, не ясно, как скажется оно на детях и внуках, каковы последствия наличия в атмосфере в больших количествах ртути, цинка, цезия и прочих элементов.

Надо полагать, что структура человеческого организма навряд ли претерпела серьезные изменения с тех пор, как вооруженный дубиной дикарь охотился на мамонта, и возникает вопрос: насколько этот незащищенный организм приспособлен к существованию в столь сложную современную эпоху, как должен он организовать свою жизнь? Об этом мы сегодня ничего не знаем. Читая газеты, изучая доклады ученых, мы временами начинаем ощущать, как ужас холодной рукой сжимает наше нутро, но на следующий день, как обычно, садимся в переполненные электрички, и, задыхаясь от сладковатого запаха собственного и чужого сероводорода, мчимся в бетонные и неоновые джунгли, и проводим трудовой день, в результате которого, независимо даже от собственной воли, немножечко увеличиваем валовой национальный продукт и... немножечко себя убиваем. Продлись такое и дальше, японцы с каждым прожитым днем будут все более сами себя убивать. Мы — сто миллионов японцев — ежедневно понемногу себя убиваем. Мы — самоубийцы! Временами эта мысль заставляет нас содрог-

нутья, тогда мы возмущаемся — правда, не слишком громко, — в мрачном настроении тянемся к бутылке, прочитав какую-нибудь научную книжонку или брошюру на тему о загрязнении среды, а проснувшись на следующее утро, снова спешим на работу.

На маленьком «аппендиксе», плавающем в Тихом океане, скученно живет сто миллионов людей. Велика общая сумма излучаемых ими знаний и энергии, но каждый из них в отдельности день за днем медленно, но неуклонно себя губит...

## От автора

В прошлом году пришла телеграмма от г-на Шапиро из «Нью-Йорк таймс мэгэзин» с просьбой написать очерк о том, как ощущает на себе индустриализацию японский народ. Я дал согласие и поздней осенью направил рукопись в Нью-Йорк. Шапиро для меня был личностью неизвестной. Позднее я узнал, что меня рекомендовал ему Дональд Кин<sup>1</sup>.

Для меня, литератора, написать очерк на подобную тему оказалось много сложнее, чем я первоначально предполагал. Проблема оказалась чересчур обширной и глубокой. О многом я вообще ничего не знал. Кроме того, мне не было известно, что американцы знают, а чего не знают о Японии. В Америке я ни разу не был, за исключением Аляски. И все же я, отступив от своего обычного литературного стиля, написал опубликованный выше очерк на основе доступной информации.

Спустя некоторое время из Нью-Йорка пришло извещение, что рукопись не принята. О причине отказа в письме сообщалось, что проблема изложена глубоко и интересно, но слишком уж все написанное в очерке смахивает на то, что происходит в Америке. Я же из этого сделал вывод, что жители Нью-Йорка и Токио находятся в одинаковом положении в смысле загрязнения среды, но ведь это как раз свидетельствует о чрезвычайной остроте и актуальности проблемы...

В заключение хотел бы выразить глубокую признательность господину Кадзунобу Ямагути из издательства «Иванами сётэн», любезно предоставившему мне необходимые материалы и просветившему меня по проблеме промышленного загрязнения окружающей среды.

---

<sup>1</sup> Известный американский ученый, специалист по японской литературе.

## СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Цветов. Предисловие .....	5
<b>Потомки Робинзона.</b> Повесть. <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	19
<b>Токио как он есть</b> .....	159
Выборы председателя — ханамити, устланная деньгами. <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	159
Промышленный клуб — храм финансовых воротил. <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	167
Доколе терпеть грохот реактивных самолетов. <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	174
Один день чиновника столичного муниципалитета. <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	180
Странные посетители нового дома депутатов парламента. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	186
Несчастливые корейцы, проживающие в Японии. <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	191
Крестьяне-«магнаты» из Нэрима. <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	197
Пришла куриная война. <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	201
Токио с высоты птичьего полета. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	205

Беды и радости квартала старьевщиков. <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	210
Требуются... А как живут? <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	214
Ночное кафе. <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	218
Плывут ночные убежища. <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	222
Удивительна станция Уэно. Удивительна и загадочна. <i>Перевод Я. Троицкого</i> .....	226
Ушли в прошлое поющие ораторы. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	230
Пять дней в первоклассной больнице. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	235
Меркнут праздничные огни. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	240
Радости и печали любителей песни. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	244
Рай для господ собак. <i>Перевод Е. Рединой</i> .....	249
* <b>Сто миллионов самоубийц.</b> <i>Перевод Б. Раскина</i> .....	254

**ЗАРУБЕЖНАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

**ВЫШЛИ В СВЕТ**

А. Р. Вильямс (США)

А. Моруа (Франция)

Я. Гашек (Чехословакия)

Э. Хемингуэй (США)

Ж. Р. Блок (Франция)

**ЗАРУБЕЖНАЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

**ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ**

А. Карпентьер (Куба)  
Г. Честертон (Англия)  
С. Фицджеральд (США)

**Такэси  
КАЙКО**

**С ВЫСОТЫ**

**ТОКИЙСКОЙ БАШНИ**

**ИБ № 12342**

*Художественный редактор В. А. Пузанков  
Технические редакторы Т. И. Юрова и Р. Ф. Медведева  
Корректор Н. И. Шарганова*



Сдано в набор 15.01.84. Подписано в печать 07.03.84.

Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Бумага типогр. Гарнитура баскервиль.

Печать высокая. Условн. печ. л. 14,28+0,84 печ. л. вклеек.

Усл. кр.-отт. 15,22. Уч.-изд. л. 19,51. Тираж 100.000 экз.

Заказ № 2308. Цена 1 р. 50 к. Изд. № 37554

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Прогресс»

Государственного комитета СССР

по делам издательств,

полиграфии и книжной торговли.

119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubovskiy bulvar, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054. Москва, Валуевская, 28.



Токийская башня

Панорама вечернего Токио

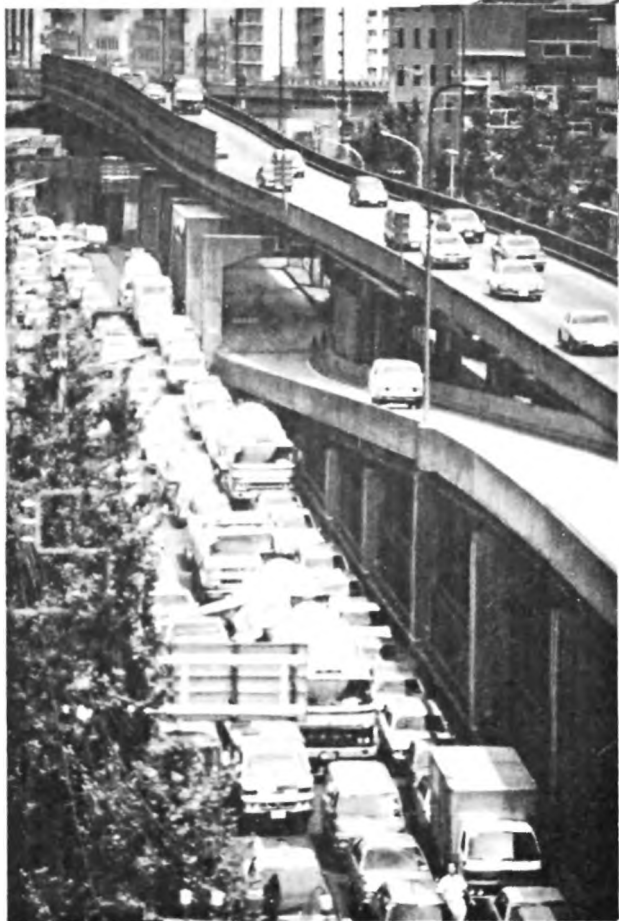




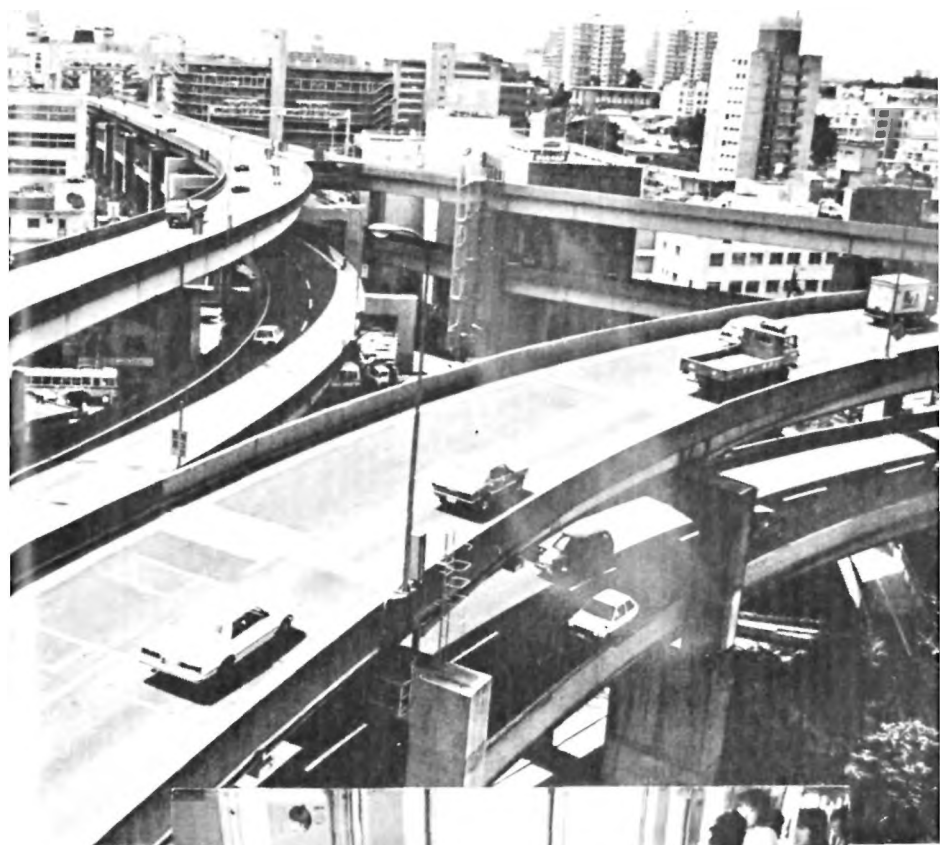
Токийские улицы



Скоростные  
автострადы



Пробка —  
обычное явление в Токио



Надземная  
железная дорога



Уличная сценка



Продавец рыбы

Вокзал Уэно





На перекрестке

Мотовелостоянка



В пору цветения сакуры

Чистильщик обуви



Вечернее  
представление  
на улице



Без барабана тайко  
не обходится  
ни один праздник



Митинг за запрещение  
ядерного оружия

Разгон  
демонстрации

В доме айну —  
аборигенов острова Хоккайдо



Гончар



Крестьянин



Рабочий



Токийские  
безработные



Национальная спортивная игра —  
досуг студентов университета Васэда

Отряд «сил самообороны» на улице Токио





Праздник сатаны  
в городе Ноборибэцу (остров Хоккайдо)

# Такэси КАЙКО

”В нашей стране существует полная свобода информации о том, что на побережье в Нумадзу появилась морская черепаха с метровым панцирем, а мелкий чиновник министерства присвоил 25 тысяч иен. Но не ждите информации, когда речь идет о 2 или 3 миллиардах иен, которые используются руководителями деятелями правительства в борьбе фракций”.

”Настоящий танец денег стоимостью 3 миллиарда иен! Таков, по-видимому, истинный характер ”выборов” председателя партии”.

”Надо серьезно подумать о возможности измерения уровня жизни в современной Японии по количеству отбросов. Мы все кричим: ”Большой рост! Большой рост!” А растут-то только высота зданий, цены да количество отбросов”.

”Мы живем одной лишь мыслью: бежать — хоть завтра, хоть сегодня. Так думают многие японцы, живущие вблизи военных баз. Они готовы бежать с этого, самого большого на Востоке, неподвижного авианосца...”

*(Из очерков Такэси Кайко "Токио как он есть")*